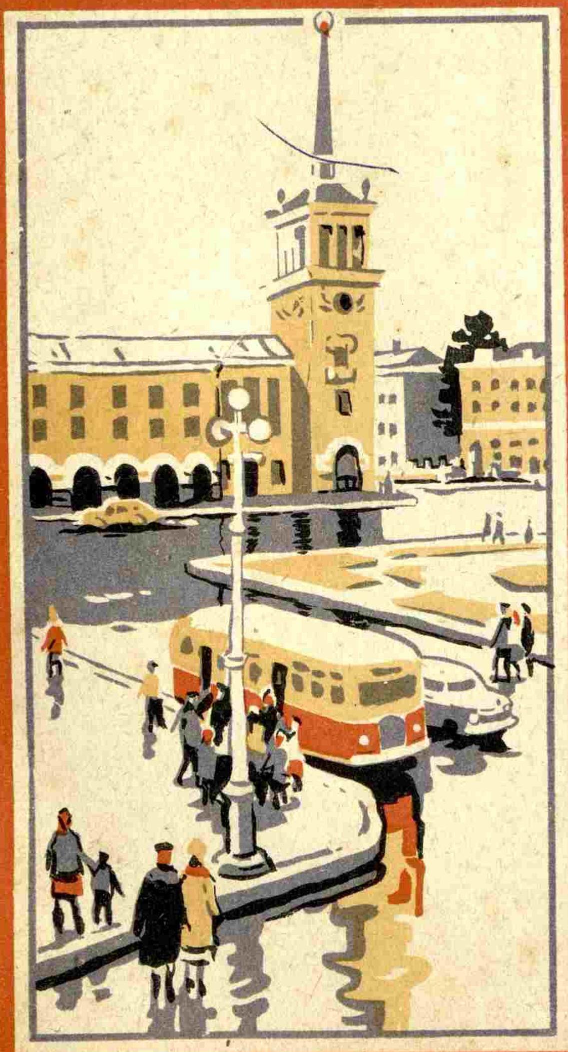
АНГАРА



№ 3
ИЮЛЬ
СЕНТЯБРЬ
1960

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

Очерки наших дней

Голоса молодых

№ 3 (48)
ИЮЛЬ
СЕНТЯБРЬ
1960

Обложка и рисунки художников
П. Скотаря, Г. Козлова.

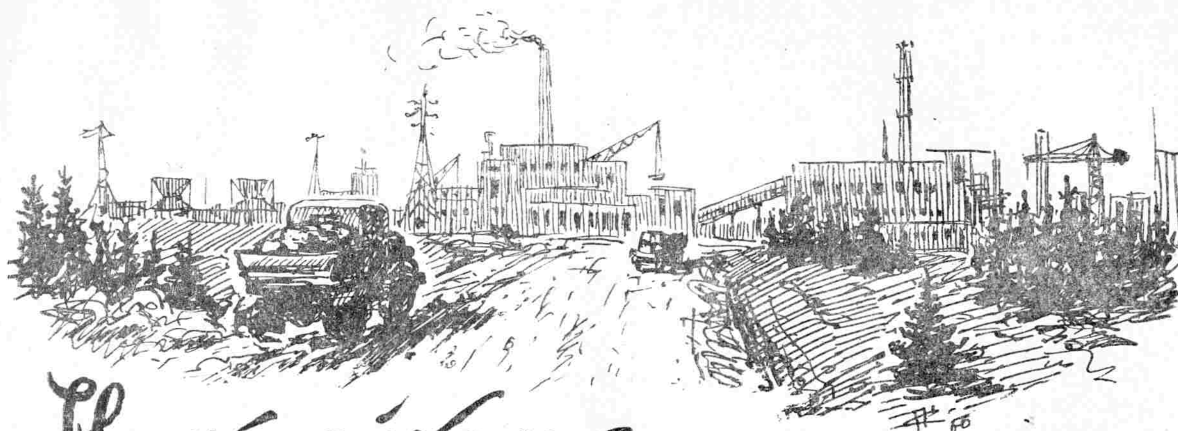
Репродукции картин на вклейках художников
В. Ф. Ольховика, В. С. Рогаля,
фото *М. М. Минеева.*

Адрес редакции:

г. Иркутск, улица 5-й Армии, дом 36, Отделение Союза писателей
Телефон 56—76

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1960

Павел Скотарь



На стройках СЕМИЛЕТКИ

Из блокнота художника

Побывать на стройках Сибири было моей давнишней мечтой, которая этим летом осуществилась.

Какая это действительно чудесная страна — Сибирь! Она удивила и покорила меня, я как будто совершил путешествие в будущее своей Родины.

Чувство изумления и восторга здесь вызывают не только величественные просторы земли сибирской, красота ее природы, но прежде всего смелость, сила, мужество коренных сибиряков и тех, кто по зову нашей родной партии и комсомола приехал строить новую Сибирь.

На стройках Сибири, как нигде в другом месте, наглядно видишь массовое проявление коллективного разума, коллективного труда, энергии, творческого почина. Мне пока пришлось побывать лишь в Усолье-Сибирском, Шелихове, Ангарске, в одном из пригородных совхозов и повсюду бросался в глаза высокий трудовой подъем. На каждой строительной площадке рабочие показывают яркие образцы творческой инициативы в выполнении и перевыполнении заданий семилетки, работают с огоньком, по-коммунистически. Многие строители молодые и в возрасте без отрыва от производства учатся, повышают свой культурный, профессиональный и политический уровень, активно участвуют в общественной жизни, являют собою пример чуткого отношения к людям. Особенно это характерно для коллективов, которым присвоено высокое звание бригад коммунистического труда.

Усолье-Сибирское. Трест «Востоктяжстрой». Строительная площадка одного из

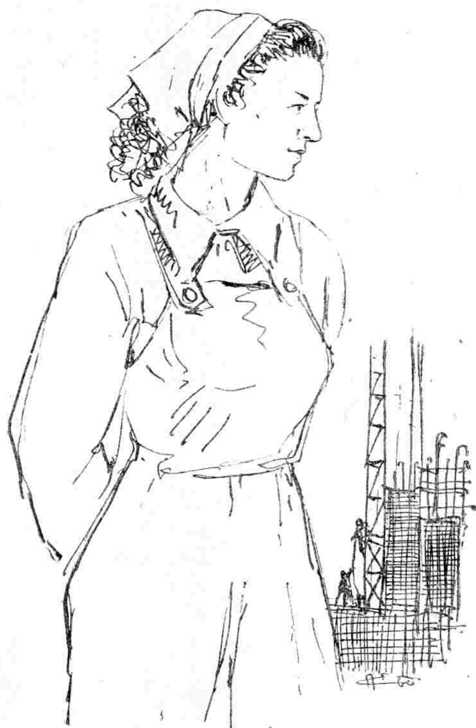


Станислав Куракин.

предприятий большой химии. Здесь нас заинтересовала бригада коммунистического труда Станислава Куракина. В ней около тридцати юношей и девушек более года работают и живут по-новому. Молодых строителей, как правило, посылают на самые трудные и ответственные участки стройки, и повсюду они оправдывают звание ударников коммунистического труда, отлично справляются с делом. Сам бригадир Станислав Куракин недавно вместе с другими иркутянами, зачинателями патриотического всенародного движения, принимал участие в работе Всесоюзного совещания передовиков соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда в Москве, где он был награжден медалью «За трудовую доблесть». Наряду с портретом бригадира мне удалось зарисовать и некоторых членов этой прославленной бригады — Григория Мирошника и Эллу Чертовских.



Григорий Мирошник.



Элла Чертовских.

На заводе железобетонных изделий начальник цеха Вячеслав Карпович Рыков (его портрет я нарисовал) рассказал, что сейчас главной заботой строителей являются два цеха крупнопанельного домостроения, которые в ближайшее время должны вступить в строй. По рисунку можно судить, что дело спорится и объекты будут вовремя закончены. Проходя по строительной площадке, я заметил в бригаде арматурщиков, как один рабочий невысокого роста особенно искусно сплетает проволочные нити арматуры. Подошел к нему, познакомились. Это оказался Михаил Писарев, родом из Забайкалья — коренной сибиряк. Михаил гордится своей профессией и тем, что работает на большой стройке, его сменные выработки составляют не менее полутора норм.

На стройке встретились китайские товарищи в своих характерных темно-синих кепи и куртках. Почему они здесь? Мне объяснили: в Усолье-Сибирское приехали более трехсот молодых рабочих из Народного Китая, чтобы поучиться у русских братьев искусству строить заводы, фабрики, электростанции, получить профессии плотников, бетонщиков и другие специальности и чтобы затем, вернувшись на родину, в Китай, передавать свои знания, мастерство и опыт землякам. Китайские друзья работают исключительно хорошо, некоторых из них я охотно зарисовал в свой альбом.

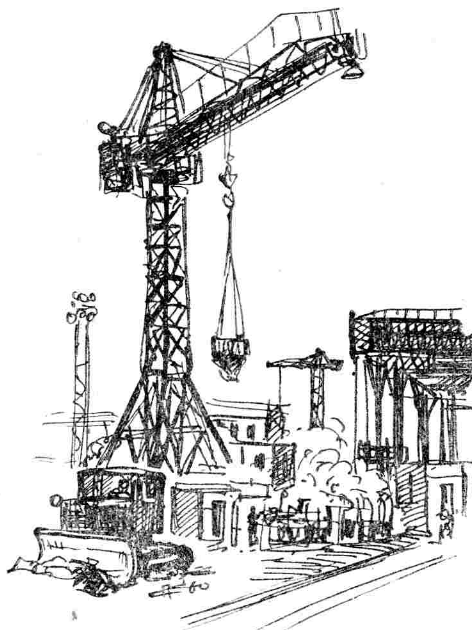
Вот, например, плотник Ван У-чан. Его мы застали склоненным над чертежом и что-то горячо обсуждающим со своим другом Л. Федоровым. Правда, у Федорова знаний китайского языка нет, а Ван У-чан тоже еще плохо понимает по-русски, но видно, что два рабочих человека нашли общий язык, знают, как объясниться. Несомненно, им в этом помогают общий труд и сердечная дружба.

Много, очень много гравия и песка требуется Усольской новостройке. Беспрерывно один за другим мощные самосвалы подходят

На строительстве этого объекта работает комплексная молодежная бригада коммунистического труда Станислава Куракина.



Начальник цеха крупнопанельного домостроения завода ЖБИ-3 В. К. Рыков.



Уголок цеха крупнопанельного домостроения.



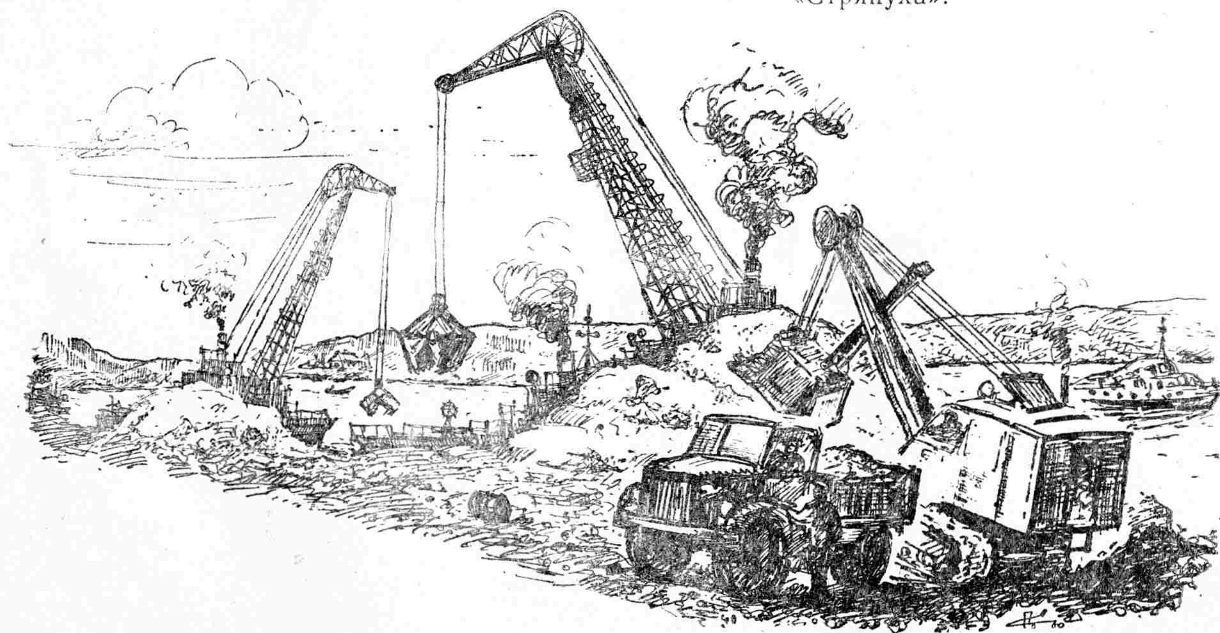
Арматурщик Михаил Писарев.



Плотники Л. Федоров и Ван У-чан.

к песчаному карьеру, расположенному на берегу Ангары. Ну, как тут не зарисовать эту величественную и красивую картину! А вот и «потребитель» песка и гравия — жизнерадостная девушка из цеха армопенобетона—дозировщица Елена Сластная. Нажатие кнопки—и доза песка, воды, бетона и других материалов с аптекарской точностью поступает в мощные пенобетонные мешалки.

Усольцы не только отлично трудятся, они умеют и культурно отдыхать. В свободное от работы время строители посещают кинотеатры, клубы, занимаются спортом, многие активно участвуют в художественной самодеятельности. Правда, в Усолье пока что нет общегородского Дворца культуры, но художественная самодеятельность успешно развивается даже и в тесном клубе. В ноябре 1959 года здешнему драмколлективу присвоено почетное звание Народного театра. Успешная постановка пьесы Тренева «Любовь Яровая» обрадовала самодеятельных артистов, и они сейчас усердно разучивают (под руководством своего художественного руководителя Н. А. Шварца) пьесу Сафронова «Стряпуха».



Берег песчаного карьера на Ангаре завода стройматериалов.



Завод ЖБИ-3. Дозировщица Елена Сластная.



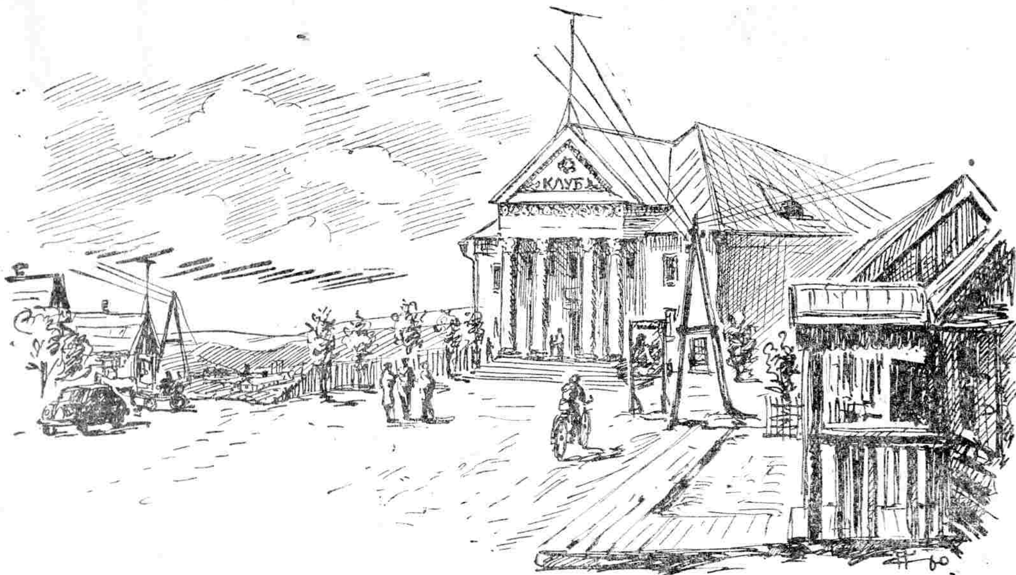
В эти же дни побывали мы поблизости от Усолья, в центральной усадьбе племсвиносовхоза, в селе Большое Жилкино. Вот жилкинцы могут похвастаться перед районным центром своим сельским клубом-дворцом. Клуб очень хорош, в нем весело проводит время сельская молодежь, неплоха здесь художественная самодеятельность, хотя она пока носит концертный характер. Впрочем, надо надеяться, что в скором времени в клубе будут свой драматический, а может, и оперный коллективы художественной самодеятельности.

Совхозное хозяйство набирается сил, чтобы вдоволь обеспечивать строителей овощами, молоком, мясом, яйцами. На фермах работают много знатоков своего дела, умельцев, показывающих высокие образцы труда. Я постарался запечатлеть некоторых из этих знатных людей: одну из лучших птичниц, депутата сельсовета О. Я. Кузьмину, лучшего бригадира полеводческой бригады Тимофея Байтрака, передовую доярку совхоза Анну Бондарец, которая по почину заларинцев борется за пудовые надои молока от каждой коровы.

Усольский Народный театр. Е. К. Ильченко в роли Любови Яровой (Тренев, «Любовь Яровая».)



Сцена из пьесы Тренева «Любовь Яровая». Е. Н. Горницкая — Иванова **в роли Дуньки**, Г. Н. Еременко в роли Шванди.



Село Большое Жилкино. Центральная усадьба Усольского племсвинсовхоза.



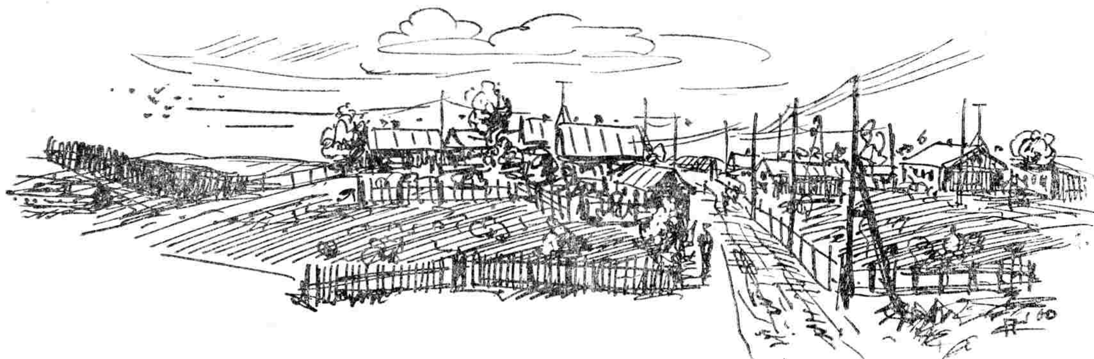
О. Я. Кузьмина



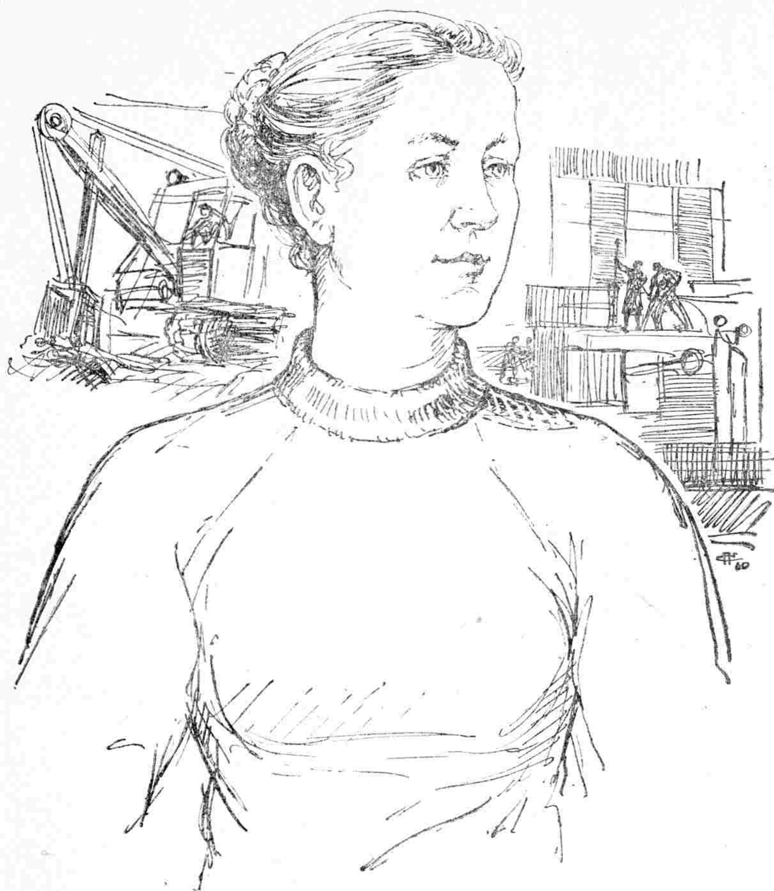
Т. А. Байтрак.



А. С. Бондарец.



Село Култук, Большежилкинского сельсовета, 5-е отделение Усольского племсвиносовхоза.



Поселок Шелихов. Алюминстрой. Светлана Теплякова.

Неизгладимое впечатление на меня произвела своим размахом ударная комсомольская стройка в поселке Шелихове — алюминиевый завод. Здесь я познакомился с замечательной комсомольской ударной бригадой, от дел которой веет революционной романтикой времен Павки Корчагина. О ней много можно рассказать.

Получилось так, что над одним из пусковых объектов стройки нависла угроза сдачи его в срок. Нужно было найти выход. За это дело взялись комсомольцы. Комитет ВЛКСМ стройки вручил путевки первым энтузиастам, пожелавших перейти работать на отстающий объект: Светлане Тепляковой, Нине Константиновой, Игорю Соткину (ныне бригадиру) и Владимиру Полканову.

Несмотря на то, что каждый из них имел хорошую специальность и заработок, они, не раздумывая, пошли на трудный участок, увлекая своим личным примером товарищей по стройке, по комсомолу. Все члены бригады работают, не считаясь ни со временем, ни с трудностями, делают все от них зависящее,



Нина Константинова.



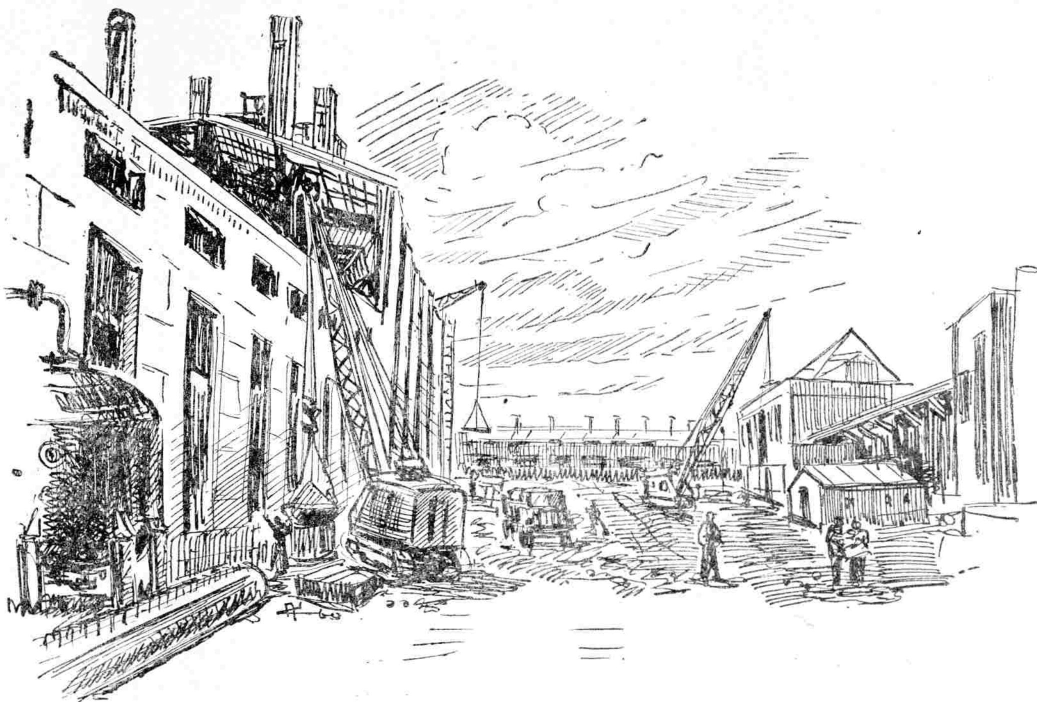
Игорь Соткин.



В. Полканов.



Комсомолка-крановщица Надя Кривошеева.



Один из цехов алюминиевого завода.

чтобы строительство завода закончить в срок. Сейчас комплексная ударная комсомольская бригада насчитывает более десяти человек. Особо хочется рассказать о трудовой жизни Светланы Тепляковой, которой другие девушки стройки, в частности Надя Кривошеева, стараются подражать, походить на нее. Светлана четыре года назад с большой группой орловчан приехала на стройку по путевке комсомола. Вместе с остальными товарищами она рыла котлованы для теперешних многоэтажных домов, жила в палаточном городке, потом училась в техникуме, работала мастером, и недавно осуществилась давняя ее мечта — она стала студенткой — заочницей Иркутского университета.

В прошлом году к Светлане приехала ее мама из Орла. Девушке дали комнату, мать, погостив, вскоре уехала домой. Светлана, зная, как много семейных нуждаются в квартирах, уступила свою комнату семейному рабочему, а сама переехала жить в общежитие.

Замечательный поступок!

Замечательные люди живут в Сибири! Их делами, беззаветным служением Родине гордится наш народ.

И. Дубовцева

ДОРОГИ ГЕРОЕВ

Заметки журналиста

О бригаде Перетолчина слышать приходилось много раз. И когда я спросила, где она работает, мне ответили:

— Ищите красный флажок. Где флажок, там и Перетолчин.

— Вернее, где Перетолчин, там и флажок, — уточнил белозубый высокий взрывник.

И верно — перетолчинцы всегда впереди. К ним пристало веселое и упрямое слово — пионеры. Скоро они уже дойдут до левого берега. И спешить надо — их подгоняют другие пионеры: комплексная бригада Хотулева, которая кладет бетон в самое основание плотины.

Иннокентий Иванович Перетолчин не первый год на стройке. Он прошел все этапы героического пути строителя этой уникальной ГЭС. А вот бригада у него совсем молодая. Это — парни, которые еще в прошлом году были моряками, пехотинцами, артиллеристами. Одни служили в Приморье, другие — на Кавказе, третьи — на Балтийском море. Они приехали сюда в ноябре, когда с замерзающей Ангары поднимался холодный хмурый туман, а с севера налетал пронизывающий ледяной ветер и вековые сосны клонили свои гордые вершины. Многие из них прежде жили на Кавказе, на Украине, и, конечно же, здесь им было нелегко.

Бывали дни, когда морозы подскакивали за сорок градусов, тогда законом разрешалось не работать. А скальники оставались в котловане: сроки поджимают, надо спешить.

Александр Бабушкин, Григорий Щапарев и Александр Потемкин познакомились в поезде Тайшет—Лена. Все рослые, крепкие, загорелые, в гимнастерках, но без погон, они только и говорили, что о Братской ГЭС. Никто из них не имел профессии строителя, и каждый немного опасался — как-то их таких в Братске примут?

— Наше счастье, что мы попали к Иннокентию Ивановичу,— возбужденно сверкая глазами, рассказывает Саша Бабушкин.

— А разве другие ребята устроились хуже?— спорит Григорий Щапарев.

— Конечно, не хуже,— легко соглашается Саша.— Только у нас все-таки замечательно толковый бригадир. Знаете, как он здорово дело знает? Ого! С ним не пропадешь!

Вокруг собралось человек десять скальников. Сейчас они перешли на другой участок, и, пока перемещаются установки для подачи воздуха, образовался перерыв.

— Ну и как вы тут освоились?— спрашиваю я трех друзей.

— По пятому разряду уже работаем. На тот год в вечернюю школу учиться пойдем.

— А как свободное время проводите?

— На волейбольной площадке,— широко улыбается Саша.— А то и за шахматной доской.

— Не думаете уезжать отсюда?

— А чем нам здесь плохо?

Ответ Саши Потемкина вызвал всеобщее одобрение.

— Здесь и косточки сложим,— сказал рослый парень с живыми глазами на смуглом красивом лице. Он сказал это как-то мечтательно, глядя на самую вершину Пурсея, где стояла одинокая сосна с круглой пушистой кроной. Мне уже рассказывали, что это место зовут могилой Голубкова, хотя сам геолог Голубков благополучно здравствует и исследует створ плотины будущей Усть-Илимской ГЭС. Когда-то он шутя сказал товарищам:

— Если умру, похороните меня под этой сосной.

С тех пор так и осталось за этим местом название — могила Голубкова.

Геолог Голубков, который вместе с товарищами много поработал над изучением створа для плотины Братской ГЭС, пожалуй, и впрямь имел право выбрать это место. Оно будто памятник поднимается над стройкой, над лесами, над безбрежными сибирскими просторами.

Не знаю, слышал ли Юрий Никитин (так звали красивого парня) эту историю, но в его словах прозвучала не скорбь — откуда ей у него,— а любовь... Такая любовь, какую испытывают мастер к лучшему детищу своих рук, писатель к любимой своей книге, садовник к новому сорту растения, выхоженного им самим. Такая любовь, наверное, вызвала и необычную шутку Голубкова.

— Посмотрите, какая красота!— и Юрий протянул руку не к берегам, которые тоже были красивы, и не к Ангаре, а к котловану, где трудились люди.

— Знаете, раньше я читал похожее в книжках и не всегда верил. А теперь вот увидел сам и понял, какое это счастье такую ГЭС строить. Куда ни посмотришь — всюду картину писать можно!

— А вы художник?

— Малюю немного,— смутился он, но желание поделиться ощущениями с новым человеком, видимо, победило смущение.— Думаю картину написать —«Сибиряки»— о тех, кто приехал на стройку вместе со мной.

И такая сила была в его горячем взгляде, что представьте его не в котловане, а на борту судна среди океанской глади — и можете не сомневаться: он останется самим собой. Его внутренний мир — сила его чувств, мысли, воли — сильней любой стихии. Может быть, Юрий Никитин и его товарищи еще найдут свой подвиг. А может быть, они его уже нашли. Их вела на Братскую ГЭС не романтическая жажда совершить геройство, а комсомольская совесть, веление сердца.

Я вспомнила одну историю, похожую на легенду.

Девушка была учительницей. Доверие учеников далось ей нелегко. Сколько раз думала она оставить работу, уйти из школы. Но разве можно было бросить дело на половине? И настал день, когда ученики поверили ей, стали ее уважать. Только тогда она решилась осуществить свою мечту — поехала на Братскую ГЭС, стала машинистом огромного портального крана. Вот когда бывшие питомцы полюбили ее так, что, окончив десятилетку, всем классом приехали за нею следом. Они жили коммуной, с обожанием следили за своей воспитательницей и в один из праздников сделали ей трогательный подарок — книжку «Гимнастика для женщин». Их маленькая хрупкая героиня все больше осваивала кран, ночи просиживала над электротехникой, а в перерыв между делом изучала английский язык. Когда к ней обратились корреспонденты, она сказала:

— Обо мне говорить рано. Среди других крановщиков я еще цыпленок, и писать обо мне несправедливо.

И если вы увидите на портальном кране строительства Братской ГЭС маленькую девушку с гибкими движениями, знайте: она тоже идет к своему подвигу.

Хрупкая крановщица и мускулистый скальник Юрий Никитин не знают друг друга. Среди тысячного коллектива строителей это немудрено. Но один порыв привел их на стройку и сделал их такими, что они не узнали себя.

Котлован — не тот ли это волшебный котел, о котором мечтал наш народ, создавая свои сказки? В том котле некрасивые становятся красавцами, нескладные — ловкими. Это делает великая сила, имя которой — коллектив.

Никита Михайлович Хотулев — человек пожилой, степенный. Вся его жизнь простая и понятная. А недавно все строители стройки радовались его успеху — Никите Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. По-разному становятся люди героями. Одни совершают подвиги, преодолевая опасность, рискуя жизнью. Никиту Михайловича сделал героем труд.

Было время, семнадцатилетний парень из смоленской деревни с холщовой сумкой через плечо отправился в Москву. Смутно он представлял свое будущее, когда впервые взял в руки плотницкий топор.

Много лет прошло с тех пор. Много жилых домов, клубов, школ, домов отдыха оставили на земле крепкие руки плотника. На северную стройку Сунагэсстроя попал Никита Михайлович уже опытным мастеровым-плотником. Но одно дело — дома, другое — опалубка на гидростанции. За плечами всего четыре класса, а на стройке попал в настоящую рабочую академию. Приехала со Смоленщины жена Прасковья Никитична и не узнала мужа. Был обыкновенный крестьянский мужик, а теперь только и разговору, что о стройке, только и дел, что опалубка. Впрочем, Прасковья Никитична сразу успокоилась. Новые непоседливые соседи — гидростроители — пришлись ей по душе. Они не держатся за насиженное место и, как вольные птицы, всегда готовы лететь в новые края.

С той поры и пошло: одна ГЭС, другая. Так и оказались Хотулевы в Сибири. В Братске начал Никита Михайлович с привычного: строил жилые дома, ясли, клубы. Ведь жили пока в палатках.

Однажды случилась беда — на правом берегу пересох колодец.

Людям нельзя быть без воды.

— Надо построить эстакаду для трубопровода насосной станции,— сказал начальник участка.— И срок на это два дня.

Чтобы построить эстакаду, надо стоять в ледяной ангарской воде. Первым стал бригадир Хотулев. За ним — его товарищи. А на третий день в поселок пошла вода.

Это было, когда Ангара еще привольно текла меж правым и левым берегами. Но пришло время ей потесниться. Первый вызов реке бросила бригада Хотулева. Это она рубила ряжи для котлована первой очереди. И первый бетонный блок в этом котловане уложили они же, хотулевцы.

Надо было быстрее закончить котлован первой очереди, чтобы пустить через него воду. А между тем восемь месяцев подряд план бетонных работ не выполнялся. Опалубщики кивали на бетонщиков, те — на опалубщиков, а дело подвигалось слабо.

Тогда и пошли в бригадах слухи, что в Сталинграде опалубщики и бетонщики работают вместе — комплексно. Прикинули, обсудили и решили работать по их примеру, по-новому.

Говорили вначале с бригадирами. Одни молчали, другие возражали сразу:

— Выходит, лодырей да лентяев будем обрабатывать.

— А как думаете вы?— обратился секретарь партбюро Иван Степанович Галкин к Хотулеву. Он тоже привык советоваться с этим пожилым неторопливым человеком.

Никита Михайлович покрутил озадаченно головой, помолчал.

— Думаю так,— ответил наконец он.— Стоющее это дело.

— Ну, а что, если попробовать?

— Помоложе бы кого. Мне не совладать. Надо и электричество знать и бетон. Да и народу в пять раз прибавится, шутка ли?

Тут уже не выдержал партгрупорг бригады Василий Мирза:

— Скромничает бригадир. А чего скромничать, спрашивается? Все знает, все умеет, еще других поучит.

Так Хотулев стал бригадиром первой комплексной бригады.

Итоги были разительные — укладка бетона резко возросла. Скоро стали переходить на комплексную работу другие бригады, а сейчас они по всей стройке.

Весной в котловане была особо горячая пора. Управление строительства земляных плотин задерживало подготовку скалы под бетонирование. По пятам скальников шла бригада Хотулева. Как всегда, она была впереди. Уж за ней по готовым нижним блокам вели бетонирование плотины другие.

Укладывать бетон на скалу — дело нелегкое. Я видела, каких трудов это стоит бригаде Хотулева. Прежде скалу надо вычистить и вымыть паром, выскоблить до последней соринки. Добрая хозяйка так не скребет пол своей квартиры, как скребли хотулевцы скалу. В блоке, укрытом со всех сторон, было тепло и влажно. Из шлангов, умело направляемых рабочими, крепкой струей бил пар, другие действовали скребками, третьи вычерпывали воду, образовавшуюся от пара. Бригадир Хотулев в одно и то же время успевает бывать всюду: и в блоке, который готовится к бетонированию, и около бадьи, подающей бетон в соседний блок—и следить за установкой опалубки.

«Надо!»— это короткое слово бригадира определяет все. Оно исключает другие — трудно, невыгодно.

«Надо!» Если бригадир сказал это слово своим простым спокойным голосом, значит, возражений быть не может. И не потому, что это приказ, а потому, что бригадира любят, ему верят.

— Это человек!— говорят одни.

— Это коммунист!— говорят другие.

В партию Никита Михайлович вступил недавно. Но коммунист он давно. С ним советуются, к его голосу прислушиваются и главный инженер строительства, и начальник управления строительства основных сооружений, и секретарь партбюро.

Теперь Никита Михайлович с частью своей бригады работает на бетонировании здания ГЭС. Бетон, который укладывают здесь, называют еще ажурным — такое сложное и тонкое это дело. Сюда назначили самых лучших, самых «ювелирных» опалубщиков, бетонщиков, монтажников. Немудрено, что среди них—Герой Социалистического Труда Никита Михайлович Хотулев.

Так уж повелось на стройке: наиболее трудную работу доверяют тем, кто всегда впереди.

У врезки плотины в правый берег трудится бригада Гайнулина — первая коммунистическая. Портреты ее славного вожака обошли многие газеты. Он начал то, что разошлось

потом по всей области,— коммунистическое движение.

А случилось это так. Единственная на бетоне комсомольско-молодежная бригада была самой слабой, отстающей.

— Думаю назначить бригадиром Бориса Гайнулина,— пришел к Галкину начальник участка Парфенков.

Иван Степанович не решился, что сказать. Парень вроде бы разбитной, бесшабашный. И в то же время любят его ребята, в огонь и в воду за ним пойдут.

— У него ко всем особый моряцкий подход есть,— пояснил Парфенков.

Галкин и сам видел это. Была в Гайнулине какая-то внутренняя сила, которая притягивала к себе. Гайнулин перешел из передовой бригады в отстающую, и удивительные стали происходить дела. Ребята не просто пошли за бригадиром, они полюбили его, как друга, как брата. Будто распахнулся перед ними новый, неведомый мир и у них выросли крылья. Скоро слава о гайнулинцах, о их делах на бетонировании самого трудного участка пролетела по области. А когда докатилась до Братска волна коммунистического движения, партийное бюро увидело: первой к этому шагу готова бригада Гайнулина.

Как рождается подвиг? Как возникает тот накал всех возможностей, который мы зовем самоотверженностью?

Он немыслим без цели — ясной и важной, без сознания — высокого и требовательного, без чувства, которое одни считают патриотизмом, другие — коллективизмом, третьи — чувством хозяина своей стройки.

Николай Таланчук — комсорг управления основных сооружений — человек горячий и порывистый.

— Иван Степанович, — ворвался он однажды в партбюро управления. — Как быть, что делать? Бетона нет, завод стоит.

Во всем его облике было горячее желание что-то предпринять, ликвидировать прорыв.

— Ну, так действуй,— спокойно посоветовал секретарь партбюро Галкин.

— Как?— оторопел Николай.

— Ты знаешь, почему завод не дает бетона? Так я тебе скажу: засорилась котельная на бетонном заводе. Надо организовать комсомольцев на воскресник.

К концу рабочего дня в соседнем с партбюро зале заседаний уже собралась молодежь. В зале стоял такой шум, что появление Ивана Степановича никто не заметил.

— Что за спор?— раздался спокойный голос Галкина.

— Да вот он какой-то воскресник выдумал!— кинулись все к секретарю партбюро.

Галкин улыбнулся: виной всему Николая суматошный характер.

— Давайте разберемся,—предложил Иван Степанович.— Нужно ликвидировать аварийное состояние котельной. От этого зависят темпы укладки бетона...

— Ну, тогда другое дело,— заговорили комсомольцы.— Какой тут разговор, все придем.

63 комсомольца во главе с Колей Таланчуком отправились в котельную. Они перебрасывали лопатами горячий шлак, таскали его на носилках, и скоро кочегары запустили котлы на полную мощность. Бетон пошел в блоки.

А наутро Иван Степанович снова долго говорил с комсоргом.

— Понял, понял!— с той же горячностью успокоил парторга Таланчук.— Сознательность прежде всего.— И добавил мечтательно:— Ох, и здорово поработали! Даже сейчас дух захватывает.

Секретаря партийного бюро управления строительства основных сооружений Ивана Степановича Галкина многие зовут поэтом за его умение в каждое дело вносить творческий огонек, вовремя разглядеть новое, передовое, помочь утвердиться этому новому. Это он помогал родиться комплексной бригаде Хотулева и коммунистической Гайнулина, это он поставил на крепкие рельсы бригаду Иннокентия Перетолчина, учил организовывать массы и поднимать молодежь на героические дела комсомольского вожака Колю Таланчука.

Люди — это главное, настоящее и будущее. Их руками строится на нашей земле коммунизм, и потому нельзя жалеть сил, знаний, опыта, энергии на работу с этими людьми, на их организацию, просвещение, воспитание — это глубокое убеждение секретаря партбюро.

При мне в кабинет Ивана Степановича, дверь которого не закрывалась ни на минуту, вошли не совсем обычные посетители — мальчишки и девчонки из школы Зеленого городка. Оказалось, им понадобилось не что иное, как воспоминания секретаря партбюро УСОС: они пишут историю Братской ГЭС. И надо было видеть, с какой серьезностью и теплотой, отложив свои дела, Иван Степанович занялся беседой с детьми. Ведь в них он видел будущее, завтрашний день тех, кто рядом с ним сегодня создает величайшую в мире ГЭС.

— Иван Степанович — поэт!

Первым произнес эти слова Леонид Васильевич Машинский. Кто он? Бетонщик. «Морж». Журналист.

Было время, когда он почти умирал от тяжелой болезни. И решив, что «раз уж умирать — так хоть с музыкой», он поехал на Братскую ГЭС, стал бетонщиком. А приехав, не заметил, как вылечился. Стройка захватила его, и он навсегда решил остаться в этом коллективе. Где-то в Челябинске живет жена. Ей жаль покидать квартиру, мебель, удобную городскую жизнь.

— А я не смогу уехать отсюда,— вздыхает Леонид Васильевич.

В стенной газете УСОС Леонид Васильевич написал статью «О красоте труда». В ней говорилось о новом отношении к труду в социалистическом обществе, о счастье, которое приносит труд ему и его товарищам, о прекрасной электростанции, сооружаемой ими, о досадных мелочах, порой еще мешающих испытывать радость труда: неважном инструменте, неусовершенствованных вибраторах, недоделках в организации труда. Статья увлекла многих. Ее перепечатала многотиражка строительства «Огни Ангары».

— Игрушки, цветочки!— иронизировали некоторые.

А секретарь партбюро чутким ухом уловил во всем этом новое, очень нужное и очень важное дело.

И вот уже состоялся в котловане большой принципиальный разговор обо всем, что должно сделать труд радостью, необходимой в жизни каждого.

— Вы только посмотрите на то, что мы сделали, представьте, что мы еще должны совершить. Разве ж это не красота?— доказывает Машинский.

Я вспомнила других людей, с другой стройки. Всего год назад мне довелось встречаться с бригадой коммунистического труда Александра Ножова — монтажниками Иркутской ГЭС. В тот день состоялся митинг по случаю пуска ГЭС, сдачи ее в эксплуатацию. Все было сине, солнечно, радостно. И собравшись в кружок у только что законченной станции, передовики труда говорили о том, что строят они для коммунизма, строят на века.

— Давайте и жить красиво!— решили тогда они.

В разных местах, на разных стройках незнакомые друг другу люди думают об одном и том же.

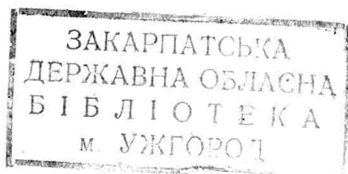
Красота и гармония прочно вошли в жизнь и труд людей.

Они осветят нашу землю невиданным светом, согреют ее небывалым теплом.

«Россия в огнях» — такие стихи написал рядовой бетонщик Братской ГЭС.

Огни зажигают люди от пламени своего сердца, от глубины своей воли, от красоты своего подвига.

Я смотрела на котлован, залитый морем огней. Там и ночью шла работа. Это была поистине богатырская симфония, в которой торжествующей мелодией звучал труд.



В. Козловский

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

Из районного банка вышел человек в старой солдатской шинели. Крепко сжимая в руке потертый портфель, он неторопливо зашагал по скрипучим доскам тротуара.

— Колька Грибов, дружище!— широко расставив руки, преградил ему путь мужчина в расстегнутом ватнике, из-под которого на гимнастерске радужным цветом переливались орденские колодки.— Грибов! Не узнаешь?

Грибов растерянно улыбался, всматриваясь в заросшее щетиной лицо.

— Ай, ай! Неужто Димку-разведчика не признаешь?

И тут вспомнилось. Вспомнилось затянутое густым туманом болото, надрывный свист мин. Потом вдруг наступила пугающая тишина...

Их было десять. Из десяти смерть не коснулась только двоих. Все это вспомнилось в один миг.

— Димка, дружище, прости!

— Эх, Колька, Колька! Сколько лет промелькнуло! Вечность! Погоны сняли и... разлетелись птицами. Ну, чего же мы встали? Такая встреча!

Они пили водку, как в день расставания, стопку за стопкой, забывая о закуске, торопясь рассказать друг другу о послевоенных дорогах. Когда Николай Грибов вышел из чайной, село уже светилось огнями. Они плясали в глазах, крутились «чертовым колесом», сбивали с дороги. Он шел, покачиваясь и спотыкаясь, словно слепец, выставляя вперед руки.

Вот уже конец улицы, дальше чистое, с разгульными ветрами поле.

«Отдохнуть,»— смутно мелькнула мысль. Нащупав у крайнего дома скамейку, он мешком упал на нее. Отяжелевшая голова беспомощно клонилась, казалось, увлекла его в бездонную пропасть.

Проснулся от нестерпимого холода.

«Что со мной?»— И вдруг стал судорожно ощупывать скамейку: «Где портфель?» Николая словно окунули в холодную воду. Земля вокруг скамейки была засыпана побуревшей шелухой кедровых орехов, окурками. Портфеля не было.

Никогда в жизни, даже на фронте, не пугался Николай Грибов так, как в этот момент на окраине чужого села. Тусклой сталью отсвечивало холодное небо, грязная дорога лениво ползла в безлюдное поле, а вокруг, кланяясь земле, грустно шептался прошлогодний ковыль.

Он зашагал, не разбирая дороги, не глядя по сторонам.

«Куда приведет эта дорога?— спрашивал он себя. И отвечал: «К тюрьме, Грибов, только к тюрьме». Как же так? Он честно защищал свою Родину, старался честно работать и в чем, в чем, а уж в отношении денег, государственных рублей, которые так часто доверяли ему, был непогрешим. А теперь он вор, растратчик. Бежать, пока никто не знает о его преступлении? Бежать? А жена, а сыновья? У него першит в горле. Странным кажется, как пришла ему мысль о бегстве. Разве можно убежать от собственной совести?

«Будь что будет»,— наконец в отчаянии решает Грибов. Но как не взбадривает он себя, как не пытается отогнать мрачные мысли и подготовить себя к самому худшему, что могло его ожидать теперь, при воспоминании о товарищах по работе его невольно охватывала робость. Он всегда жестоко и беспощадно осуждал людей, которые пытались забраться в карман государству, считая, что карман этот бездонный. А сам-то, сам забрался в него... Как же сможет он теперь посмотреть в глаза людям?

В конторе совхоза толпились рабочие. Перед Грибовым они расступились и освободили ему дорогу. До пояса забрызганный грязью, в низко надвинутой на глаза фураж-

ке, он прошел к столу и, устало опустившись, уронил на руки голову. Он знал, что его ждут с заработной платой. Знал и потому, словно приготовившись к удару, сжался и замер. Люди молчали. Удрученный вид бухгалтера их испугал.

— Виноват я... Судите...— скорее застонал, чем проговорил Грибов.

Он ждал, что люди начнут его упрекать, ругаться, грозить. Выслушать такой поток возмущений было бы много легче, чем ощущать затаенную, гнетущую тишину. Что предвещала она? На фронте за тишиной нередко налетал ураган взрывов, шагала смерть.

— Виноват я... Судите...— снова пробормотал Грибов и, набравшись решимости, приподнял голову. Его взгляд столкнулся с другим, внимательным и строгим.

— Ты успокойся... Как все это случилось?

В голосе комбайнера Александра Бороды сквозило участие. Путаясь и запинаясь, Грибов скупо рассказал обо всем, что произошло с ним.

Чей-то голос прервал длинную паузу:

— За такие вещи по головке не гладят. Двадцать пять тысяч рублей — дело подсудное.

— Не торопитесь вы...— прервал Александр Борода.— Осудить человека трудности нет.

Коммунист Александр Борода не был Грибову ни другом, ни даже близким товарищем. Напротив, Грибову даже казалось, что старый комбайнер его всегда недолюбливал. Грибов знал даже больше. Комбайнер за глаза отзывался о нем как о сухаре, заплесневевшем за чернильным прибором.

Неожиданная поддержка уважаемого в совхозе передового рабочего блеснула ярким и теплым лучиком в грозовом небе. Хотелось вскочить, обнять этого невзрачного на вид, в замасленной телогрейке мужчину, крепко, по-фронтовому поцеловать в колючие, небритые щеки. Пусть судьба Грибова уже решена, он готов понести наказание, но сказать комбайнеру спасибо, спасибо за то, что он верит людям, очень хотелось.

Комбайнер не судья. У него нет права вынести приговор.

— Я убежден, что Грибов споткнулся случайно,— сухо сказал Александр Борода,— давайте подумаем, посоветуемся.

— Вот уже не ожидал от Грибова,— вступил в разговор коммунист Василий Осипов.— Мужик вроде бы дисциплине обучен. И надо же ему так... Думается мне, следует ему прочистить мозги... А на такое дело силенок у нас в коллективе достанет... Справимся.

В тот же день комбайнер, полевод и еще несколько коммунистов отделения совхоза побывали в дирекции и парткоме. Посоветовались. Проступок бухгалтера всюду вызывал возмущение. Некоторые требовали наказания, другие были за то, чтобы поддержать человека. Директор, прежде чем принять решение, долго потирал ладонью нахмуренный лоб.

— Ладно, пусть пока трудится,— сдержанно проговорил он.— Посмотрим...

На удивление всем, Грибов отказался сесть за бухгалтерский стол.

— Не достоен,— угрюмо промолвил он.

— Куда же тебя в таком случае?— в нерешительности спросил заведующий отделением совхоза.

— Все равно. Хоть в пастухи. Деньги верну, отработаю.

— Можно и в пастухи,— согласился заведующий, и Грибову показалось, что в голосе его прозвучала ирония. А может быть, он и ошибался...

...Стоял апрель. Наливались соком пахучие почки багульника, пробиваясь под снегом, бежали в лога ручейки. С сожалением смотрел Николай Грибов на худых, с взъерошенной шерстью телят, на занавоженный выгульный двор. Скотник-пастух Терехов, загоняя на весы животных, быстро орудовал гирями.

— Эх, бухгалтер, бухгалтер,— сокрушался он,— принимаешь ты доходяг на свою грешную голову. Уж они-то тебя верняком до тюрьмы доведут.

Недружелюбно поглядывая на скотника, Грибов молча записывал вес каждого животного. Скотника он мысленно давно уже называл горлохватом и шкурником. Этот человек приехал в совхоз «за длинным рублем» и, убедившись, что даром деньги здесь не даются, решил сбежать на более теплое место. Хотелось Грибову сказать ему грубость, упрекнуть в том, что это он довел скот до истощения. В другое время он, конечно, так и сделал бы, но сейчас, чувствуя себя на положении штрафника, считал, что не имеет на это права.

Без единого слова принял скот, подписал акт, пожал протянутую скотником руку. А когда тот ушел, сбросил с себя пальто и, схватив скребок, стал старательно чистить теленка. Домой возвратился лишь поздней ночью и сразу же будто подкошенный упал — уснул.

Николай Грибов никогда не считал себя белоручкой. Солдат есть солдат. Огрубевшие

от окопной жизни руки не изнежились и в совхозе. После работы в конторе бухгалтер без устали возился по хозяйству. Он был уверен, что любой физический труд для него нипочем. И ошибся. На руках его вздулись теперь мозоли: крупные, черные, словно фасолины.

«Ерунда, пройдут»,— уверял себя Грибов.

Уставал до упаду. Но на скотном дворе все заметнее проявлялась трудолюбивая рука хозяина. За светлою изгородью ходили чистые, гладкие, с блестящей шерстью телята, в поилках блестела вода, во дворе, как на спортивной площадке, земля посыпана свежим песочком.

— Вижу, что порядок навел образцовый,— прохаживаясь по двору, сказал Грибову зоотехник.— Посмотрим, каких ты добился привесов.

С тщательностью взвесили скот, сверили записи.

— Как же так?..— рассматривая книгу учета привесов, недоуменно пожимал плечами Грибов.— Ничего не могу понять... Кормил, поил, как положено, а вместо привесов оказались отвесы...

— С чем тебя и поздравляю. Выходит, тебя, Грибов, снова обворовали...

— Не пойму...

— Обворовал тебя твой предшественник. А как — сейчас поясню. Напоил, накормил телят до отвала, а потом — на весы. И сдал тебе вместо мяса навоз да водичку, ясно?

— Подлец он,— сурово сдвигая брови, проговорил Грибов и отвернулся.

— Не расстраивайся,— тронул его за плечо зоотехник.— Телята-то у тебя хороши... Мог бы, конечно, пойти по стопам Терехова. А кого обманул бы? Государство?

— Ну уж нет. Я за него жизни не жалел...

...Луга, луга, луга. Всюду, куда ни кинешь взор, — море пахучих цветов и шелковистых, умытых росою трав. По самую грудь скрылись в них пестрые телята, и только высокая фигура Грибова выделяется на фоне румяного от заката неба. Острый взгляд бывшего разведчика различает каждую кочку, зорко следит он за своими питомцами.

«Какие знания нужны пастуху? Разве это профессия? Взял в руки кнут и ходи за хвостами. Любой малец годен для этой роли»,— так рассуждал Николай Грибов еще совсем недавно. Но как-то на пастбище приехал зоотехник и привез пастуху стопку книг.

— В подарок тебе. За хорошую работу.

— От кого?

— От меня.

— Ну, что же. Спасибо. Хотя, признаться, книгами особенно не увлекаюсь.

Приличия ради, чтобы не обижать зоотехника, Николай Матвеевич решил прочитать только «Справочник животновода». Стоило ему пробежать глазами пару страниц, и книга увлекла его с такой силой, что он не мог от нее оторваться, пока не дочитал до конца.

Теперь он понял: пастух — это специалист. Ему надо знать многое. И еще Грибов понял: он не настоящий пастух, а безграмотный, случайный человек в животноводстве.

И он стал наверстывать упущенное. Разбил пастбища на клетки, завез соль, стал разбрасывать ее на заре по травам. В зарослях черемушника он нашел маленький родничок, расчистил его, устроил водопой. Вместе с полеводом облюбовал участок для «зеленого конвейера» и добился того, чтобы на нем посеяли кормовые культуры. Потом он соорудил для телят загоны, построил передвижную будку. Труд доставлял радость, телята росли на глазах.

— Взвесим?— кивая на животных, спросил зоотехник.

— Давайте.

Круторогий бычок, упираясь, взошел в установленную на весах клетку. Грибов, волнуясь, устанавливал одну за другой гири. Он верил и не верил глазам. Суточный привес нагульного молодняка достиг 1200 граммов.

— Здорово!— от души радовался зоотехник.— Получается так, что ты ежедневно выращиваешь для совхоза бычка. Больше двухсот килограммов мяса государству дашь! Таких рекордов в нашем хозяйстве еще не бывало.

Слава о замечательных результатах труда Грибова облетела весь совхоз. В один из августовских дней на пастбище приехал директор совхоза. Он обошел владения Грибова.

— Доверие оправдал, Грибов. Можешь возвращаться в контору.

Грибов на миг представил себе заваленный бумагами письменный стол, вековой давности погнутые счеты, вспомнил потертый портфель... Второй ошибки он не допустит! Он будет в тысячу раз аккуратней... Жизнь его научила.

Директор, терпеливо дожидаясь ответа, наматывал на палец гибкую и крепкую, как суровая нитка, травинку. Он заранее знал, что Грибова обрадуют его слова, ждал от пастуха благодарной улыбки.

Но Николай Матвеевич медлил с ответом. Ветер гонял по лугу шелковистые зеленые

волны, дурманный аромат щекотал ноздри. На фоне голубого, небесно-синего горизонта отчетливо выделялись силуэты животных. Ближе всех стоял высокий и стройный, словно олень, бычок Буйный. Когда-то плешивый, нескладный заморыш, он стал первейшим красавцем гурта, вожаком всего стада. И все это благодаря его любовной заботе.

— Хороши телята, впору везти на выставку,— задумчиво сказал директор.— Ну, что молчишь, Грибов? Пойдешь на старое место?

— Нет, Яков Федорович.

Директор посмотрел на Грибова с хитрецой.

— Так ведь ты же бухгалтер?

— Профессия пастуха не хуже. Не знаю, как кому, но мне она нравится.

Директор крепко пожал руку Грибову.

* *
*

Недавно автору этих строк довелось говорить о герое этого очерка с парторгом совхоза «Иркутский», Куйтунского района.

— Зачем ворошить старое?— недовольно заметил он.— Грибов — передовой человек, деньги вернул, стоит ли чернить его добрую славу?

Но о Грибове я рассказал не во имя прошлого. Я писал и думал, что, случись подобная история не в советской, а в какой-нибудь буржуазной стране, кто знает, кем бы был теперь Николай Грибов. Бродягой? Преступником?

Наши люди не дали упасть человеку, поверили в него, поддержали своим плечом. Они помогли ему исправить ошибку, поставили на твердые ноги. И не ошиблись. В советского человека можно и нужно верить.

Петр Реутский

СУРОВЫЕ ЛЮДИ

Эти люди встают до восхода зари,
Собирают рыбацкие снасти
И уходят на веслах в Култукский залив
Со своей бригадиршею Настей.
Настя морю и крепкому ветру сродни,
Ей к лицу огрубевшая форма,
Хочешь — с чайкой ее,
хочешь — с песней сравни,
Хочешь — с валом байкальского шторма.
Не смущаясь под взорами сильных парней,
Настя смотрит в открытые лица,
И никто из парней
не посмеет при ней
Похождениями похвалиться.
И когда пролетает над морем баркас,
Когда в мыле рыбацкие спины,
Вспоминают друзья,
как однажды погас
Здесь маяк ее глаз темно-синих.
Он ушел от нее в безвозвратную даль,
С белогривыми волнами споря,
Потому и лежит голубая печаль
На просторе сибирского моря.
Потому так задумчивы лица людей,
Потому так глядят они строго.
Хочешь морем владеть,
что ж, бери и владей,
Только Настю, товарищ, не трогай.

МЕЧТА

К. Э. Циолковскому

Порой рождается фантазия
И гибнет что-нибудь реальное.
В Европе или где-то в Азии
Встает доска мемориальная.
Ни лозунгами, ни цитатами,
Впервые так ничтожно скромная
Глядит в пространство жизнь огромная
Дефисом, выбитым меж датами.
О, сколько в том дефисе косности,
Былое все в гранит одето,
И лишь мечту
проносит в Космосе
Сплошным дыханием
ракета.

Александр Гайдай

ПОЕДИНОК

(Рассказ строителя)

Там, где струи речные
Под Кузьмихою мыли суглинок,
С Ангарой мы впервые
Вступили, друзья, в поединок.
Свежий ветер нам в лица
Ударил с просторов Байкала.
Даже сквозь рукавицы
Студеная сталь обжигала.
Клокотала вода,
Комья грунта, как пену, сносила...
И столкнулись тогда
Человек и стихийная сила.
Этот спор напряженный
Решался годами, не сразу.
Шли слоновьей колонной
На приступ тяжелые МАЗы.
И большим кораблем
Разворачивал свой экскаватор
Леонид Михайловский,
А после него — Саломатов.
Уминая бетон,
Пели в блоках девчата «Катюшу».
Перестук, перезвон
Вместе с песней запали мне в душу.
Разве можно забыть?
Никогда не смогу позабыть я
Наш строительный быт,
Легендарные дни перекрытья,
Первый пуск, первый ток,
Штурмовые бессонные ночи!..
Все исполнили в срок
Проектант, инженер и рабочий.
Ярче граней алмаза
В турбинах вода заиграла.
Пролегла автотрасса
По крыше машинного зала.
Загорелись средь тьмы
Фонари вдоль высокой плотины...
Так закончили мы
С непокорной рекой поединок.

* *
*

Как ручьи в горах встречаются
В нарастающем теченье,
Так в один поток сливаются
Наши думы и стремленья.
В этих думах — счастье Родины,
Мир на всей земной планете
И пути, что нами пройдены
И теперь открыты детям.
Мы идем дорогой Ленина,
Наше завтра созидая.
...Ангара в турбинах вспенена,
Глушь разбужена лесная.
Степь, буранами пропетая,
Стала житницей колхозной.
За космической ракетою
Вьется вымпел краснозвездный.
Даже небо словно поднято
И развернуто, как знамя...
Сколько сделано и понято!..
Сколько дел еще пред нами!

ЛЕОНИД ОГНЕВСКИЙ

МАЙЯ

Рассказ

Был май. Русский, смоленский. Теплый и солнечный, зеленый и влажный — хмельной. Или так нам казалось — хмельной, потому что были мы молоды, призывники сорок первого года, горячи, когда требовало пыла и жара зимнее наступление, сыроваты, раз успели опьянеть по весне.

Мы стояли в кустах, среди мочажин и пологих бугров, но какое это было благодатное место, когда поднялась густая и пышная листва орешника и ольхи: вылезай среди бела дня из траншеи и обнимай, как подушку, припорошенный травой-муравой бруствер, предавайся дреме, мечтай! Облака плывут по голубому безбрежному небу, не разбирая передовой, в кустах щебечут синицы, по былинкам, качая их, ползают букашки, жучки — все, как раньше, в тридцать пятом, сороковом... Пока не зашлепали по мокрым низинам немецкие мины.

А шлепали они, обычно не разрываясь, как по расписанию, в одни и те же часы. Мы привыкли и к расписанию и шлепкам и нисколько не удивлялись, даже чувствовали себя не в своей тарелке, когда запаздывали или вовсе не доносились до слуха шлепки; ординарец комбата Володька Гурков, обычно весельчак и миляга, даже злорадствовал в таких случаях:

— Эх, фрицы, фрицы, поломалась в вас заводная пружинка, так что амба, капут!

Он вынимал из затасканного по траншеям и землянкам футляра баян, весь в матовом блеске черного лака и перламутра, и начинал тихонько пиликать и ломким тенорком напевать:

Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

Он частенько пел, этот разбитной светловолосый волжанин, когда в землянке батальонного штаба мы оставались вдвоем: ординарец и дежурный телефонист. Обычно спросит: «Не помешаю, телефонная связь?» «Пожалуйста,— говорю,— передовая уснула, на линии связи тишина и покой!».

Он пел больше про того паренька, выходившего в донецкую степь, про девушек с русыми косами и глазами, как васильки; чем дольше мы стояли на зеленой смоленской земле, тем чаще в песнях упоминались девчата. Он грезил ими под певучий баян.

Да и все-то мы, пользуясь передышкой, грезили и мечтали! Города большие и малые были от нас далеко, уцелевшие от бомбежек деревни поблизости пустовали; за три месяца обороны, дни и ночи на передовой, мы не видели ни одной женщины, даже старушки. А что значит «не видели», понимать может только солдат: это когда у тебя не тоска по ласкам любимой, не желание встретиться и поцеловать, это когда оголодали глаза; да, да, ты желаешь самого малого, безобидного — поглядеть, пусть краешком глаза взглянуть на живую, проходящую в отдалении женщину. А их нет.

И вдруг неподалеку от нас, за мочажиной, похоронившей тысячи неразорвавшихся мин,

среди бархатной хвои синего соснячка, под четырьмя накатами бревен штабного бригадного бункера, появилась размолоденькая, раскрасивая Майя; она печатала на машинке. Весть о ней принес, конечно, Гурков, бегавший с донесением к командиру бригады. Тут бы мне, мне — телефонисту — первому разузнать, у меня же одно ухо всегда там, в штабе бригады, и я слышал, сколько раз слышал, будто дятел выстукивает долотом-клювом по сухостойной сосне, так нет... От него, Володьки Гуркова, и пошло по всем закоулкам нашего батальона: красавица, воздушно легкие русые волосы и голубые глаза, на подбородке и розовых щечках — по ямочке.

В описании санинструктора, вскоре побывавшего в штабном сосняке, Майя выглядела иной: глаза голубые и волосы русые, а щеки, щеки степной смуглоты, и никаких там ямочек нет. Третий из очевидцев, старшина Черемных, о глазах говорил то же самое — голубые, в остальном... Словом, сколько было счастливцев лицезреть Майю, столько и Майй, так что нам, не видевшим девушку, ничего не оставалось, как рисовать ее мысленно, взяв за основу глаза, по своему усмотрению, в зависимости, у кого какой взгляд на женскую красоту.

Мне она казалась какой-то светлой, прозрачной, самой, самой красивой, и я ее... полюбил. Говорят, любовь может вспыхнуть с первого взгляда. Раньше, по крайней мере, со мной было так. Первый взгляд Майи только разжег вспыхнувшую раньше любовь.

Это случилось через несколько дней. Уже в сумерки, когда спала жара и притихли кипевшие под ветром орешники, нас повели в баню. Баня пряталась там же, в штабном соснячке, только правее командирского бункера, ближе, возле ручья. А мы не захотели идти прямо, к ручью, нам давай дальше, но через штаб! Почему, зачем через штаб, расшифровки не требовалось, каждый про себя знал. Понимал, конечно, и старшина, который нас вел, он пытался внушить нам, что это по-мальчишески глупо, даже рыкал «Отставить», а сам, сам с дороги в правую сторону не свернул. А когда услышал, — да и все мы услышали! — как по притихшему лесу разнеслось дробное, с короткими перерывами стрекотание машинки, будто щебетала кедровка, так и вытянулся в струну и не шел уже, а печатал шаг, резко вскидывая упругие длинные ноги. Что же говорить о подчиненных, о нас? Мы подравняли ряды, заправили гимнастерочки и уже держали равнение налево.

Майя, моя любимая Майя, точь-в-точь такая, какой я ее представлял, — светлолицая, легкая, с рассыпанными по плечам волосами, — сидела за маленьким столиком при входе в штабной бункер. Ей, конечно, наскучило сидеть в подземелье, и она выбралась на воздух и свет. Топот ног, да еще такой дружный, будто мы рубили сухую гулкую землю, не мог не привлечь внимания девушки. Руки ее пробежали по волосам, потом пересчитали все пуговицы на гимнастерке. Чуточку скосив голову, она улыбчиво смотрела на нас, смотрела в упор. Нас — тридцать, она, Майя, — одна. Мы здоровяки парни, не раз побывавшие в атаках и штурмах, и она — тоненькая, еще не видевшая настоящей войны. Но не она, а мы, как по команде, опустили глаза.

Я уже не видел Майю, но чувствовал ее левым плечом — плечо вроде припекало, как от костра. Я шел еле волоча ноги. И никто мне на пятки не наступал: еле-еле волочился весь взвод. И не видать бы нам больше девушки, не приди на выручку старшина: он подал команду «стой!», потом — «вольно», и мы мигом повернулись на сто восемьдесят градусов; теперь можно было глядеть и глядеть!

И мы глядели и говорили, до чего она хороша! Ну, никто такой красивой раньше не видел! Рябоватый, небритый боец из нового пополнения обронил какую-то грубость — мы готовы были разорвать наглеца. Да как он смеет про хорошую Майю, приемную дочку комбрига? (Что она комбригова дочка, нам рассказал накануне старшина Черемных.)

А теперь вот он крикнул девушке что-то, и она оторвалась от работы, помахала ему чуть надломленной в кисти рукой. Все-таки хорошо быть ординарцем или старшиной, можно запросто появиться в штабе бригады, увидеться; познакомился — она помашет рукой...

А утром, утром так получилось, она мне помахала... Утром мы опять были у бригадного бункера, получали награды за зимнее наступление. Майя подошла откуда-то сбоку и говорит:

— А вам идет медаль «За боевые заслуги».

— Правда? Придется получить еще не одну.

— И орден...

— Постараюсь, Майя, и орден.

— Только... только удивительно как-то: девушку называть по имени, а свое имя не говорить...

— Кешка! Иннокентием нарекли еще маленького в Иркутске в честь какого-то монаха или попа, да так и прилепилось на всю жизнь.

— Счастливо, Кеша-Иннокентий, до новой медали. Или до ордена! — И это движение приподнятой рукой.

Больше мы не встречались. Я же был не ординарец, не старшина; я прикомандированный к пехоте связист, мое место у зуммера в батальонной землянке. Если бы еще рвалась связь! Но боев порядочных не было, линия работала бесперебойно, держи себе возле правого уха согретую собственным теплом телефонную трубку, сиди...

Говорить по телефону с Майей мне приходилось. Говорили мы часто. Вообще она была рядом со мной: заступил на смену, прислушался — щебечет пишущая машинка, поет!.. Потом я написал ей письмо, конечно, тайком от товарищей, особенно от Гуркова и Черемных. Написал, передал ехавшему на КП старшине и сделалось жутко: что скажет она? Что напишет в ответ? Отчитает, как мальчишку, жалкого, глупого! Даже опасался приглашать ее к телефону, чтобы не накликать ранее срока беды.

А письмо от нее пришло хорошее, теплое. Я держал его в своих шершавых ладонях, как светящийся в темноте уголек, как едва оперившего, но уже согретого проснувшейся жизнью птенца. Майя писала мне «дорогой». «Дорогой Кеша!» И этим дорогим был я. Я! Я готов был плясать под гурковский, весь в перламутре, баян.

Но Володька Гурков не играл плясового, он любил протяжные песни, негромкие, задушевные. Прикоснется щекой к верхней планке баяна и выводит неторопливо мелодию, напевает. А однажды как-то странно присвистнул под вздохнувший малахитовыми мехами баян и сказал смущенно, вполголоса:

— Письмо получил от знакомой, только сейчас принесли.

— С Волги, из родных мест? — спросил я, почти уверенный — с родины.

— Нет. Это вчера было с Волги, от матери, сегодняшнее писано тут, неподалеку от нас. Майя написала в ответ.

— Майя?

— А что?

— Да ничего, так... к слову спросил. — Мне было невмоготу держать телефонную трубку, онемела рука. Майя! Она написала еще и ему! Чего доброго, и старшина Черемных получает от нее не только устные, но и письменные приветы, уж очень он часто наведывается в сосняк.

И тотчас подумал, что все это ерунда, в штаб бригады Черемных ездит за продуктами нашему брату, такие у него старшинские обязанности, а Володька... Ничего он от Майи не получал, только хвастается. Или прознал что-нибудь и решил разыграть — только не удастся, дружок!

И я продолжал писать, Майя отвечала: «Кеша, мой дорогой!» Я любил ее пуще прежнего. Любил и... берег. Берег, конечно, в мечтах: прикрывал грудью от вражеских пуль, выносил с поля боя, когда вокруг бушевал огонь, отдавал ей последний глоток воды из баклажки... И как же над моими чувствами надсмеялась судьба!

...В начале июня немцы на нашем участке фронта зашевелились. Уже без расписания они швырялись тяжелыми минами, как мыши, выползали из-за бугра в своих мышиного цвета мундирах, откатывались и лезли опять. Три дня и три ночи батальон отбивал их наскоки, на четвертый день утром получилось что-то такое... невероятное... Я опамятовался: бегу от гула, грохота, трескотни. Кое-как успеваю с телефоном и катушками за пехотой. И куда мы бежим? Да в свой тыл! Такого с нами никогда не бывало, мы же попали в армию в декабре, к началу зимнего наступления, и шли вперед, только вперед... Уже осталась позади мочажина, впереди — обогретый солнцем сосняк, он так и кличет: «Сюда!» Стайка сосенок выбежала навстречу и тянет ветки, как руки, чтобы подхватить обессиленных, спрятать в хвое, спасти.

Еще минута, а может, и час, — чувство времени было потеряно, — и перед нами — знакомый конус штабного бункера, снующие возле него люди и среди них — Майя, в гимнастерке без ремня, с разведенными в недоумении руками. Кто-то что-то кричал нам, я не слышал, не разбирал слов, они отскакивали от меня как от стенки горох. Я, оглохший, смотрел на застывшую в недоумении и отчаянии Майю. Закричи она, упрекни нас, может быть, только подлила масла в огонь, но она молча стояла, такая беспомощная, и этим, может быть, погасила наш страх. Мы попадали на колени, а через секунду — тут ощущение времени возвратилось — уже орудовали лопатами, закапываясь в каменистую землю.

Я так и не узнал никогда, видела ли меня тогда Майя. Она не писала об этом ни через неделю, когда мы заняли прежние рубежи, ни через два месяца, когда, проломив немецкую оборону, устремились вперед.

Не часто, но письма приходили и через полгода и через год, хотя батальон наш передали в другую бригаду и встретиться с Майей, даже подслушать щебет ее машинки, я больше не мог. «Бей их, Кеша, — писала она в каждом письме, — бей проклятых». —

И тут же: «Береги себя, Кеша!» И вновь: «Бей!»

Майя, Майя! Чудная! Да как тут убережешься, ежели бьешь? Хорошая! Я любил ее все уверенней, тем более что старшины Черемных не было, он уехал в военную школу, новый старшина—бывший ординарец Гурков— больше не заикался о письмах, которые он получает в ответ. Только в сорок четвертом году и произошел небольшой перерыв в нашей переписке: Майю ранило в ногу.

Майю ранило!.. Ей было больно, когда осколок снаряда обжег ей ступню, когда возили ее из ППГ в ППГ, а я и не знал. Ничего не знал! Я, наверное, шутил и смеялся, когда она металась в жару. Майя, Майя! Другим наказывала беречься, а сама, получилось, не убереглась... Радовало, что теперь нога ее заживает, теперь Майя под мирным небом Москвы.

А предчувствие, что ее настигнет беда, у меня было, я часто думал: «А вдруг?» Может, старшина Гурков мне навевал эти грустные мысли, он частенько пел про какую-то подбитую чайку. Про Германию битую и пока недобитую пел. Наверно, сам сочинил и слова и мотив, другие этой песни не пели. Когда перешли реку Неман, против Тильзита, заберется куда-нибудь в уголок и пиликает, напевает:

Дорогая, дорогая,
Эту песню сложил я тебе.
Вместе с ней по дорогам германского края
Прохожу я в дыму и огне.

Там, в германском краю, среди дыма пожарищ и остался спать вечным сном Володя Гурков. Когда мы хоронили его, из кармана его гимнастерки выпали два тетрадных листочка, написанных... четким почерком Майи. Я бы узнал этот почерк по одной букве «М», прямой, строгой и мягкой. Значит, она все-таки писала ему, Володя тогда не соврал. И только ли в ту пору писала? Но зачем это сегодня, зачем? Упрекать Майю — неумно, винить погибшего друга... О мертвых говорят только хорошее или не говорят ничего.

А через месяц был опять май, самый радостный в жизни, май, сорок пятого года. Красное знамя пламенело над столицей Германии, и мы собирались домой. Что же делать русскому за границей, если отбой, отбой Отечественной войны!

В поезде, шедшем прямиком на Москву, мы не пели, мы кричали:

— Победа! Выжили! Мир!

Потом мне сделалось страшно: вот окажусь проездом в Москве, встречусь с Майей, а что ей скажу? Влюбленный, с тех давних пор? А правда ли это — заочная эта любовь? Я не знал, что мне думать и делать, мне трудно было решиться на что-нибудь самому.

Все решила она... Я застал ее на скамеечке перед серым облупившимся домом, она сидела с книжкой в руках. Та же самая Майя, даже гимнастерка военная та, только без погонов, как в соснячке на Смоленщине.

— Майя!— крикнул я подбегая.— Как я рад, Майя, что снова вижу тебя!

Она быстренько поднялась и метнулась навстречу. В голубых глазах любопытство и радость, смятение и испуг. Да, испуг. Почему бы? Да потому, что нечаянно! Я же не писал, что вот-вот буду в Москве. Мы протянули друг другу руки и обнялись... как брат и сестра.

— Как я рад, Майя, что кончились эти мучения!

— И я.

— А нога твоя? Как нога?— я посмотрел на ее ноги, без чулок, в белых резиновых тапочках.— Все зажило?

— Все.

Она провела меня в комнату тут же, поблизости, в прохладную комнату нижнего этажа и принялась хлопотать возле электрической плитки, как-то несмело, стесненно рассказывая, что вот уже второй месяц к ней заезжают возвращающиеся с фронтов знакомые и незнакомые воины, столько интересных рассказов, слушай сутками напролет!

Я рассказал о Германии. Вспомнил ту хмельную весну, соснячок среди смоленских бугров. Майя тоже помнила, она назвала по фамилии Гуркова и Черемных, первый ей посылал фотокарточку, второй однажды навестил проездом на фронт. Но говорила обо всем как-то неуверенно, робко. И еще, еще заметил я, она ни разу не произнесла моего имени, даже без добавления «дорогой».

Замуж вышла? Полюбила другого? Можно было встать и уйти, — надеяться-то на них, девчонок военного времени. И я так бы и сделал еще до того, как мы сели за стол, не приметь я в голубых глазах Майи мучительного страдания, слезной просьбы, мольбы не судить ее строго, безвинную. И тотчас понял: она не помнит, не знает меня. Письма? Такие же письма из доброты сердца она писала и многим другим. «Дорогой» писала? Но ведь не «милый». Ничего она мне в письмах не обещала, ничего не требовала себе.

Я, конечно, мог бы назваться и этим многое разъяснить, но подумал: «Зачем? Все

ясно и так. Ни обиды, ни разочарования!» Я вышел на широкую московскую улицу, и первое, что увидел, было голубое небо — цвет вечности, цвет Майиных глаз. Ни досады, ни грусти. Я был благодарен Майе уже за то, что она для меня — и не только для меня — сделала: помогла стать сильней, победить. Но об этом я скажу ей позднее, я напишу, когда приеду в Сибирь. Я буду писать ей и через пять лет, и через пятнадцать, и через двадцать пять лет.

И по-своему вечно любить.

Марк Сергеев

ПЕПЕЛ ЛИДИЦЕ

Сколько в жизни дорог протянется,
Сколько разного в них увидится...
Только в сердце навек останется
Пепел Лидице.
Пепел Лидице.

Разве это забудешь?
Где уж там!
У дорожной крутой излучины
Не деревня,
А чешка-девушка
На фашистском костре замучена.
Светит солнце совсем обыденно,
Грустный ветер золы касается —
Это ноженьки, ножки Лидины,
Это белые руки красавицы.

На нее, ни в чем не повинную,
Чтобы кровью ее насытиться,
Насылали огонь лавиною,
Самолеты бомбили Лидице.
Не туман на рассвете виден нам,
Не роса — приглядись получше:
Это косоньки, косы Лидины,
Это слезы ее горючие.

Словно Феникс, опять из небыли
Стала Лидице над дорогою,
Будто немцы здесь вовсе не были,
Будто горе ее не трогало.
Только горе забыть немыслимо,
Не простить смертельной обиды нам —
Вон закат на окнах бесчисленных
Лег запекшейся кровью Лидиной...

Сколько в жизни дорог протянется,
Сколько разного в них увидится,
Только в сердце навек останется
Пепел Лидице.
Пепел Лидице.

ПРАЖСКИЕ СОБОРЫ

Прошлое упрямится соборами,
В наши дни вонзясь крутыми шпилями,
Словно к платью новому с оборками
Украшенья древние пришпилены.
И торными проходит бродами
Через реку времени бездонную
Ликами святых длиннобородыми,
Горестной и нежною Мадонною,
Глаз ее таинственною влагою,
Трубами органными, поющими...
Прошлое еще владеет Прагою —
Городом, нацеленным в грядущее.
В нем от смерти спас соборов золото
Не Христос, придуманный от немощи,—
Парень из Иркутска или Вологды,
Ни в богов и ни в чертей не верящий.
И сказал: живите веки вечные
Над рекою Влтавой быстротечною
Памятники горю человечьему
Памятью таланту человечьему.

Елена Жилкина

В ПРЕДВЕРЬЕ ДНЯ

О этот ранний свет,
врывающийся в двери,
свет утра и надежд...
Кому он незнаком...
Когда распахнут мир,
И мы полны доверья
спешим в дорогу, покидая дом.
Рассветной синью
зябкие вокзалы
бессонные встречают поезда,
и где-то здесь
судьбы твоей начало,
и кажется:
все впереди тогда.
Все кажется желанным и возможным
в предверье наступающего дня...
Ведет нас утро, зорькою маня.
Мы счастья ждем
от перемен дорожных!

* *
*

Вечер.
Неизвестности тревога.
Бойкая колхозная лошадка.
Снежная продрогшая дорога
Под санями расстелилась гладко.
У дороги
вон
береза стынет.
Даль метелит.
Ни души не видно.
В белой
разметавшейся пустыне
Холодно
и чуточку обидно.
Но бросает вдруг
возница ловко
свой тулуп овчинный
мне на плечи...
...Дальняя моя командировка,
сердца согревающие встречи.

Алексей Зверев

Далеко в стране иркутской

роман

ЧАСТЬ III *

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов.
И как один умрем
В борьбе за это.

(из старой партизанской песни)

ВСТРЕЧИ

1

В этот год Ангара застыла не сразу. Сильные декабрьские морозы остановили ее выше города, у самых Патронов, но вслед за этим наступила оттепель, и река сдала. Она вскрылась на доброй сотне верст. Внизу, у Суховской, льдом забило русло. Подпертая вода бросилась в стороны, вышла из берегов. В Подкаменной она покрыла многоверстные просторы лугов, острова, затопила под горой бани, поскотину, бревна, подступила к самой избе Андрея Гурьяка. В распахнутом рваном полушубке Гурьяк бродил вокруг двора, словно завораживая воду. И когда мокрое пятно с тележный короб величиной вдруг появилось среди двора, старик сколько было мочи понесся к сельской, вопя:

— Топит! Спасите, люди! Топит!

Мужики с лопатами и топорами прибежали к Гурьяковой избенке, сели на крыльцо и закурили. Гурьяк слазал в подполье — картошка была сухая. Из Кудинской пади под вечер подул сильный ветер и понес с Ангары клочья тумана. Лужа на дворе Гурьяка, словно напуганная грозным валом туманов, слегка подымилась и застыла. Утром подкаменцы увидели вместо лугов и островов ровную ледяную гладь, покрытую легким куржаком.

Мужики один за другим с пешнями и ломами на плечах потянулись к сверкающему льду. Им надо было проложить дорогу на противоположную сторону: в тайге лежали бревна, сено, то и другое надо было вывозить. На реке лед-торосняк вспучился, сгрудился как попало. Низкое, но чистое и ясное солнце играло в нем радужно причудливым сплетением цветов.

— Да! Как его много тут набуравило, — сказал Василий и почесал затылок.

* Окончание. См. «Ангара». № 1—2 за 1960 г.

— Дивно льду!— произнес кто-то сзади.

Василий оглянулся и увидел Трофима. Тот, щуря глаз, улыбался. Василий отвернулся, схватил с плеча пешню и ударил по ближайшей льдине. Со звоном, как лопнувшее стекло, она рассыпалась. Белые крошки запорошили катанки Трофиму.

Через час уже с десяток мужиков крушили льды. Трофим и Василий работали спина к спине. Они будто шли в атаку, где сильным уколом пешни, где лишь легким прикосновением рушили ледяные пласты. Сзади расширяли дорогу другие мужики, отбрасывая лед в сторону. Трофим и Василий уже пробились до середины реки, ни разу не повернувшись друг к другу, с каким-то остервенением тыча пешнями. Наконец, уставшие, остановились, сняли шапки, обнажив голые потные черепа.

— Не был там, сват?— дрогнувшим голосом спросил Трофим.

Василий взглянул на него недружелюбно.

— Нет, не удалось еще побывать у городской родни,— резко ответил он и подумал: «Сват! Ишь ты!»

— А я вот побывал, слышь. Посмотрел на ихну жизнь,— певуче ответил Трофим.

— Ну и как? Живут-ладют?— уставился Василий грустно злыми глазами на снежный Камчатник.

— Плохо ладют, сват. Жизня их комом пошла. Карусель одна и только.

— Эко ведь. А я думал ладют,— зло заметил Василий.

— А ты не злись, сваток. Дело надо обдумать. Детей на ум-разум поставить. Девка твоя мне в душу запала. Хорошая девка, таких искать — не отыщешь. Душевная, чую. Да какая-то тварь между ними пробежала. Довелось пожить у них три дня, меня пирогами закормила, а Кешку до себя не допущает. Все бр! да бр! Он и так и сяк, и Утя и Устяша. На базар я ушел, они без меня, видать, драку учинили. Вернулся — Устя в кровати лежит, а Кешка с покарябанной щекой ходит. Ночью соскакивают, носятся, дверьми хлопают, шепчутся, спорить начнут, обзываться. Он ее красной сестрицей кличет, а она его и того страшнее обзывает. Последнюю ночь Кешка не ночевал дома. Беда да и только!

— Не по моей воле вышла — не мне их мирить,— сказал Василий, а думал о другом: «Вот не было печали, так черти накачали! Петро в больнице — об нем думай, эта куралесит. Эх!»

— Брось-ка ты, сват, дуться-то. Не за Афоньку-дурака вышла. Ведь и мой парень не из последних. А приходи-ка сегодня ко мне, за чаркой подумаем, как это дело огоревать.

Василий промолчал. Тут мужики подошли к ним. Трофим и Василий схватились за пешни, да так до самого конца работы и не обмолвились словом. Только когда дорога была пробита и мужики с шутками направились к селу, Троха приостановил Василия и спросил:

— Придешь?

— Нет, не жди, Трофим,— гордо ответил Василий. И они пошли в разные стороны по курчаво опушенному инеем льду.

2

О встрече с Трофимом Василий рассказал Татьяне. Взялась за него жена:

— Езжай, езжай, узнай, что там у них деется.

«Ладно, все одно за Петром ехать»,— подумал Василий и в полдень был уже у дочери, надеясь, что «того» дома нет.

Когда ворота, звякнув, широко распахнулись, Кешка сорвался со стула, подбежал к окну и, увидев подъехавшего Василия, облегченно вздохнул.

Кешка смотрел, как из кошевки вылез сначала Василий. Потом укутанный в доху при помощи сестры встал Петр и зашагал в дом. В кухне Кешка подбежал к шурину и стал стаскивать с него доху, полушубок. Петр морщился: то ли оттого, что не ожидал этой встречи (сестра сказала, что мужа дома нет), то ли оттого, что не совсем еще был здоров. Он был бледный, нос у него заострился, плечи казались угловатыми и узкими. Он протянул большую белую, чуть дрожащую руку Кешке.

— Здравствуй, зятек.

— Здорово, здорово, Петруха!— затараторил Кешка, потирая руки.— Давай-ка садись сюда. Устя, самоварчик бы!

Василий узнал от работника, что Кешка дома, и долго возился во дворе с конем. Устя выскочила на крыльцо.

— Давай, тятя, скорее. И так весь перемерз. Егор, убери коня.

— У меня самого руки не крюки,— ответил отец. Брови у Василия насупились. Сморкаясь и кряхтя, он ввалился в дом, а Кешка уж рядом. Вытряхнул он Василия из дохи, обмел с катанок снег, сунулся было к кушаку, да Ярин его отстранил.

— Не велик, брат, барин: уходу не требуется.

А Кешка как переродился, волчком вьется по комнате.

— Ты, Устя, сготовь-ка что-нибудь, вот ключи тебе от амбара. А я сбегаю.

Принес четверть водки. На столе дымилось жареное мясо, появились капуста, огурцы. По полному стакану Кешка налил всем и, чокнувшись, опрокинул первым. За ним выпил Василий. Петр отпил с полстакана, потянулся большими белыми руками за хлебом, видя, как воровски смотрит на него Кешка.

— Крепко же тебя стебанули, брат,— стараясь говорить весело, сказал Кешка.— Сразу вышибло память или нет?

Петр медленно жевал мясо, поглядывая на Кешку.

— Нет, не сразу. Долго крепился, будто сон одолевал. Потом какие-то сволочи подбежали, перевернули, и тогда из памяти вышибло.

Кешка торопливо долил Петру стакан.

— Давай, шурячок, пей, отстал, брат.

— Ничего, когда-нибудь наверстаю. Ниче-го!— Петр так сказал эти слова, что Кешка не знал, как понимать их.

— Теперь наша взяла. Придет время, и подлецов этих найдем,— добавил Петр.

Гости не засиделись. А когда все вышли на улицу, Петр спросил Кешку прямо, посмотрев тому в глаза:

— Может, Кеха, знаешь, кто та сволочь?

Кешка отвел глаза. Он пожалел, что день по-зимнему был уж очень светел.

— Что ты, Петька, плетешь-то? Откуда мне знать?

— Молва что волна,— сказал Ярин и опустился в кошеву.

3

Прошла неделя. Кешка пытался заговорить с Устей, та молчала и отворачивалась. Как-то к ним заехали постояльцы, но помещение было холодное, и Чаку пришлось им отказать. Почесывая затылок, он пошел к жене посоветоваться, не открыть ли постоялый. Устя коротко ответила:

— Ты хозяин, ты и открывай.

— Что же ты, Устя, все бр да бр,— смиренно сказал Кешка и вышел.

Целый вечер возился он в доме постояльцев. Там и проспал ночь на голых нарах, а с рассветом увидел: два красногвардейца вошли в квартиру к Усте.

— Зачем приходили?— спросил он.

— Узнавали, когда хозяин постоялый двор откроет.

— Не врешь?— обрадовался Кешка, глаза весело блеснули. Устя холодно посмотрела на него и углубилась в вязанье. Кешка выбежал во двор, схватил метлу и стал мести широкий двор. Через час он, разгоряченный, радостный, готовый принимать постояльцев, забежал в дом и увидел Устю у таза — ее рвало.

— Что с тобой, Устяша?

Долго смотрел на нее, морщась и вздыхая. А когда жена бледная, с влажными глазами вышла из-за печки, Кешка подскочил к ней:

— Устяша, да ты что, съела что-нибудь неладно?

— Я понесла, Иннокентий,— ответила она.

— Как? Что ты говоришь?

Кешку сначала так это удивило, что он, вытаращив глаза, стоял среди кухни и не знал, что делать.

Устя пошла к себе. Кешка догнал ее, схватил за плечи, мигом повернул ее к себе.

— Правда, Устя, правда?

Потом крепкими руками он прижал голову Усти к груди. Она не сопротивлялась, но и не отвечала на ласку. Слабо и осторожно отстранилась, когда муж горячо стал целовать ее. Сидя у окна, Устя видела, как Кешка от избытка радости возился во дворе с огромным псом. То собака сваливала его, а то хозяин одолевал пса и падал на него. Устя смотрела и плакала: нет, не радость и счастье принесет новая перемена в жизни.

С этим же псом под вечер Кешка ушел, сказав:

— К дяде наведаюсь.

Вернулся поздно вечером возбужденный.

— Подумай-ка! На дядю наложили такой налог, что хоть продавай постоялый. Вот так советская власть!— и подкрепил свои слова грубой бранью.

В другой раз сообщил:

— Разогнали большевики окружной суд, судебную палату, прокурорский надзор. А сегодня трибунал создали. Ну, держись! Теперь большевички покажут свои зубы.

Однажды, когда Кешка вертелся среди редких постояльцев, осторожно пытая их о делах в деревне, к нему подошла Устя и сказала:

— Просют тебя. Красные пришли.

На лбу и висках у Кешки проступил пот. Едва переставляя тяжелые ноги, он вошел в квартиру. Вооруженный красногвардеец обратился к нему:

— Вы Иннокентий Трофимович Сопов?

— Да,— дрожащим голосом ответил Кешка.

— Вас приглашает к себе следственная комиссия. Вот распишитесь.

— А... Это самое?..— заговорил Кешка, но уже добавить ничего не смог.

— Где находится комиссия?— догадался красногвардеец.— А знаешь, где расположился трибунал? На Большой против театра.

«Трибунал»,— пронеслось в голове Кешки. Это слово повторяли в ужасе все обыватели города, а городских тузов оно бросало в дрожь, хотя никого трибунал еще не судил. Кешка надел старые подшитые катанки, дырявый полушубок, большие рабочие рукавицы и, сказав: «Ну, я пошел, Устя»,— вышел из дому.

Весь путь из Глазкова до центра города просображал, как он будет разговаривать, как отвечать, решил прикинуться дурачком, недотепой.

В здании бывшего военного окружного суда на Большой Кешка обратился к дежурному красногвардейцу с лихо заломленной шапкой и красной повязкой на рукаве. Тот выхватил из его рук листок и, бегло пробежав по нему глазами, указал, куда пройти.

— Не скребитесь, а заходите,— сказал он, когда Кешка потихоньку стал стучаться в указанную дверь.

4

По решению городского комитета партии Грачева демобилизовали, и он распрощался со своими батарейцами. За полтора месяца после декабрьских событий ему пришлось побывать в далеких северных волостях губернии, помогать там устанавливать советскую власть, работать в налоговой комиссии, а вот уже неделю он сидит в трибунале. Грачев только что ознакомился с заявлением на Сопова. «Ого! Этот тип пострашнее воров и спекулянтов»,— подумал он, расстегивая пиджачок и расправляя под ремнем гимнастерку. Грачев просматривал другие дела, когда в комнату вошел Кешка и стал у дверей.

— Гражданин Сопов!— обратился к вошедшему Грачев, почему-то угадывая в бедно одетом человеке с неспокойными диковатыми глазами именно Сопова, а не другого кого-нибудь.

— Ага. Иннокентий Сопов,— ответил Чак.

— Ваш род занятий? — приступил к допросу Грачев, пригласив посетителя сесть.

— Что это такое?

— Ну, ваша служба, работа, ваше дело?

— А! Постояльничаю я. Постоялишко держу.

Спрашивая о возрасте, о месте рождения, о семье и родителях, Грачев прислушивался к голосу Кешки, посматривал на его старые катанки с отставшими заплатами на подошве, на его раскрытый рот и небритые щеки и думал: «И ведь как одет, простачком прикидывается, а чую — бандит».

— В так называемой народной милиции служил?

— Хе. Служил,— ухмыльнулся Кешка.— Служба тоже. Дадут пост, а я домой. Постоялый-то не бросишь. Служба. Так только, для счета.

— Тэ-эк,— протянул Грачев.— Значит, плохо служил своей власти.

— А?

— Власть-то, говорю, плохо берег свою?

— А, вот, вот, — глуповато раскрыв рот и толкая варежки в шапку, закивал Кешка головой.

С минуту Грачев глядел в глаза посетителю, потом откинулся на спинку стула, закурил.

— Простоват, простоват,— как бы для себя сказал он, а когда Сопов переспросил: «Чего это?» — Грачев задал новый вопрос:

— Вы на чьей стороне участвовали в прошедших боях, на стороне большевиков или юнкеров?

— Это в городе-то у нас?

Следователь вопроса не повторил.

— Так ведь нас, милицию, мобилизовали.

— Ну, а бить большевиков шомполами тоже тебя приневолили?

И хоть Кешка и ждал этого вопроса, но побледнел, и глаза его беспокойно забегали.

— А кошевничать в глухую ночь тебя тоже силком заставили?

Сопов вскочил со стула.

— Да это, господи, что за наказание мне такое? И вправду говорят люди, трибунал этот виновных и безвинных...

— Нашего трибунала боятся наши враги,— спокойно заметил Грачев. Светлые брови его вздрогнули:— Ясно? И еще вопрос: кулацкую дружину ты привел из деревни?

Кешка молчал. Грачев досадовал на себя: эх, завалил вопросами, не умею, не умею вести дело, а сам все спрашивал, горячась и стуча по столу.

— Арестуете? Да?— спросил Кешка.

— Арестуем,— крикнул Грачев и бросил на стол карандаш.— Арестуем, если надо будет. Вот, распишись о невыезде из города.

...Кешка тихо шел по Большой улице, не надевая рукавиц. «Должно, в тюрьме места для меня не нашлось,— подумал он,— вишь, расписку взяли о невыезде, нашли дурака». На углу Большой и Амурской его кто-то сильно дернул за лохматый воротник полушубка. Кешка качнулся назад, повернулся на

одной ноге и выпучил глаза. Перед ним стоял Алешка Чуб в теплом белом полушубке и новых катанках.

— Ого! Казанской сиротой прикинулся? Полушубок-то вот-вот с плеч слезет. А катанки! Рванье-рваньем. С какого ты нищего их стащил, а? — громко закричал Чуб.

— Отпусти, слышь, говорю, ну, отпусти,— бился Кешка беспомощно, словно подвешенный за воротник в цепкой и сильной руке Чуба.

— А рассчитываться не хошь, а? За шомпола? За приклад? За петлю?

На противоположном углу остановился гражданин в пенсне. Снял и протер их, надел снова и, подняв воротник, уставился на спорящих.

— Порядочек у советчиков,— ехидно пропел он.

— Стой, не убежишь, гад, бандюга, от советской власти не спрячешься. Найдем! На! Получай!

И Чуб изо всей силы ударил по лицу Кешку, тот отлетел и растянулся на снегу, но тотчас вскочил и побежал по тротуару.

Чуб, растолкав толпившихся вокруг людей, в несколько прыжков настиг Кешку и так ударил его по затылку, что тот, шлепнувшись, прополз несколько шагов на животе и долго не подымался.

— Бить! Убивать среди бела дня человека! Да у кого же, господа, правды искать! У этих коммунистов, господа!— надрывался человек в пенсне, отвернув каракулевый воротник.— Казнят! Судят! В трибунал таскают, а! Где закон?

Чуб за шиворот, как щенка, поднял Кешку и поставил его на ноги.

— Вот вам закон, видишь, гад, вот!— совал Чуб к расквашенному носу Чака большой красный кулак.— Будешь, бандюга, помнить советскую власть. — Сзади кто-то хлопнул Алешку по плечу. Чуб оглянулся: на него смотрели спокойные голубые глаза низкорослого солдата.

— Браток, так будешь драться за советскую власть — мало ей пользы сделаешь. Повредишь только. А ты, эй,— обратился он к человеку в пенсне.— Ты не вопи, недорезанный поросенок. Песенка ваша спета. Бери, браток, своего бандюгу. За мной. Живо!

И сам пошел первый. Чуб толкнул Кешку и пошагал за ним.

— Что же это, господа, будет?— крикнул кто-то.

— Не господа, а то-ва-ри-щи, слышь,— смело поправил другой голос.— То-ва-ри-щи!

УТРО

1

Давным-давно, когда деду Юде было не более тридцати лет, сосед его Разум спрятал у себя беглого из Александровского централа. Вся деревня знала об этом, но ни жандармы, ни полиция не могли дознаться, где живет каторжанин. Долго крепился и Иван Юда, но давнишняя злоба на соседа взяла свое: он грешил на Разума, что тот увез из Арсеновского леса в город несколько возов дров. В отместку взял и донес на соседа; каторжанина схватили, Разума в волости высекли, а доносчика с тех пор звали не иначе, как Иуда, дед Юдушка.

— Юдушка, Юдушка!— кричали ребятишки на улице.

Всю жизнь дед проносил эту позорную кличку, а привыкнуть к ней так и не смог. Лишь услышит, сидя у окна, как донимают его детишки, крякнет и выйдет, словно по нужде, на солнышко. Согнется, будто для дела, а сам палку ищет, схватит обломок жерди и бросится на ребятишек. С лотками и санками ринутся они под гору, спрячутся за бани и, показывая язык, кричат:

— Юда! Юда!

Иногда дед, заметив приближающихся ребятишек, прятался за угол с палкой и неожиданно нападал на обидчиков. Крепко тогда попадало неповоротливому парнишке. Дед бил по чем попало, жестоко мстя за нанесенные ему обиды.

Раз после такой схватки Ганька пришел домой с рассеченной головой.

— Поделом подлецу,— сказал Василий,— не связывайся со стариком. Я вот еще добавлю.

Но иным оказалось сердце матери. Татьяна схватила палку и побежала к деду. Она так загрохотала в ворота, что ошалевший старик выскочил из дому без шапки. Седая грива вздыбилась на голове, злые глаза метали огонь на Татьяну.

— Ты за что парня изувечил, а? Ух ты, злыдень старый! Юда, Юда и есть, проклятый! Чтоб тебе этой зимой околеть!

— А! Ты смерти моей хошь,— поднял дед голос до самой высокой ноты,— ну, так получай же за это!

И с теми словами старик спустил черного мохнатого приземистого кобеля, злого и так же нелюдимого, как и Юда. В один миг настигнув убегавшую женщину, пес спустил с нее юбку и крепко вцепился в ногу.

— Сю ее! Сю ее!— кричал простоволосый дед, не страшась мороза.

А из ворот уже смотрят соседи — Авдотья Южатова, Домна Вознесенская, Вознесенчиха Марья, Гачев Митрий и выводок Бунчикова Грихи.

— Кусай их! Рви их в клочки, коммунистов проклятых!— кричит Юда.

В тот же миг от дому Яриных выскочил матерый волкодав Лапка, спущенный с цепи Ганькой. Вмиг собаки спутались в один клубок. Они барахтались, грызлись, перебрасывали друг друга через спину. Летели клочья черной и серой собачьей шерсти.

Собак разогнали палками. Василий завязал ногу Татьяне, не проронив ни слова, только хмурил брови и покрякивал. За перегородкой лежал Петр, виновник ненависти, которой награждали соседи семью Яриных. Слово «коммунист», сказанное в адрес сына и его, он слышал не раз. Новое, нездешнее слово принималось на душу как брань, но Василий терпел, поглядывая на бледное, бескровное лицо сына, молчаливо лежавшего на скамейке.

Как-то из школы прибежал Ганька и подал брату записку. Петр прочитал, улыбнулся:

— Спасибо, Ганчур,— радостно сказал он.

Вечером Петр надел шубу и ушел из дому. Вернулся поздно ночью, порывистый, сияющий.

— Чему так радый?— спросила мать.

— Так, мама,— уклончиво ответил сын.

«Вот завтра ни свет ни заря за дровами отправлю, тогда ночами шататься не будешь»,— лежал и думал отец.

Так и сделал. Петр съездил за дровами. Вернулся усталый. Когда ел, ложка тряслась в руке, отец посмотрел и отвернулся. Петр как убитый спал до вечера. Румянец, подаренный морозом, долго пылал на лице, а проснулся измученный и в поту.

— Как боль-то, Петя?— обратилась мать к нему.

— Все прошло, мама — ответил он разминаясь. Попил молока, надел шубу да и был таков.

На другой день вечером к Яриным пришел Иван Вознесенский и в разговоре заметил:

— Петро-то ваш с учителкой спектакль какой-то затевают. Шастину Тоньку, нашего Ильку сговорил. Так потешно говорят, так забавно играют, что от парней и девок в школе отбою нет. Сторожиха смотрела, смотрела да к попу, говорят, побежала. Тот и явись. «Изыди, анафема», — сказал батюшка. А Петро-то ему: «Изыди ты отсель, длинноволосый. Мы, говорит, культурные революционеры, и не тыкай нам в колесо палки». С тем поп-то и ушел, ха-ха!

Иван говорил, желая похвалить Петра. Но отец звонко соскочил с курятника, на котором любил лежать, и забегал по кухне:

— Подлец, вот подлец!

— Какой же он подлец! Он доброе дело затевает.

— Доброе!— взвыл Василий.— От этого, брат, доброго дела скоро хоть глаза завязывай да от стыда убегай в лес.

Петр снова пришел поздно. А утром, когда рассвело, Василий вывел сына на улицу и показал на ворота:

— Читай, мошенник!

На воротах корявыми, прыгающими буквами было написано: «У нас ишо есь пули гля тибя».

Петр покраснел, сбегал за тряпкой и стер надпись.

В избе отец, глядя гневными глазами на сына, не говорил, а стонал:

— Оставь, Петро, эти затеи. Доиграешься, смотри, что и нас в гроб сведешь. Оставь, пока не прокляли тебя. Ведь деревней и так пройти нельзя.

Сын молчал, не смел перечить отцу, вздыхал и кротко улыбался. Когда же вечером собрался идти, не было шубы. Петр надел рваный полушубок. Долго искал шапку и, не найдя, надел Ганькину малую. На дворе ворота были замкнуты и у забора добавлена лишняя плаха.

«Эх, мама, мама!»— подумал Петр и одним широким махом перемахнул забор.

2

Пьеса, написанная самой Верой Николаевной, была маленькая, и участвовало в ней всего четыре человека. «Буржую» Андрону Роидину приклеили большую рыжую бороду и надели широкую толстовку. Петр играл роль батрака Сидора. Тоня Шастина — жену богача, а сама Вера Николаевна — городскую коммунистку: она приехала в деревню бороться за советскую власть. Сцена была сооружена на четырех партах, застланных плахами. Занавес сшит из нескольких мешков, а стен и совсем нет. Свободные артисты находились возле сцены, продолжая репетировать, грозили кулаками, показывали языки, выворачивали глаза. Ванька Филонов и Серьга Тонский в шубах и папахах громко хохотали, делали замечания по ходу игры.

— Борода-то и впрямь отцова! — кричит Ванька Филонов, фыркая плоским широким носом.

— Ох, и жалит, стерва, мужика, вишь охаживает,— кричит Серьга Тонский.

А Вера Николаевна кружится, бегает по сцене.

— «Ты кровопиец, ты грабитель. Вон сколько земли нахапал. Табуны коней, стада коров. Все это народные слезы, горе, нищета».

Прохор — Андрон Роидин, скаля зубы, весело смотрит на гневную учительницу, плечи его трясутся в смехе.

— Отдай, Прохор, весь свой скотишко вон хоть Сидору,— слышен немолодой тонкий голос из зала.

«А, и Корнило Тонский пришел послушать спектакль»,— думает Петр.

— А что! — грозно кричит он, стоя подле сцены.— Отберу и отдам бедноте. Вон голытьбе батрацкой отдам.

— Попробуй,— опять слышится тот же голос.

— И отдам. Отдадим ведь, Вера Николаевна? — Вера Николаевна сокрушенно качает головой, тихо шепчет Петру:

— Ведь это не по действию! Петя!

— А! Только бы поняли,— громко кричит Петр.

С поникшей головой уходит обескураженный Прохор-буржуй. Сидор кричит что есть мочи, подняв руку:

— Да здравствует власть трудового народа. Ура!

Сторожиха ворчит: на полу после спектакля окурки, плевки, сломаны спинки у двух парт.

— Ой, беды-то сколь! — успокаивает ее Петр.— Давай-ка, Андрон, неси снежку, подметем, а парты завтра исправим.

Андрону так нравится борода, что он, подметая пол, не снимает ее. С веником в руке становится в позу и кричит заученные реплики:

— «Шалишь, голубушка, под чужое добро не подкопаешься!»

— Здорово, Андрон, здорово! Мы сегодня сделали такое, чего отродясь не видела наша деревня. А лиха беда — начало.

3

Как-то в дом к Яриным зашла Вера Николаевна. В этот час дома были все. Петр подшивал катанки. Василий, приколотив к стене барабан, скручивал волосяные вожжи, а Татьяна, приседая, подбивала огромную квашню теста. Мелкота возилась на кровати, а Ганька учил уроки. Увидев учительницу, Петр покраснел, отложив в сторону валенок, пошел мыть руки. А Василий, взглянув на учительницу, еще бойчее завертел барабан.

— Здравствуйте, добрая семья! — сказала Вера Николаевна и подала маленькую руку Василию. Тот пожал ее, перехватив плотно закрученный конец в другую руку. Конец вырвался и свился черной змеей в тугие кольца.

— Ах, мать честная, что я наделал? — крикнул старик.

— Это я, я виновата, Василий Родионович! — певучим и мягким голосом сказала Вера Николаевна.— Ну, да я вам помогу.

Она подскочила к барабану и ловко стала распутывать витки.

— Да ладно уж, Вера Николаевна, я сам. Что уж вы, а? — растаял Василий в доброй улыбке.— Ты бы, старая, самоварчик поставила.

— Нет, нет, никакого самоварчика. Я ведь к вам на минуту, Василий Родионович. Я ведь насчет Гани пришла.

А Татьяна уже самовар раздувала сапогом, гремела трубой, понеслась со всех ног в чулан. В голове билось: не натворил ли чего Ганька в школе.

Вера Николаевна все-таки развила весь конец, аккуратно сложила его на табурет.

— Ну, слухаю вас, Вера Николаевна. Чего он там? — тревожно заговорил Василий, пригласив учительницу сесть, а после и сам присел на лавку.— Набедокурил чего? Ганя, поди-ка сюда.

Ганька, подпоясанный толстым сыромятным ремнем, вышел из передней, потупил голову.

— Нет, что вы, Василий Родионович. Я не затем пришла. Ганя ваш в мае школу кончит. Куда вы думаете его определить?

— Да, по совести говоря, и не думал, Вера Николаевна. Расти будет. Боронить, пахать будет. Дел у нас всегда по глаза.

— А дальше вы его учить не думаете?

Отец пожал плечами.

— О другом бы ученике и говорить не стала,— продолжала Вера Николаевна, както все более и более волнуясь.— Но ведь он у вас такой способный. А какой умелый. Ну, на все руки! Я его, уж вы простите, так и зову — Ганек-огонек. Да вот хотя бы это.— И Вера Николаевна потянулась к потному окну, отлепила от стекла вырезанные ножницами корову, лошадь, поросенка, петуха.

— Вы посмотрите, что за конь, какая у него шея, хвост, ноги. Обратите внимание на ноги — стройные, точеные. Удивительное чутье к красивому!

Вера Николаевна бросила взгляд, полный удивления, на Ганьку, привлекла его к себе и поцеловала в щеку.

— Клетку вон смастерил для птичек,— польщенный похвалой, сказал Василий.

— А хозяин-то он у нас какой,— похвалила Татьяна.— Двор уберет, дров напилит, занесет: «На, мама».

— Вот я и говорю, Василий Родионович. Лето пусть дома работает, а на зиму вы бы его в город, пусть дальше учится.

— Дак учить-то учить, — почесал затылок Василий,— а на что? Содержать надо, а где денег взять?

— Да ведь сестра-то, Устя, поди не откажет,— настаивала учительница.— Поможет.

— Ладно, Вера Николаевна, спасибо за совет. А садись-ка стакан чаю выпить,— пригласил ее за стол Василий.

Все это время Петр сидел в спальне и вышел, когда Вера Николаевна собралась уже уходить.

— А ты, Петя, не забыл, что сегодня в школе молодежные чтения. Буду читать стихи Некрасова,— напомнила Вера Николаевна.

— Приду,— коротко ответил Петр, смущенно пощупывая пуговицы у рубашки. Василий смотрел тревожными, спрашивающими глазами то на сыновей, то на Татьяну. Что-то не все ему было понятно. Скребнули по сердцу слова учительницы, обращенные к Петру.

— Да зачем ее принесло? Мать! Как ты думаешь? Зачем? В Ганьке ли дело? Не к Петру ли? Слышь ты, не к тебе ли пожаловала, а?

Сильно волнуясь, Петр сказал:

— А чем, тять, плохая невеста?

— Невеста?— круто повернулся к сыну отец.— Что ты сказал? Невеста? Вот она у меня невеста. Стебану вот ими!

Василий схватил с гвоздя вожжи, тряс ими перед самым носом Петра, едва сдерживаясь чтобы не ударить ими.

— Мать! Слыхала, что он сказал? Да ты подумал ли прежде, чем сказать? Ты не знаешь, поди, кого нам надо? У старой-то, у матери-то, руки от одной квашни отваливаются!

Василий задохнулся от злости.

— Та убежала, бросила нас, покинула, ломоть отрезанный теперь. Вас дармоедов полон дом, мать одна должна кормить? Так? А ты вместо хорошей работницы-то еще одну дармоедку хочешь привести. Невеста! Я тебе дам невеста!

Петр промолчал, а когда вечером ушел и улеглись ребятишки, Татьяна и Василий до первых петухов не могли уснуть. Рождался в разгоряченных умах один план за другим, как покорить непослушного сына. Загремел забор, тихо звякнуло колечко, потом еще, еще. Мать бросилась было открывать.

— Стой!— схватил ее за руку Василий.

— Да что ты, батюшка мой, удумал!

— Пусть идет к кому-нито, ночует да пораздумает!

— От родного-то дома? Да ты что, старый, в уме ли?

— Ничего. Только на пользу будет.

Колечко на дворе звякнуло сильнее, затем раздались два удара ногой, загремел заплот. Лапка беззлобно пролаял несколько раз, и все затихло.

— Ушел,— глухо простонала мать.— А куда ушел, бог весть.

— Ладно. Заклохтала. У Андрона ночует,— слабым голосом сказал Василий и отвернулся к стенке.

4

Утром Василий дождался, когда придет сын, потом запряг Чалку и уехал в Урик. Вернулся из соседнего села сосредоточенный и сдержанный. Дал с полчасика постоять Чалке, а потом насыпал коню овса, а не сена. Уже после того, как Василий пообедал, Татьяна объявила новость.

— Старик, ведь Петро-то ночевал знаешь где? Ведь он к этой ушел, учительнице.

Василий только сплюнул на пол и растер плевок.

— Ты вот что, мать, вытащи-ка из чулана и погрей поддевку, шубу, рубаху добрую погладь. Себе шаль, сак. Да покличь-ка эту, Вознесенчиху.

Татьяна даже переменилась в лице. Вознесенчиха славилась как удачливая и разбитная сваха. «Дай-то бог всему кончиться счастливо», — подумала она и пошла в чулан.

Петр и значения не придал, почему баню истопили не в субботу, а в среду. Сходил, крепко попарился. В тот вечер домашние говорили как-то тихо, настороженно. Даже ребятишки и те не возились, а чинно сидели, сооружая молотилку и впрягая в нее двух, из картона выстриженных коней. Вознесенчиха не замедлила прийти. Высокая, разодетая, она ввалилась в избу и рассыпалась таким частым горохом слов и смехом, что Василий и Татьяна сразу воспрянули, повеселели.

— Давай-ка, Петя, одевайся, да в гости в Урик съездим,— хитро начал отец.

— Мне на сельскую надо бы сходить. Звал зачем-то Ветлов.

— Сходишь завтра.

Теперь Петр понял, что не напрасно в дом пришла Вознесенчиха, не зря и в баньке помылся, а в избе не случайно появились шуба, поддевка, шелковая синяя рубаха.

— Сватать, что ли, собрались?— спросил он отца, дрогнув в голосе.

— А хоть бы и так,— твердо, на высокой ноте ответил отец.

— Одевайся, Петенька, что поделаешь. Всему пора,— нараспев заговорила Татьяна.

Сын лежал на кровати, закинув за затылок руки. Серыми помрачневшими глазами он уставился в потолок. Полные губы вздрагивали, в висках гулко стучало.

— Ну же, одевайся, Петя. Отец вон пошел Чалку запрягать.

Петр решительно встал. В несколько минут оделся. Мать не успевала подсовывать брюки, катанки, рубашку. Подошел к зеркалу, на косой пробор расчесал еще влажные волосы.

— Ну, чем не жених, чем не жених! Высок, красив, умница такой,— затрещала Вознесенчиха. Василий вошел с улицы и обрадованно крякнул, увидев сына уже в шубе.

— Ну, с богом, с богом, — сказала Татьяна. — Ты, Ганя, тут за всем присматривай.

Петр сам широко распахнул ворота. Норовистая лошадь пулей выметнула легкие санки. Парень догнал, сел на облучок, слегка дернул вожжами— и санки полетели по сумеречной улице. Мелькнули мимо хмурые сосны и кедры за церковной оградой. Дальше налево — сельская, направо — школа, а прямо — крутая горка к мостику. Петр горячил коня, взмахивая перехваченным в руке кнутом, а когда дорога пошла под уклон, полыхнул лошадь по крутой холке, ловко бросил отцу вожжи и, выскочив из саней, бегом понесся к школе. Двери были еще не заперты. Петр пробежал коридор, класс, не постучавшись, залетел в комнату Веры Николаевны.

— Вера! Вера Николаевна! Заложись кругом крепко. Меня отец женить собрался, а я вот убежал.

Вера Николаевна уставилась на парня. Он, бледный, весь в снегу, стоял перед ней, не смея протянуть руки, счастливый и испуганный.

НОВЬ

1

Стоит Татьяна на крутом берегу одетая налегке в курму и смотрит вдаль, не вывернутся ли сани, не приедет ли сын, не явится ли Устя, которую она не видела уже много недель. Разметнулись белые снега от Камчатника до Каменных коней, от яра, на котором стоит Татьяна, до далеких, далеких сосенок, мимо которых пробирается поезд. Смотрит Татьяна в искрящуюся даль, и у самой вроде в глазах зарябило. Вот две слезинки упали на полы курмы и тут же застыли — нет ни дома, ни сына, ни дочери.

Ночевал Петр то у Ивана Вознесенского, то у Роидиных пять ночей. Сколько слез пролила Татьяна за эти дни! Пришла мать к куме Роиде, Петр сидел и ел печеную картошку.

— Пойдем, Петя, домой. Пойдем, ну! Что чужим людям надоедаешь, дома родного нет, что ли? Вон отец-то почернел из-за вас.

Петр посолил облупленную дымящуюся картошку, отложил ее в сторону.

— Еду учиться, мама. Ветлов Иван посылает на курсы красных командиров.

Мать испуганно взглянула на сына, всплеснула руками и села на лавку.

— Учиться? А нас, стариков, бросишь? Да на что же мы тебя растили, окаянного?

Уехал Петр в город, другая неделя, как нет его; Татьяна глаза все проглядела. Семь раз на дню сбегала на яр и ни разу без слез не возвращалась. Белеют снега, томят сердце пустотой и холодом. Там, где ветры размели снежный покров, кружатся ребятишки, отталкиваются одной ногой, а на другой конек. Только Ванька Тонский на двух коньках, но те богатеи. Вишь, как сверкают под ним новые снегурки. Гошка и Ганька Ярины катаются на деревяшках. Семья большая, до коньков ли тут.

Неласковое февральское солнце, скользнув холодными лучами по снеговому простору, закатилось за темный сосняк Камчатника. Татьяна, зябко поежившись, совсем было отправилась домой, как из-за дальнего мыса вынырнула лошаденка. Куда и озноб девался у Татьяны. Вот уже различима дуга под конем. Вот он уже — трух, трух, трух — близко бежит, спотыкаясь, видно, устал. На санях двое: один подергивает вожжами, другой сидит за ним. Кто бы это? Татьяна по соловенькой кобыленке узнает: едет Косой Гурьяк. Сейчас он свернет в подцерковный переулок. Спрыгнет ли другой седок? Спрыгнул бы! Ждет счастливой минуты измучившаяся от

ожидания женщина. Вот человек поднимается и ловко выпрыгивает из саней. Притупились глаза Татьяны от частых слез, не узнает... Кричит Ганька:

— Братя Петя!

Часто, часто отталкиваясь, ребятишки покатились на коньках навстречу военному. Не удержалась и мать, торопко сбежала под горку. Там уже стоит Петр, окруженный кучей ребятишек. Татьяна хотела обнять сына, но, удивленная, остановилась.

Где же добрый полушубок, где валенки-поярки, в которых Петр уехал. На сыне шинель, сапоги, серая солдатская шапка. На шапке широко разметнулась красная звезда.

— А зачем звезда?— спрашивают ребятишки Петра.

— А чтобы видеть, что я красноармеец.

— А ружье где!

— Ружье в городе оставил.

Мать шла подле сына, от радости плакала и, щупая шинель, советовала:

— Одежонку отобрали, так успокой отца-то: скажи, все вернут.

Когда Петр вошел во двор, отец развязывал воз соломы, который привез с гумна. Василий бросил короткий взгляд на Петра, резко отвернулся и суетливо стал сбрасывать веревку с гнета. Она не сходила. Тогда Василий рванул изо всех сил конец. Веревка, засвистев, описала круг и ударила Петра по плечу.

— Осторожно, тятя, глаза выстегнешь!— пошутил сын.

Василий и глазом не повел на сына. С передков сорвал гнет, кулаком ударил Чалку, будто конь помешал. Петр тоже взялся за гнет, но отец тотчас подбежал и оттолкнул руки сына. Словно боясь, что Петр возьмет вилы, Василий бегом подскочил к ним, плюнул на ладони и подцепил первый навильник.

— Давай-ка, тятя, я помогу, — сказал Петр.

— Мозоля натрешь, паря,— крякнув под большим навильником, сказал Василий.

Но Петр уже сбросил шинель, одним махом залетел на сеновал. К нему летели сердитые отцовы навильники, сын подхватывал их и шутил:

— Смотри, тятя, меня не пырни.

— Надо бы отметчину подлецу сделать, — как и прежде, со злостью сказал отец, но Петр уже почувствовал, что начинается примирение.

— Ох, да вот тут другие вилы есть,— сказал сын.— А ты, тятя, иди-ка в избу, устал, я тут без тебя управлюсь.

Петр соскочил и поддел такой навильник, что едва завалил его на сеновал. Василий швырнул в сторону вилы, высморкался и ушел в дом.

2

Уже назавтра, в воскресенье, в доме Яриных открылся спор между сыном и отцом и потом вспыхивал всегда, когда приезжал Петр. Василий спорил, будто выкладывая всю свою боль, сын доказывал сдержанно, но ставил в тупик отца каким-нибудь неожиданным оборотом мысли, отчего тот в бессилии кричал, кляня все новое, и, забравшись на курятник, ложился, заломив под голову руки.

Начинал всегда отец, словно его все время точил какой-то червь.

— Н-ну, как там властя новые в городу?

— Советская власть крепнет, тятя.

— Крепнет? Ого! А это как, к примеру, крепнет она?

— Ну, всего сразу не скажешь. Суд вот революционный на днях создали. Контру всякую судить будем. Работают все школы, больницы, театры. Буржуазию города налогом миллионным обложили.

— И платят?

— А как же? Сопят, да платят.

— Ну, с тех надо,— соглашается Василий,— а вот с крестьян?

— С крестьян продналоги будут.

— Это, к примеру, как?— приподнимался Василий на локтях.

— А вот так: у кого есть излишки хлеба — отдай государству по твердым ценам.

— Это у мужика-то лишний хлеб? Да он когда бывал у него лишний-то? Вот это власть! Вот что удумала!— Василий заметался.— Да я лучше... завтра же на сани да в город, есть пять-шесть мешков продажного... Задарма отдавать?

— Это спекуляция называется. За это карает законом советская власть,— возражал сын.

— Пусть карает. Пусть! Отсижу, а не отдам!

— Это как же, тятя? За советскую власть сидел в тюрьме. А теперь за какую собираешься в отсидку?

Старика это бесило. Он шумно, тревожа кур, соскакивал с ящика и, грозя Петру толстым кривым пальцем, кричал:

— Ты это, Петро, брось. Ты брось меня поддевать всякой тюрьмой. Ты, я знаю, и отца родного не пожалеешь, турнешь в нее, в тюрьму-то, вот!

Сын тихо смеялся и переставал спорить...

...— Н-ну, коммунист, выкладывай, что новенького,— спрашивал отец, когда сын появлялся в следующее воскресенье.

Ядовитое «Н-ну», сказанное с растяжкой, настораживало Петра, он искал, чем бы сразить отца, и однажды сказал:

— Декрет такой есть, тятя, вся земля из рук частных лиц переходит в руки государства. Национализируется, значит.

Отец сразу смолчал, видимо удивленный сказанным. Он слышал и раньше, что помещичья собственность на землю отменяется, но чтобы отменялось мужицкое владение землей — этого он не мог уразуметь.

— Это... Это и впрямь что-то новенькое. Ловко.— И, помолчав, добавил:— Хитро! А? Вот это хитро!

Потом накинул полушубок и выскочил на улицу. А когда вернулся, заговорил уже более спокойно, сев возле сына.

— Значит, нет, Василь Родионыч, твоей земельки. Тю-тю, брат. Зря горб гнул, зря леса палил, пни корчевал, зря залоги драл, в поту купался. Обдурачила тебя власть-то. Вокруг пальца обвела. Ловко.

— Земля теперь по-настоящему стала народной,— разъяснял сын.

— Скажи...— тянул презрительно отец и постепенно расходился.— А как нужда будет государству, хап ее — и нет, и спасибо не скажут. А на ней, на земле-то, пот и кровь. А пот и кровь!

— Да никто у тебя отбирать ее не будет. У помещиков отобрали. У кулаков — придет черед — отберем, а у тебя? Ну, кто ты такой?

— То я и говорю,— уже злобно кричал Василий,— коням плечи пожег, себе грыжу нажил, мозоля вечные натер — по загону растил поле, и тут прощай дорогушка земля, ты теперь государственная.— И Василий отскочил от сына и лег опять, задрав вверх стриженую седеющую бороду.

3

Как-то Петр приехал из города хмурый, сидя за столом, озабоченно морщил лоб, хотел что-то сказать, но не решался. Слышался стук ложек о чашку, беспокойная возня за столом Гошки и Леньки. Отец несколько раз косо посмотрел в их сторону, потом шутя стукнул одного ложкой по лбу. Гошка тихо и тонко завыл, а Василий обратился к Петру:

— Н-ну, что же новенького, коммунист?

Петр отложил ложку, широким взмахом вытер губы и встал из-за стола.

— Устю видел, тятя.

Отец тоже отложил ложку, насторожился: что скажет сын.

— Одна она теперь живет.

— А... тот?

— Кешку посадили в тюрьму.

Татьяна заголосила, потом вдруг уткнулась в фартук, засморкалась, а Василий, крякнув, поджал губы.

— А на днях он с дружками своими убежал из тюрьмы,— продолжал Петр.

Василий хлопнул себя по коленке.

— Вот она, варначья-то жизнь, отрыгнулась. Эх, Устя, Устя! Не послушалась дураков, родителев-то. Н-ну?— добавил он, уставившись на сына, ожидая чего-то еще.

— Вчера в Оёке двух коммунистов убили, оружие взяли, несколько домов ограбили и коней увели. Говорят, Кешкино дело.

— А чье же?— запальчиво крикнул Василий.— Теперь, брат, жди гостя и в наши хоромы. Да. Как же, и у нас коммунисты есть, и у нас есть, кому нож в спину засадить.

Петр широко открыл глаза.

— Ты, что, отец, рад этому?

Но старик сокрушенно добавил, садясь на скамью.

— Кто же рад бывает своему горю! А? Дурак! Да если случись... ведь это гроб мне и старухе.

В избе на минуту воцарилась тишина. Вечерний мрак охватил углы, на печи слышалось шуршанье тараканов в луке. Не новое ли горе подстерегает семью Яриных? Не раз оно приходило в этом беспокойном году. Не надо бы больше, не надо, не выдюжить. Видимо, от этих дум навернулись на глазах старика слезинки, да ладно, вечер наступил, никто их не видел.

— Устю, тятя, надо бы домой привезти,— посоветовал Петр.

— Надо бы, старик, надо,— подхватила мать.

И опять тишина, и все ждут, что скажет отец. Гошка и Ганька, стоя за спиной отца, прижались к горячей печке, сунув руки за спину, Татьяна тихо убирает со стола. Василий привлек к себе Леньку, посадил его на колени, поцеловал в голову.

— Правда твоя, Петро, изведется одна девка, а запрягай-ка завтра Чалку да езжай за ней. Трофим-то знает о своем непутном?

— Сказать и ему надо, тятя,— ответил Петр.

Устю брат привез назавтра под вечер. А утром следующего дня пришел к Яриным Троха. Он широко перекрестился и стал искать стул, но его на кухне не оказалось, и никто ему не подал, тогда он сел на лавку у

самого стола. Черный глаз его кольнул Татьяну, Василия, остановился на Усте.

— Что же ты, невестушка, свой дом законный обходишь? Как-никак, а свекор-то буду я.

Устя ничего не сказала.

— Что нового привезла, рассказывай.

— А вы, тятенька, об этом новом ране меня знаете,— резко ответила Устя.

— Что же такое стряслось? Сказывай?

— Кена из тюрьмы убежал,— ответила Устя.

— Что ты говоришь?— блеснул глазом Трофим, будто удивился.— Что в тюрьму посадили, что убежал — ничего об этом не знаю.

— А потом, — продолжала Устя,—сюда, в Подкаменную, приехал, Игреньку у тебя в хлеву оставил, а сам дальше подался.

— Да ты что, в уме ли, невестушка? Что ты на меня наговариваешь?

— Никто не слышит, окромя тяти да мамы, а ты не хитри, не хитри, все с хитринкой да с подхалимкой. Сказывай, куда уехал муж?

Ошарашенный таким оборотом дела, Трофим развел руки, держа в них добрые лосиновые рукавицы.

— Сватушка, да это что она на меня напустилась?

Но Василий ничего не сказал и ушел в переднюю. Трофим напялил на себя шапку с бобровым околышем и, не прощаясь, вышел. После его ухода Василий спросил дочь:

— Это правда, что Игренька-то варначий у Трофима?

Устя смущенно улыбнулась:

— Я и сама не знаю, тятя, а думаю так: своего коня он с собой не возьмет. А из города в Оёк уехал.

— Значит, варначище-то у нас в деревне уже побывал. Так.

4

Прошло несколько дней, и посещение Трофима стало забываться. Устя окунулась в хозяйство, помогала убирать скот, доить коров, ездила с Ганькой в тайгу за сеном, в Каштак за соломой, стирала ребячье бельишко. Ей так по душе пришелся родной дом, что она словно забыла обо всем прошлом и, частенько сидя у окна и починяя что-нибудь, как в девушках, пела песни. К ней часто прибегала Наташка Вознесенская и подолгу рассказывала о своем замужестве. Они шептались, звонко хохотали, и, когда подружка уходила, Устя снова становилась грустной. Серые глаза мрачнели, она роняла на колени работу, задумывалась и вздрагивала, когда к ней кто-либо обращался. Устя заметно пополнела, подурнела с лица, на щеках и на лбу проступили веснушчатые пятна. Мать и отец ничего ей не говорили, ни в чем не попрекали. За эти дни она несколько раз видела Кешку во сне. Устя его обнимала, ласкала и в слезах пробуждалась. Но странно — днем она тоски по нему не испытывала. Как-то Устя отыскала давнишнюю Кешкину карточку, запрятанную еще летом от отца, и стала рассматривать. Ничто не тронуло Устю, не принес снимок ни одного доброго воспоминания. «Да может ли так быть?— думала она.— Ужели два года были сон? Где правда? Сон это или явь? И как объяснить эту пустоту на душе, с кем поделиться думами?» И, может быть, поэтому всех нетерпеливее Устя ждала брата. Она собирала ему белье в баню, гладила рубашку, чистила отрубями любимую белую папаху. А когда Петр приезжал радостный, наполненный какой-то неукротимой силой, непоседливый и говорливый, Устя забрасывала его вопросами. Через брата она узнала о городском доме — его конфисковали власти — и ничуть не пожалела, о Чубе и Федоре Шульге — оба они уже с месяц крутятся по уезду в продовольственном отряде.

— А о нем что-нибудь слышал, Петя!—робко спрашивала Устя.

— О нем ли, о другом ли, но вот слухи какие: в Тихоновой пади сожжено восемь домов, убит председатель сельсовета.

Устя умолкла, а брат продолжал:

— В Крестовской церкви попы винтовки и пулеметы белогвардейские прятали. Посадили в тюрьму христовых угодников.

И опять спор между отцом и сыном:

— Христос Христосом, а поп — попом,— замечал отец.

— А! Ладно, тятя. Ты и сам давно в бога не веришь.

— Как не верю? Да ты, провидец, откуда взял?— вскричал Василий, а сам подумал: «Прав ведь он». Не так давно, только той пасхой, он хохотал на виду у всех, когда озорники парни выстрелами из ружья так напугали отца Николая, что тот, задрав рясу и обогнав плащаницу, первым вбежал в церковь и спрятался на клиросе.

— Бог, тятя,— это одна выдумка людская. Да,— продолжал Петр,— надо было свою силу сильным укрепить, вот они и придумали бога. А какого сделать? С рогами?— страшный, с волчьими зубами?— молиться не будут. Вот и малюют его с ликом человека. Да еще этакую радугу вокруг головы нарисуют. Я даже запомнил, тятя, как ученые про бога

говорят: «Не бог человека, а человек бога создал по образу и подобию своему». Здорово!

Отец терпеливо слушал сына, думая про себя: «Умен, умен сынок-то»,— а потом вкрадчиво спросил:

— Н-ну, а солнце. Это что?

— Это звезда такая большая,— ответил сын.

— А мир весь — земля, леса, реки, насекомая разная, это откуда?

— Это природа и все тут,— твердо и решительно ответил сын.

— А как сейчас потолок-то рухнет да тебе по башке-то матицей. А?

— Э! Ничего, тятя, не будет до самой смерти.

Споры о боге возникали не один раз. С разинутыми ртами их слушали Ганька, Гошка и Ленька. Они понимали, что отец бессилен доказать Петру свою правду о боге, и все крепла их привязанность к старшему брату. Они завидовали ему, когда тот, поевши, вставал из-за стола и, не крестясь, уходил в переднюю. Словно за сына, мать усердно и долго крестилась и строго присматривала за малышами.

— Что болтаешь рукой-то, крестись как надо,— ворчала она на Ганьку или Гошку и заставляла молиться. Это им не нравилось. Однажды мать, помолившись, заметила, что икона перевернута тыловой стороной. Она разволновалась, но бить малышей не стала, решив, что это сделал только что уехавший Петр. А назавтра заметила, что образок опять перевернут. Не иначе, Ганька.

— Что же будем делать, отец?— спросила мать. Отец пошутил:

— Может, бог-то сам отвернулся от нашего содома,— и серьезно добавил:— Ганьке надо взбучку дать, а то и этот отобьется от рук.

На другой день Василий с Устей уехали в Каштак за дровами. Мать не спускала глаз с Ганьки, который сидел за столом с братьями и ел печеную картошку. Вот уже выпил он стакан чаю с молоком и хотел было прошмыгнуть на улицу. Тут-то его и сцапала Татьяна.

— А помолиться? Забыл? Ах ты, трижды три раза анафемой проклятый! Молись!

Ганька вырвал руку, сбросил с себя шубенку и, к великому удивлению матери, полез обратно за стол. Вот уже наелись Гошка и Ленька и, помолившись, уставились на Ганьку, а тот сидел за столом, набычившись и ковырял ногтем стол.

— Вылазь, говорю,— требовала мать.

Но Ганька будто не слышал.

Татьяна сняла с гвоздя супонь, сложила ее в несколько рядов, схватила за руку непокорного сына и изо всей силы потащила из-за стола. Но Ганька уперся коленями в стол, спиной — в стенку. Стол было подался, но, попав ножками в край западни, перестал скользить, круто накренился, и вдруг с грохотом и треском полетели самовар, чашки, чайник и вся посуда, какая была на столе.

— О господи!— простонала мать и в изнеможении повалилась на скамейку. А Ганька, схватив шубу и шапку, убежал на улицу, вслед за ним Гошка и Ленька.

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА

1

Шли дни масленицы, весенние, радостные, когда у стен уже слегка припекает и на взлобках подтаивает снег, дымя чуть видимым маревом испарины. Ветер, продувая леса, несет из них дурманящие запахи смол, едва уловимый аромат тронутых солнцем снегов. Весна, весна еще за тысячи верст, но идет... идет...

В этот день вечером к Яриным пришла Наташа Вознесенская. Она стала упрашивать Устю сходить покататься с горы.

— Ну, что сидишь! Ведь масленка же. Подумаешь, замужем! Да вон Мотька Гачева, Настасья Силина ребятишек имеют, а вчера на катушке были. Пойдем!— Она упросила Устю, и та, надев белый платок и материну курму, пошла с подругой на гору.

На горе в этот вечер было особенно людно. Прощаться с масленицей пришли даже мужики. Над ними подсмеивались холостые: «Что без тещи? Зыбку-то с собой тащи, коли бабу привел». Мужики непривычно громоздились на лотки, усаживали жен, ласково поругиваясь, неловко отталкивались и скатывались в темноту, летели в сугроб под дружный смех собравшихся. Было так тесно у горы, что Устя и Наташа даже не пытались пробиться к лоткам, с которыми стояли в длинной очереди готовые «кучера» — парни и подростки с лихо сдвинутыми шапками на затылок. Среди них был и Ганька. Его рыженькая изношенная шапчонка сползла, открыв бойкие вихры светлых волос. Проворным взглядом он искал в сумраке вечера кого бы прокатить и наконец увидел свою сверстницу Лизку, стоящую среди взрослых девок, и звонко крикнул:

— Лизка, садись!

Но в этот миг к нему подскочил Ванька Филанов.

— Дай-ка лоток,— сказал он тихо, но твердо.

Ганька неохотно отошел, а Ванька, усевшись, сказал:

— Устинья, садись.

Устя вздрогнула, но не пошла: уж очень ей был противен этот мозглявый хрипастый парень, наряженный в огромную богатую шубу и белую папаху. Но Ванька разобрал полы шубы и усиленно приглашал только ее.

— Серьга!— обратился он к дружку.— Сади Устю ко мне.— Устю насильно усадили в лоток. Скатил Ванька ее аккуратно, не стал вязаться с поцелуем, а сказал:

— Поклон тебе от Иннокентия.

— Спасибо,— дрогнувшим голосом сказала Устя и пошла.

— Стой-ка. А где он, что с ним, тебе все равно?

— Где-то далеко. У Вихря Ветрова,— махнув рукой, сказала Устя.

— Ха! Может, далеко, а может, близко.

— Ну, а коли тебе все известно, отвяжись.

Ванька тихо сказал:

— К себе зовет. Поедешь?

У ног их остановилась съехавшая с горы парочка. Парень, не сходя, звонко поцеловал девку, потом оба взглянули на стоящих Ваньку и Устю, и парень крикнул:

— Соломенная вдова!— и хохоча они побежали прочь.

— Ну, поедешь?— шептал Ванька.

— Скажи ему, что в варнаке с большой дороги я не нуждаюсь,— ответила Устя и скоро пошагала домой. Ванька вслед прохрипел:

— Не выдумай болтать. Эй!

2

Никому Устя не сказала о разговоре с Ванькой Филоновым. Всю ночь она прокрутилась на кровати, точно она выстлана была крапивой. Ей все думалось, что Кешка ходит вокруг дома. Она прислушивалась к скрипу колодца, к вздохам коров за стеной, к лаю Лапки. Усте казалось, что на крыльце кто-то давно стоит, бесшумно берет в руки колечко, но не звонит, боится. Она подходила к окну и всматривалась в темноту, потом, пугаясь, перескакивала через спящих на полу ребятишек и скрывалась в горенке. Днем она внимательно приглядывалась к матери, отцу, и ей казалось, что и они что-то знают, но скрывают от нее, говоря о разных пустяках. Особенно ее удивляло радостно напряженное лицо Ганьки. Он несколько раз заходил к ней озабоченный, погруженный в какие-то только ему известные думы.

— Ты что, Ганя, потерял тут?— спросила его Устя.

Ганька весь встрепенулся, покраснел, сел рядом с Устей и тихим взволнованным голосом сказал:

— Знаешь, сестричка, я вступил в соцмол.

— Это что такое?— не поняла Устя.

— Это Союз социалистической молодежи. Ячейка.

— А что ты, Ганя, там будешь делать?

— А как братька, бороться за советскую власть.

— А!— протянула Устя понимающе и спросила:— А это не страшно, ведь ты еще совсем парнишка.

Ганьку это даже возмутило.

— Ого, парнишка! Четырнадцатый год уже!

Устя, соглашаясь, кивнула головой и шутя спросила:

— А меня возьмете к себе.

Ганька чуть от радости не крикнул, но мать на кухне загремела трубой. Ганька зашептал:

— У нас, сестричка, как раз ни одной девки нет. Я сейчас же сбегаю к Вере Николаевне. Она у нас главная. Ладно?

— Не надо, Ганя. Я ведь пошутила.

Ганька почесал вихрастый загривок.

— А я все-таки скажу.

...Устя и сама не могла усидеть этот вечер дома. Сказав домашним, что навестит Наташу Вознесенскую, она на самом деле пошла в школу. Сквозь щели ставней в комнате учительницы светился огонь. Устя вошла в калитку, поднялась на высокое крыльцо и постучалась. Ей дверь открыла сторожиха, рябая, безбровая перестарок-девка, сердито взглянув на Устю.

— Кого надо?— спросила она басовито, по-мужски.

— Учительницу, Дарья.

Девка ворчала, открывая дверь:

— Парни ходют, ходют. Теперь бабы почали к ней: к попу меньше стали ходить, а все к этой... Вера Николаевна! Вот тут к вам.

Накрытая белым полушалком вышла учительница.

— Ах, Ярина, Устяша. Проходи, пожалуйста.— Она схватила Устю за руку и повела по темному коридору.

— Вот тут парта, не ушибись. Я ведь знала, что вы живете дома. И, сознаюсь, са-

ма хотела к вам прийти, да как-то не осмелилась.

Они вошли в маленькую комнатку, отгороженную от коридора тонкими стенками. Горела крохотная пятилинейная лампа, тускло освещая стол, стопки книг на нем, два пузырька чернил. Окна завешаны газетами.

— Вот садись прямо сюда,— попросила она сесть Устю на кровать с единственной маленькой подушкой, взбитой так пышно, что так и думалось — сейчас она лопнет.

— Бр! Бр! Мерзну! Мерзну, Устя, в этой проклятущей школе. Вот так бы и сбегала в какую-нибудь избу погреться. Пять раз на дню хожу к Ветлову: «Дай дров, дай дров». Смеется да завтраками кормит. Ну, как после города, скучно?

— Да нет, Вера Николаевна.

— А вы меня просто — Вера. Хорошо? А я вот тут в вашем Подкаменном замоталась. Ведь четыре класса! А я одна. Представляете? С утра до вечера уроки, уроки. Да вот еще, видишь, тетради. Вот они тетради наши: пишем на книгах, на газетах, на обоях. Хорошо, что хоть грифельные доски есть.

Вера Николаевна схватила со стола лохматую пачку бумаги и как-то горько засмеялась:

— А тут еще, тс!— она прижала палец к губам и тихо заговорила:— Отец Николай ходит с обидой: «Почему детей не водишь в церковь?» А я говорю: «Батюшка, а ведь школа отделена от церкви». Как расшумится мой попище! Как рявкнет, хоть под стол лезь.

Вера залилась звонким, задорным смехом.

Устя потупила глаза, затеребила конец шали. Открытое, светлое лицо учительницы, ее приветливость и сердечность расположили к себе, и Устя поняла, что не удержаться ей, она расскажет все, что наболело на душе за эти недели. Устя подняла глаза и доверчиво посмотрела на Веру.

— Да так вот, Вера Николаевна, ни вдова и ни мужняя жена.— Плечи ее вздрогнули, она схватила угол полушалка и закрылась им, а когда открыла искаженное страданием лицо, Вера смотрела на нее большими глазами, полными участия.

— Такая боль на сердце, такая тоска, Верочка. Я будто оплевана. Куда пойти? К свекру? Бежать к мужу? Жить с отцом? Нет у меня дома. Я как кукушка безгнездая. А тут еще... Я ведь беременная...

Вера Николаевна сидела, сунув руки между коленок, молчала и ничего не могла сказать. Все это она знала от Петра.

— И вот — Кена. Любила ведь я, ой как я любила его! И что со мной сталось — все прошло. Бывает ли, Верочка, скажи мне — ты грамотна, образованна, читаешь книжки. Может, одну блажь я напустила на себя. Может, и не признаваться бы мне в этом, а?

Вера Николаевна поднялась со стула, кутаясь в платок, прошлась по комнате, потом села рядом с Устей, прижала ее к себе и жестко сказала:

— А за что его любить? Я ведь тоже думала о тебе, Устя. Петя ведь мне все рассказал. Конечно, любовь — дело глубоко личное. Но вот я, как подумаю об Иннокентии да сравню вас, ты извини меня, Устяша, я пугаюсь. И люди вы разные, и дороги ваши разные. И потом — где он? Ведь если верить слухам, грабежи и убийства в деревнях — его дело.

Устя как-то вся сжалась, лицо стало виноватым. Всему этому ей не хотелось верить; она жена, и люди думают, что и она как-то виновата. Во взглядах людей она болезненно искала это обвинение и не раз приходила к мысли, что все знают и все ее ненавидят.

Провожая, Вера Николаевна обняла Устю и поцеловала.

— Нелегко это, конечно, сделать, сможешь ли? Выбрось его из головы. Приходи ко мне чаще. Ведь я всех яринских так люблю! Какие-то вы все открытые, честные, какие-то особенные, правда. Приходи.

ПРОДОТРЯД ПРИЕХАЛ

1

Слухи о том, что продотряд Шульги побывал уже во многих селах уезда, доходили и до Подкаменного. Слухи были разные: одни говорили, что продотряд отбирает весь хлеб подчистую, из других можно было понять, что отбирать-то отбирают, но по выбору и больше у богатых.

— Государственные грабители,— шептал промеж надежных людей Трофим Сопов.— С голоду мужиков уморить хотят. Хоть бы скорее дороги рухнули, в грязь не пролезут к нам.

Но после масленицы на несколько недель завернула такая стужа, что мужики посматривали на поленницы — хватит ли дров. Выпали снега, дороги окрепли, а в один вечерний час по селу разнеслось:

— Продотряд приехал!

Весть эту передавали шепотом, в великом страхе. Бабы охали, старухи читали молитвы, неистово крестились. В этот вечер особенно много людей потянулось в церковь.

Василий Ярин, не признававший поста и любивший говорить: «Постное едим, да скоромным отрыгаем», — на этот раз старухе сказал:

— Мясного не вари. Поедим похлебки с груздями да редьки с маслом.

— Пирогов бы с морковью, старик.

— Ни, ни!— шикнул на нее Василий.— Из муки и крупы ничего.

Из школы прибежал возбужденный Ганька.

— В сельской народу, тятя! Там городские приехали. Все молодые да веселые. Федор среди них, помнишь, летом-то был?

Отец промолчал, а Ганька радостно продолжал:

— Федор-то меня узнал: «Ганька, говорит, передавай привет отцу», — а я ему говорю: «Приходи к нам в гости».

— У! Чтоб тебя...— замахнулся на Ганьку отец да тут же и подумал: «Может, это к лучшему».

А вечером к Яриным постучались. Василий вышел отпирать ворота и вернулся в избу вместе с Федором. Федор снял серую солдатскую шапку, повесил на гвоздь и пальцами расчесал длинные запутанные волосы. При слабом свете лицо его, обросшее бородой, казалось повязанным черной лентой.

— Добрый вечер,— сказал Федор и крепко пожал руку Василию, Татьяне, подошел к ребятишкам и разворошил им волосы.— Выросли! Здорово выросли! А где рыбак?

Ганька вразвалочку вышел из передней, стеснительно одернул рубашку.

— Тоже какой большой стал! Скажи ты, под польку подстригся. А за девчонками не бегаешь?

— Что вы, что вы, батюшки! Да он же школьник!— недовольно заговорила мать.

— К рыбалке, небось, готовишься? У меня дома сукнецо есть на мушку, желтое. Как-нибудь привезу. Ну, как живете, Василий Родионович?— обратился он к хозяину.

— Мать, давай-ка самовар раздувай,— сказал Василий старухе, потом, крякнув, обратился к Федору:— Что говорить про наши дела, Федя. Нужда да горе, нужда да горе. Проруха за прорухой. На мель, брат, сел, да.

— В прошлом году не так говорил, дядя Василий. Что случилось такое?

— Год на год не похож. Ведь смотри: было три коня, а при одном Чалке остался. А у мужика в конях сила вся.

— Пеганка, знаю, убит, а что с Серком?

Василий удивленно уставился на Федора.

— Да ты у меня всех коней знаешь! Эко ведь.

И, сделав горестное лицо, он стал рассказывать о том, как Серко старый на двадцатом году стал терять зубы, плохо есть и худеть, как кстати подвернулись буряты и купили лошадь за полцены.

— Вот так, Федя, с одним конем и остался,— сокрушенно закончил рассказ Василий.

На столе появилась вареная картошка, огурцы, да в блюдечке Татьяна положила пареной репы. От ковриги отрезала несколько тощих ломтиков, а ковригу тотчас унесла в сени.

— Чем богаты, тем и рады,— невнятно проговорила Татьяна.

— Спасибо, спасибо, я ведь сыт,— отнекивался Федор.— Пришел к вам не угощаться, а поговорить о важном деле, посоветоваться, услышать доброе слово.

Василий насторожился, крякнул, провел рукой по куцей бороденке.

— Так ведь советчики-то мы какие, темнота.

— Тут особой грамотности не требуется. Вы ведь знаете, за чем рабочий отряд приехал — за хлебом.

Василий тревожно качнулся на месте.

— Городу хлеб нужен, рабочим нужен хлеб. К кому обратиться за ним, кто даст? Хлеб есть у крестьян. На днях в Грановщине вот так говорю одному крестьянину: «Продай нам хлеб», — а он мне: «Это как продай? Разве вы не отбираете, а покупаете?». Я говорю: «Конечно, покупаем». «А почем?» «По рублю, говорю, двадцать копеек».

Василий опять завозился на скамье: рожь теперь в городе была в сто с лишним раз дороже.

— Это в нынешние времена почти даром отдать,— буркнул Василий.

— Вот я ему и говорю,— продолжал Федор,— мы у вас хлеб подешевле купим, зато и мануфактуру, мыло, сахар, гвозди тоже по дешевой цене отпустим.

— Это, к примеру, почем будет сатин?— вкрадчиво спросил Василий.

— А по шестьдесят копеек аршин.

Федор стал рассказывать о каком-то другом случае, но Василий уже не слушал. Он считал про себя, взвешивая, и наконец сказал:

— Все равно мужик в проигрыше остается.

Федор улыбнулся, но тотчас снова стал строгим и сосредоточенным.

— Да, Василий Родионович, мужик все-таки должен помочь рабочему — своему городскому брату по труду. У тебя проруха, а

у рабочего она такая, что и описать нельзя. Когда мы поехали, товарищи наказывали нам: «Хлеб — это быть или не быть нашей Советской народной власти. Добудьте хлеба, или нас задавят спекулянт, деревенский кулак, вроде вашего Трохи, городской буржуй или иностранная какая-нибудь сволочь. Крепите, говорят, дружбу с середняком и беднотой, а в великой дружбе никто нас не посмеет тронуть... А придет время, поверь моему слову, рабочие за оказанное добро с лихвой вам отплатят. Все у нас будет, да как еще заживем, Василий Родионович! Всем капиталистам за границей носы утрем... Ну, заболтался, ждут меня, пойду.

— Стаканчик чаю-то?

— Сегодня некогда, пойду,— сказал Федор и надел свою солдатскую шапку и хотел было идти, как в окно постучались.

— Кто это?

— Должно, Устя,— ответил Василий.

— Сейчас приехала?

— Нет, она у нас живет,— нехотя ответил старик.

Лицо Федора как-то просветлело.

2

От Яриных Федор пошел к Роидиным — их дворы разделял только колодец. Он перелез через обледенелый сруб и очутился во дворе. Собаки не было. Двор был большой, пустынный. В узких окнах то вспыхивал, то потухал слабый огонь. Федор постучался, открывать выскочили сразу два мальчишки. Когда Федор вошел, те уже сидели на печке, вихрастые, кудлатые, освещаемые вспышками огня от печурки.

Топилась железная печка, хозяйка стояла около нее и грелась. На палатях кто-то храпел.

— Здравствуйте, хозяюшка!

— Плоходите, доблый человек, — сказала она.

— Как вас звать, хозяюшка?

— Да Лаида Поликалповна,— хозяйка явно была не в ладу с буквой «р».

— Простите, фамилию не помню,— спросил опять Федор.

— Да Ялины. Тут у нас подляд пять домов и все Ялины.

— А Роидины — это прозвище?

— Это уж по мне так назвали. Хозяин-то с войны не велнулся. Вот одна эту олду в пять лтов и лостю.

— Тяжело.

Женщина вздохнула.

— Только что из голода плиехала. Нателла тлахмалу с пуд, вот и меняла на хлеб.

Федор узнал, что ее сын старший работает в батраках у Трохи, другие четверо — малыши еще, способны только есть. Конь отдан Тонскому потому, что ни сена, ни овса ему на зиму не припасено. В город женщина ездила на салазках и измучилась так, что рученьки отваливаются.

— Это что же, у всех так плохо с хлебом-то?— допытывался Федор.

Роида как-то зловеще хохотнула, вздрогнула и опять расставила руки над печкой, грея их.

— Мама, а Васька у меня онучки отобрал!— запел тонкий голосок с печки.

— Ври-ка, ври-ка, это мои онучки!— возразил другой.

— Ну, вы!— грубым грудным голосом заревела на них мать. Ребятишки притихли.— Хлебец-то есть, да не пло нашу честь,— вздохнула она.

— Это как так?

— Да так: он у богатеньких. Сунулась к Тлохе — дай за Андлошку с пудик. «Залаботает, тогда и дам». Вот и весь сказ.

— Учтем. Вы завтра на собрание приходите. Пуд-два где-нибудь найдем.

Роида резко повернулась к Федору.

— А вы кто такие будете?

— А мы рабочие, из города.

3

В сельской, несмотря на ранний час, пиликала гармонь. Бравый и веселый Алексей Чуб трепал ее в руках, поставив ногу на скамью. Другой паренек, маленький, коротконогий, греясь, отбивал трепака. Под широкими светлыми бровями прятались озорные синеватые огоньки глаз.

У окон и ворот сельской с утра уже толпились ребятишки. Их привлекали и кони, и сбруя, нездешняя, городская, и широкие ломовые сани, а главное — веселые парни и среди них Алексей Чуб, подкаменский парень, бывший Трохин работник, а теперь, гляди ты, с начальством приехал в деревню.

— Эй, ребятишки, работников много в деревне?— спросил Чуб.

— Будто не знаешь!— отозвался один.

— Зовите их в сельскую.

— Не отпустят.

— А там видно будет. Зовите!

Через полчаса пришли в сельскую батрак Тонского Ванька Южатов, Роидин Андрошка, филоновский работник Степан Иванов. По-дружески хлопая по плечу, их радостно встретил Чуб.

— Вот молодцы, а ведь я, по правде сказать, не думал, что придете.

— А зачем звал?— спросил Андрошка Роидин.

— Собрание сегодня будет, так надо развеселить людей. Чтобы этак все было здорово,— и Чуб лихо подмигнул.

— Это можно,— посмотрев на своих дружков, сказал Андрюшка, хотя сам не знал, чем он будет веселить односельчан.

Тем временем подошло еще несколько батраков и продотрядовцев. Все они скопом, возглавляемые Чубом, направились в школу.

— Вы, хлопцы, тут в коридоре постойте, а я к учительнице загляну,— передал Чуб, исчез и не появлялся минут десять. Из класса с шумом выскочили ребятишки, окружили парней из продотряда, другие, повесив сумку или закинув ее за спину, выскакивали на улицу, и долго слышался их радостный крик: ученики были довольны, что сегодня их раньше отпустили из школы.

Чуб, подойдя к парням и опять подмигнув, сказал:

— Едва уломал. «Нельзя, дескать, срывать уроки, подождите». А я говорю: «Вера Николаевна, государственное дело не позволяет, уж вы извините. Нам позарез нужна ваша школа, потому как собрание».

Под командой веселого Чуба парни оборудовали из парт и досок и привезенных из города широченных брезентов сцену.

— Молодцы, ребята,— похвалил он, сбив на затылок свою обшарпанную беличью шапчонку, потом вдруг стал серьезным.

— Вот что, ребята, я тут кое-что вчера успел записать. Надо сегодня крепко ответить кулакам. Пусть будет нескладно, да здорово. Вот слушайте,— и Чуб прочитал им пять-шесть частушек. Потом спел одну, спел другую уже под гармонь. Парни хохотали, просили прибавить.

— Ты про моего вот что напиши,— советовал Южатов.— Он за картофельную терку не картошкой, а хлебом берет.

— А мой,— доверчиво говорил Степан Иванов,— на днях пять мешков хлеба сплавил в город, а мне в пуде для матери отказал.

Не удержался и Андрошка. Рыжий, как весенний одуванчик, он стал еще краснее, заговорив:

— Ой и хитер, ой и хитер Трофим-то мой. Дома, как у Грихи Бунчикова, пуда зерна не найдешь. А на заимку с ним поехал — ого! брат... хлебушка-то!

Андрошка, будто испугался, осекся и замолчал, а Чуб спросил:

— Вот вы тут рассказываете про хозяев, а ну, как узнают да прогонят, а?

— Власть не та, гнать-то,— сказал Степан.

— А какая она власть-то? — пытал Чуб.

— А вроде бы за бедных, за работников стоит.

— А ему-то какое дело до власти! Он хозяин, — подливал масла Чуб.

— А прогони он меня, я все его плутни перед селом раскрою. Не побоюсь,— сказал угрюмый парень.

— А коли не прогонит, и не скажешь?

— Все одно: он мне не поп и не тятька.

Чубу приятно было встретиться с односельчанами, но более того нравился им он сам. Деревенский, а ведь не отличишь теперь от городских.

— Ты, Алеха, не самый главный?— спрашивал Андрошка.

— Самый главный — куда пошлют,— хохотал Чуб.

В этот день он научил Андрошку играть «Иркутянку». И когда тот, еле переставляя на ладах непослушные пальцы и краснея от счастья, вел незамысловатую мелодию, Алексей ему подпел частушки про Трофима и других сельских богатеев, спекулянтов. Парни хохотали, подсказывали, поправляли. Так родилось несколько хлестких песенок про кулаков.

— Будешь мне вечером подыгрывать?— спрашивал Чуб Андрюшку.

— Буду, конечно, буду!— радостно отвечал Трофимов работник.

Степана Иванова Алешка заставил учить стихотворение:

> Мы с тобой родные братья:
> Я — рабочий, ты — мужик,
> Наши крепкие объятья —
> Смерть и гибель для владык.

Степан даже вспотел, произнося складные слова, а через час он затвердил все стихотворение.

— Ну, а ты расскажешь со сцены этот стих?— спрашивал Чуб парня.

— А собьюсь если?

— Подумаешь, какая беда! Ведь я-то за стенкой поди буду стоять.

— Ладно, расскажу,— согласился Степан, почесав затылок и кашлянув в черный кулак.

ВРАГИ

1

В этот же день из города приехал и Петр. Чуб пошел к Яриным. С Василием и теткой Татьяной Алешка поздоровался за руку.



В. С. Рогаль. **ТУНКИНСКИЕ АЛЬПЫ** (выставка «Советская Россия»). Масло.



В. Ф. Ольховик. **ВЫХОД НА ЛОВ ОМУЛЯ**

— Ну, как жизнь, дядя Василий?

— А такая, пожарная какая-то,— мельком взглянув на него, сказал старик,— будто дом горит, а мы плевком затушить хочем. Вот.

Чуб громко захохотал.

— Это как понимать надо, дядя Вася?

— А вот так, как я говорю. Одно слово — р-революция. Что там в городе! Вот здесь, в этом углу, на пяти саженях земли тесно!

Василий явно был не в духе, он собрался идти во двор, теребил пуговицу у полушубка и не мог застегнуть. А Чуб не унимался:

— Собрание сегодня у вас. Пойдешь?

— Вон сынок за меня сходит. Ему шибко любо на сходках гавкать.— И вышел на улицу.

Петр и Алексей поели постных щей и, когда наступили сумерки, пошли в школу. В большом классе поближе к сцене сверкала огромная круглая лампа. Огонь жарком играл в уродливо пузатом стекле. Лавки были пусты. В углу сцены Гурьяк Косой, увидев Петра и Чуба, поднялся со скамьи и, как ровня, молодо спросил:

— Как здоровьишко, Петя?

— Здоров, спасибо.

— Как рана?

— Как на собаке заросла. А ты что так любопытствуешь?

— А как же, Петя. Ведь я тебя поднял со льда-то.

— Знаю. Спасибо. А к чему ты об этом спросил?

— Ух, как лампа-то горит! Петя, уверника малость,— уклонился от ответа Косой.

В класс вошел Федор, за ним Вера Николаевна и еще несколько городских парней. Федор крепко потряс руку Петру, которого не видел давненько. Дружной компанией вошли в класс батраки и сели на передние скамейки. Потом повалили один за другим мужики. Из Тунки почему-то пришел один Гриха Бунчиков.

— О! Жива душа на костылях!— захохотали мужики при виде Грихи, который еще в коридоре обратил на себя внимание своим пыхтением, словно раздувал старые кузнечные меха. Вслед за ним, бухая сырыми старыми, заплата на заплате катанками, прошла в класс Роида. Как видение, в дверях показался дед Юда. У него напоказ сухая жилистая шея, короткий полушубок не закрывает светлых порток, волчья шапка вздрагивает в правой руке, нелюдимые глаза колют, втыкаются в одного, другого. Наконец он сел и, постучав по банке, шумно со свистом вдохнул табак. Когда народу было уже до отказа, стуча деревягой, вошел Иван Ветлов. Федор внимательно присматривался к мужикам, находил знакомых, кивал им, радостно улыбнулся, когда увидел за плечами мужиков Устю.

— Товарищи батраки, бедняки, труженики-крестьяне!— начал Шульга.

Гвалт смолк. Синий дымок поднялся к потолку, легкими облаками загулял вокруг лампы.

— Мы посланы к вам от рабочих. Побывали уже во многих селах и теперь вот приехали сюда. К кому же рабочим и обратиться за помощью, за советом, как не к деревенским труженикам. Мы в городе, а вы в деревне в поте лица добываем себе хлеб и разные предметы жизни. Революция повернула дело так, что мы стали хозяевами земли и заводов, дорог и шахт. А буржуи смотрят на нас из-за угла и ждут, когда эти новые хозяева, мы с вами, скажем: «Не по силам нам ноша, не по Сеньке шапка». А что и вправду, товарищи, трудно нам сейчас так, что и высказать нельзя. Хлеба нет, мяса, круп, масла нет. Рабочих поочереди отпускаем в деревню на заработки, чтобы прокормиться. Тяжело. Но рук мы не опускаем. Власть мы взяли крепко и никакому гаду буржую мы ее никогда не отдадим, так и знайте. С голоду опухнем, а власть сбережем. Однако без хлеба рабочим жить нельзя. Будем его вместе с вами искать. Нам так и сказали наши товарищи: «Душа из вас вон, а хлеба нам добудьте.» Конечно, хлеб этот не у Грихи Бунчикова, не у батраков. Им самим кто бы дал. А вот у среднего мужика он есть, и много у богатых. У мужика-труженика мы добром просим. Дайте нам хлеба, мы дадим вам, что есть у нас: гвоздей, ситцу. А у Трох ваших, у Филоновых мы хлеб отберем. Они, паразиты, гноят его, а рабочий люд голодает. Где справедливость?

— А что, в сусеки, в амбары полезете?— спросил сзади Тонский.

— И полезем, если понадобится. Мы вот тут с товарищем Ветловым разверстали, кому сколько надо сдать хлеба. Вот слушайте.

Тяжелый вздох раздался по всему классу, Василий тонко свистнул:

— Это слобода так слобода! Ослободят от хлебца нас — что будет?

— Заныла! Ннуда!— поднялся со скамьи Иван Вознесенский.—Это ты, сосед, ты, Ярин, там подвываешь? Ну, так знай, и тебе придется поделиться с рабочими. Не богат, но, слава богу, сыт сам и свинюшек хлебом кормишь. А ты что, Петро, молчишь? В городе ведь и тебе кусок хлеба нужен.

Но Петр уже поднимался. Высокий, выше Федора, в длинной шинели. Он встал рядом с ним и твердо сказал:

— Мы с отцом... Там сколько на нас? Шесть пудов? Мы сдаем советской власти пять мешков. Не помрем, отец.

У Василия, который стоял в дверях, кольнуло под самым сердцем. Он не мог сначала дух перевести, что-то встало в горле, сдавило. Он хотел крикнуть зло, насмешливо, издевательски, а люди услышали слабый, бессильный голос:

— Спасибо, сыночек. А вот это видишь?

И между шапками двух мужиков показался кукиш. Кукиш крутился, мужики смеялись. Петр крикнул:

— Ничего, тятя, дома поговорим.

— Поговорит по тебе оглобля, подлец!— клокочущим, глухим голосом ответил Василий и, пошатываясь, едва натянув шапку, вышел на высокое крыльцо школы. Искал во тьме ступеньку, оступился и сильно стукнулся боком о перила.

— Разорять, мошенник! Ты наживал его, хлеб-от! О! О!— стонал Василий и как пьяный, раздавленный, измученный бурно нахлынувшей ненавистью к сыну потащился домой.

— Убить, убить мало разорителя!

За продажу хлеба рабочим голосовала одна беднота. Богатые и зажиточные мужики молчаливо сидели на задних рядах и подняли руки после того, когда Ветлов спросил, кто воздержался. Никто сдавать хлеб не собирался. Заплевали пол в классе, засыпали его окурками и разошлись, несмотря на то, что на сцене суетился Чуб и кричал:

— Граждановы, товарищи! Спектакль ведь, как же это!

Осталась молодежь да старый Гурьяк, любитель игрищ, вечерок и всяких развлечений. Он подсел к Маше Бунчиковой и, подмигивая ей, кивал на сцену, где Алешка Чуб под балалайку пел частушки. Все дружно хохотали. Маша, хлопнув ладонями, замирала, удивленная качала головой, не сводила влюбленных глаз с певца.

— Ой, Леша, ой, совсем городским стал, ой, бойкий-то какой!— шептала она, не обращая внимания на игривые намеки Гурьяка.

Кончилось представление.

Парни оттащили к стенам парты и скамейки. Толстые пальцы Ваньки Филонова лениво забродили по клавишам. Он играл тустеп. По гармони забегали красные блики огня. Чуб посмотрел на Тоню Шастину.

— Потанцуем, Тоня,— пригласил он девушку.— Филонов, пошевеливай!

— Пусть спит. Завтра хлеб в город везти, — пошутил Петр. Ванька был хмелен. Он поднял голову, на некрасивом угрястом лице застыла вялая улыбка.

Чуб Тоню пригласил и на польку, но ту за подол задержала сердитая сестра Дарья. Парень почесал затылок и сел.

— Эх, Алешенька, хоть бы меня пригласил,— услышал он рядом певучий и ласковый голос Маши. Она заглядывала ему в лицо, на щеках у девушки играли ямочки, одна большая, другая меньше. Маша волновалась, ее влажные губы слегка вздрагивали. Она радовалась этой встрече и боялась ее.

— Не умеешь ты, Машуха, — ответил Чуб.

Маша чуть прислонилась к его плечу и приглушенно почти шепотом попросила:

— Поучи, Алешенька.

«Видать, не отвяжешься от нее»,— с досадой подумал Чуб, вздохнул и взял за руки Машу.

Ловким движением плеч девушка сбросила шубенку. Короткая и узкая кофточка стягивала грудь и руки. Катанки в заплатах, но Маша все забыла в эту минуту. Она положила на плечи парня руки, уставила на него светлые голубые глаза, и они закружились. Удивляя танцора, Маша угадывала каждое его желание послушно, как пушинка, повиновалась сильным рукам. Играли на щеках ее разные ямочки, блестели губы. И Алешке казалось, что это не та Маша, которую он избегал, и нос не тот, будто он меньше стал, и эти губы, которые охота поцеловать.

— Молодец, Машенька,— сказал Алексей, усаживая девушку на место. — Когда ты танцевать научилась?

— А ты заставил, Леша,— шепнула она парню на ухо и тоненько и приманчиво захохотала, присаживаясь ближе.

Чуб поглядывал на Тоню. А когда вечерка кончилась и сердитая Дарья, взяв сестру за руку, сурово посмотрела на Алексея и вышла из школы, парень не знал, что делать. Он выскочил на крыльцо. Свежий ветер, по-весеннему радостный и пьянящий, ударил в лицо. Чуб запахнул полушубок и совсем было решился догонять сестер, как в толпе девушек кто-то вскрикнул, и, хромая и охая, к парню подошла Маша.

— Ой, ногу, ногу, должно быть, вывернула. Ой, ажно ступить нельзя. Не знаю, как и домой дойду,— стонала и охала она.

— Дотанцевалась! Девки, доведите-ка Машу до дому!— крикнул Чуб.

Но девки только взвизгнули, захохотали и понеслись вперегонки по улице. Нечего делать. Чуб подхватил Машу и сразу почувство-

вал, как крепко она прижалась к его руке. А когда прошли церковь, исчезла и хромота, о чем ей напомнил Алешка.

— Ты дохтур мой,— ворковала Маша,— милашка мой ненаглядный, взял меня под руку — и болезня прочь.

Чуб досадовал на Дарью — так быстро она увела Тоню, на Машку, которая так ловко провела его. Мимо прошли парни, заглянули в лицо. Сейчас закричат: «Бунчиков зять!», но они только многозначительно покашляли и исчезли в темноте. У ворот Маша пожаловалась:

— Ой, как холодно, Алешенька.

Нехотя парень расстегнул шубенку девушки, распахнул полы своего полушубка, холодной щекой Маша прижалась к открытой груди парня.

— Теперь как?

— Так хорошо, Алешенька, так хорошо, что и сказать нельзя.

Алексей вздохнул. Маша мелко, как от озноба, задрожав, высказала сокровенное:

— Ох, Алеша, силком милой не быть, знаю. Женись, миленок, скорее. Женись, тогда уж все. А я хоть завтра Тоньку сватать за тебя пойду. Помучусь, поплачу одна-одинешенька. Эх, вот не было тебя — и будто забывать стала, а увидела — и сама себе не рада. Ужели на свете нет парня другого? Сладкой отравой ты, Алешка, живешь в моем сердце дурном. И взял бы ты меня избил, искалечил, чем полой-то прикрывать.

— Ну, посватай,— невесело смеясь, сказал Чуб.

Маша еще ближе прижалась к парню, охватив его под полушубком.

— И посватаю! А сама в город убегу, в прислуги, и навеки прощай, мой ненаглядный, светлячок ты мой бесценный, эх,— и Маша заплакала.

— Ну, хватит, Машуха, а то убегу. Ей богу,— шелохнулся Алешка.

Маша всхлипнула еще раз, откинув голову.

— Ой, правда, что это я, как по упокойнику. А ты дай мне нацеловаться досыта, по горлышко и уходи, уходи с глаз моих. А? Сухота ты моя!

— Да, ну, целуй, целуй, ты,— уже сердясь, ответил Алешка.

— А ты не от зла, голубок, а добром скажи.

— Целуй!

Маша поднялась на цыпочки, обеими руками обняла Алешку, расслабленными губами припала к Алешкиным губам, долго, словно колдуя, целовала глаза, щеки.

Утомленный Машиной лаской поздней ночью Чуб пришел к брату Степанке. Бросил на пол полушубок и лег на него. Долго думал о Тоне и ее ласковом взгляде, о ее совсем еще девчоночьей тонкой шее и худеньких плечах. А во сне увидел Машу: в лесу запрятался он за дерево, Маша ищет его: «Алешенька! Где ты, соколенок мой?» Увидела, бежит, обняла.

Утром Степанка хохотал:

— Ну, кочегар, кому ты ночью «Целуй, целуй», говорил? — Алешка только рукой махнул, а подумал: «Ужели ты, Машка, судьба моя?»

2

С собрания и вечерки Петр возвращался с Андреем Гурьяком. И у Веры Николаевны не задержался, хотя неделю не видел ее. Гурьяк как к дружку-годку пристал к Петру: пойдем и пойдем, нам в один край.

— И повезет отец хлеб?— раскуривая трубку, спрашивал дорогой старик, молодо подталкивая парня плечом.

— Заставлю,— ответил Петр.

— И в кого ты такой храбрец, Петруха?

Смеется старик или всерьез говорит — трудно понять. Давеча о ране заикнулся — к чему бы это? Спроси — сейчас же о другом речь поведет. Петр шел и молчал.

— Ты, Петро, того, поосторожней будь,— заговорил сам Гурьяк, когда стали подходить к его двору.

— А что такое?— пытливо вглядываясь в невидимое лицо старика, настороженно спросил Петр.

— Да вот так. И дружкам городским этим скажи, ухо востро пусть держат.

— Ну, начал, Гурьяк, так договаривай,— остановил Петр старика у ворот.

Попыхивая трубкой, Гурьяк рассказал, что дня два назад верхом на лошади куда-то уехал Серега Тонский. Слух идет, что подался он не куда-нибудь, а к Чаку, и о том, что ездит он уже к Кешке не впервой. Сказал старику под большим секретом Васька Южатов, работник Тонского.

— Спасибо, дед Андрей, — взволнованно ответил Петр, но Гурьяк его перебил.

— Постой со спасибом-то,— старик сплюнул, сунул трубку за поясок. Не все еще. Все думал, надо или не надо говорить, да чтобы совесть была чиста, слухай. На льду-то тебя подстрелили знаешь кто? Зятек твой, Кеша, да Ванька Филонов, да Серьга Тонский.

— Вот как!— дрогнув в голосе, вымолвил Петр.— Рассказывай, как было.

Старик хотел было заговорить о том, что мороз полегчал, дороги вот-вот рухнут, в гору завтра подняться с полным возом нельзя. Но Петр крепко вцепился в воротник полушубка, и старик почувствовал тесноту в груди.

— Эка ведь, Петро, ровню нашел. Да и шубенка еле держится; отпусти — сам знаю, что недорубил. И старик рассказал, как он в городе в тот день встретил Кешку и поведал ему об урицких сватах, как стремглав исчез Кешка с базара, как дорогой старик завернул в березняк, испугавшись выстрелов, и наткнулся на Кешкиного Игреньку, а поблизости увидел привязанных к дереву Гнедка Филоновых и Карьку Тонских.

— Ну, спасибо тебе, дед, спасибо тебе, дед, спасибо!— всей грудью вздохнул Петр и крупно пошагал домой.

Двери открыла мать. Не зажигая света, Петр разулся и лег на диван. Думы о мести не покидали его. Вот так и охота соскочить, бежать через всю деревню, вытащить из дому филоновского мозгляка и задушить в сугробе.

Василий тоже не спал и ворочался с боку на бок на краю кровати. «Разоритель! Бездомный бродяжка!— кипела в груди отца злоба на сына.— Хватило бы сил — связал бы да по голой заднице бичом». И вдруг он в душе засмеялся над собой: придумал детское наказание. Изувечить! Убить мало, разорителя.

Ворочался на диване Петр. Скрипела старая кровать под Василием. Невмоготу. Нет конца ночи. Нет конца думам. Поднялся Василий, вышел в сени, распахнул дверь на крыльце. Лапка полезла ластиться. Размахнулся старик, ударил собаку кулаком по голове так, что та опрокинулась на снег, взвыла и шаром покатилась в собачник. Василий беспомощно сел на чурку и только теперь почувствовал, что продрог: «Эх, мот, не в меня, и разоришь ты, Петька, все развеешь»,— липла мысль.

Ежась от холода, Василий вернулся в избу.

— Тятя, поди-ка, что я тебе скажу,— позвал его Петр.

— Ну, сказывай,— ответил резко отец, будто еще не было в душе примирения.

— Ты знаешь, кто меня убивал на льду? Кеша-зятек, Ванька Филонов и Серьга Тонский.

Отец присел на край дивана и положил дрожащую руку на голову сына.

— Кто? Говори, кто сказал,— потребовал отец.

— Земля слухом полнится, тятя,— ответил Петр. — Ну, берегитесь, растак вашу!

Отец никогда не слышал, чтобы Петр мог ругаться. Он примиряюще сказал:

— Подлец-ы! Но не удумай, Петро, самолично расправляться. Боже упаси, сынок!

— Душа из них вон — или я не Ярин,— сказал на то сын.

Утром стоял в запряжке Чалка, а в амбаре Петр с Василием нагребали хлеб. Три мешка стояли уже под завязкой. Держась за мешок, Василий робко спросил:

— Может, трех хватит, Петро? А?

— Пять!— страшно заорал на отца сын, и в глазах его была какая-то дикая решимость.

Василий сам повез в город хлеб. Если будет какой обман, от ворот-поворот — и он знает, куда сбыть свой хлебушко. Никто не выехал из ворот и не примкнул к нему, лишь мельком увидел в окнах насмешливые лица баб, темные бородатые лица мужиков. Завернулся Ярин в пеструю собачью доху, поднял воротник и давай понукать Чалку.

К обеду Василий был уже в городе. Поблизости от мучного лабаза, куда следовало сдать хлеб, он встретил мужика из Оёка.

— Не хлеб ли привозил? Слышь, эй?

— Не с навозом же в город ехал. А что?

— Да что дают-то за него?

Мужик схватил из саней какую-то серую кошму, сердито швырнул в передки саней, стеганул коня длинным кнутом да и был таков.

Ничего не поняв, Василий завел коня в поводу на широкий двор. К нему подбежал расторопный молодой человек, очень подвижный, в фартуке.

— Сюда, дядя, сюда подъезжай, поближе к весам.

Василий, остановив Чалку далеко от весов, привязал вожжи к передку саней, бодро кашлянул и спросил незнакомца:

— А ты кто будешь?

— Да весовщик. Хлеб взвешу. Выдам квитанцию, а в конторе с тобой расчет произведут. Было ваше — стало наше.

— Погоди-ка трещать,— остановил его Василий.— Ты мне малой начальник. А веди-ка меня к главному. Пусть тот, главный, меня ознакомит что и как, вот.

Но «главный»— председатель губпродкома — стоял уже на крыльце, широко улыбался:

— Вы откуда, товарищ?

— А с Подкаменного.

— А! Подкаменский. Ну, ну. Пойдем, погрейся, товарищ. Как твоя фамилия?

— Ярин.

— Проходите, товарищ Ярин, вот в эту дверь.

— А хлебец там не уплывет?

— Ну, да куда ваш хлебец девается? Не беспокойтесь, заходите.

Василий вошел в светлую комнату с одним большим столом посередине. На стене висел портрет в красной рамке. Бородатый человек смотрел на Василия теплым усталым взглядом. На полу в комнате и на короткой лавке лежали железные лопаты, пешни, полозья, грудки гвоздей, огромный хомут с ломовика. На окне лежал кусок синего ситца горошком и образчик войлока. С гладкого и лоснящегося ситца Василий не отрывал глаз.

— Ну, так о чем, товарищ Ярин, вы хотели поговорить со мной?

— Да вот насчет хлебца. Привез-то привез, да какой расчет будет,— заговорил Василий, все смотря на ситец.

— Прямо скажу, что расчет у нас никудышный. Купцы мы плохие,— ответил начальник, посерьезнев, с лица слетела улыбка.— Цены у нас твердые, государственные. Половину оплачиваем товаром. Другую — деньгами по твердым ценам. Товары, вот, видите, все на глазах.

— Дак это как же так. Я бы мог его тихонько в тыщу раз дороже продать.

— Ты как вез хлеб, Ярин, по доброй воле или тебя заставили?

— Сынок, сынок, будь он... Ведь детки-то теперь на горло отцам лезут,— глухим голосом проговорил Василий.

— Молодец твой сын. Кстати, Ярин, Ярин... Петр не твой ли сын?

Василий поднял голову, внимательно посмотрел на начальника.

— Вот как! Даже в городе знают про моего ахтивиста! Н-да. Ну, скажем, сколько ситчика мне отрежете?

— Да немного. Совсем немного. Остальное гвоздями, подковами, вот.

Ныло сердце Василия, когда он взвешивал хлеб, когда получал аршин пять ситца, складывал в мешок совсем ненужный войлок, два круга подков, пару серпов, гвозди, порох. За деньгами, которые требовалось получить, не зашел: их причиталось столько, сколько потребуется, чтобы купить пряничного петушка. Василий ударил потного Чалку и так вылетел из ворот, что раскатившиеся сани чуть не хватили стоявшую здесь старуху.

— Будь ты проклят, Петька. Будь проклят, сынок, чтобы тебя...— И Василий пожелал сыну такое, отчего сам тут же трижды в три стороны отплевался. У базара на сани к Василию вскочил немолодой чернобородый и быстроглазый человек.

— Дрожжей не надо, мужик?— крикнул он.

— Дрожжей. Тпру! Надо, купец,— сказал Василий и остановил коня.— Поди тесто одно, а не дрожжи, знаю вас!

— О, дрожжи, мужик, я те дам! Ночью встанешь — все тесто на полу будет. Хи! Хи!

А когда Василий заглянул в мешок чернобородого, то увидел кусок сатина, новые брюки, папаху черную, с отливом и отрез на полотенце.

— Вот мои дрожжи. Хи-хи-хи! И за все это знаешь сколько? Мешок ржи, а?

У Василия от волнения даже горло перехватило. Что он везет домой за целый воз хлеба. Эх, дурак, дурак! Ведь он бы этим хлебом обогатился, ведь он мог бы полгорода закупить. Эх ты, старый чирок изношенный!

— Прочь с саней,— сердито крикнул Василий и коленкой подтолкнул чернобородого, чтобы глаза и не видели чужого богатства.

И только размахнулся бичом, как коня кто-то подхватил за узду, а от дверей большого дома по тротуару тянулась длинная очередь людей, тесно прижатых друг к другу. Они мерзли, приплясывали, совали в рукава руки, носы в воротники, глаза воспаленные, злые.

— Нну! Куда ты прешь, не видишь людей. Ослеп, что ли!— кричал на Василия человек, покрасневшими руками державший коня за узду.

— Не видишь, пьяный! Пьют, гады, хлеб меняют да пьют! Вот тут за фунтом стоишь, а рядом на базаре они возами хлеб спекулянтам сваливают.

Коня и сани Василия мигом окружили женщины, детишки, мужики. Один парнишка, получивший хлеб, тут же за обе щеки уплетал его.

— Граждане! Да вы посмотрите: и впрямь он хлеб продавал—на санях-то, гляньте, зерна!

— Не доху же свою вонючую на показ привозил! Ясно!

— Иде твой хлеб? Иде?— верещала баба, дергая мужика за доху.— Иде?

Василий крутился в передке саней, держа привязанный мешок и вожжи.

— Осударству отдал!— кричал он, багровея.— Ну! Осуда-рству!

— Кажи квитанцию!

— И хвитанция есть. Ну!

Василий долго под шум и крики рылся в каком-то уж очень глубоком кармане, вынул смятую бумажку. Ее тотчас выхватил муж-

чина, что первым остановил коня. Все на миг затихли:

— Сдал, верно,— сказал наконец он, подавая бумажку назад.— Двадцать пять пудов сдал, граждане.

— У-у! Двадцать пять!

— Богач, должно, кровопиец!

— Какой богач! Дошонка-то со сбруишкой! Гляди!

Люди постепенно отошли от саней и встали опять в очередь; появился чернобородый человек, он сквозь зубы плюнул и презрительно сказал:

— Сдал! Эх, деревня! Да ты бы на этот хлеб озолотился! Тьфу, дурак!

Даже за городом, направив Чалку рысцой и закутавшись в доху, Ярин все размышлял над неожиданной встречей в городе. Парнишка с куском черного хлеба у рта все стоял перед глазами. Старик видел его замазанный нос, голую шею и влажные от слез глаза. «Буржуй! Не туда хватили!»— думал он, а перед глазами шевелилась очередь в пятьдесят, сто человек, и эти люди за его, Васильевым, хлебом станут в очередь пятнадцать-двадцать раз. Он, Ярин, накормит их своим трудовым хлебушком. И незаметно для себя ему стало легко на душе, он улыбнулся, крякнул, крутнул шеей, стянутой шарфом, тихонько засвистел, потом замурлыкал. А по телу, которое прохватывал предвесенний мороз, разливалось доброе, человеческое. И вместо того, чтобы ударить по спине коня кнутом, он только покрутил им над собой и легко задергал вожжами:

— Ну, Чалый, ну, родной, шевелись!

3

В то же утро под великим секретом Петр рассказал своему старинному дружку Чубу о том, кто напал на него на льду, тяжело ранил. Сидя в боковушке, они долго шептались. В горячих молодых головах рождались десятки способов мести и тут же отвергались один за другим. Спалить дома, прирезать на заимках весь скот, поймать Ваньку и Серьгу, заволочь на колокольню и спровадить оттуда вниз головой. Решили под большим секретом рассказать новость Федору. Федор внимательно прослушал, не удивился, раздумчиво сказал:

— Враги наши, Петро, не за горами, а за плечами живут. А теперь мне ответьте, что вы думаете делать?

Чуб и Петр молчали.

— Мстить по-своему не вздумайте, вот чего я боюсь. Наша власть — наш суд будет над ними, а пока замкните губы на крепкий замок. Другие дела есть, поважнее. Хлеб надо добывать — душа из нас вон. Я вот что предлагаю — создать три группы из бедноты и хлеб перво-наперво выжать из кулаков.

Замысел Федора захватил парней, они тут же бросились собирать свои группы.

Когда Трофим с хозяйкой хлебали постную похлебку, к ним вошли Иван Вознесенский, Косой Гурьяк, Федор Шульга и Чуб; работник Андрошка прибежал со двора и с великим любопытством рассматривал пришедших.

Трофим отложил ложку и тревожно насторожился.

— Мы к тебе по делу, дядя Троха,— начал Чуб.— Вчера собранье было, и с тебя порешили взять для государства десять мешков ржи.

— Меня там не было,— стараясь говорить спокойно, ответил Трофим. — Я этого не решал.

Но Чуб будто и не слышал.

— Показывай, из какого сусека хлеб нагребать.

— А из своего поди да и нагреби,— старался хитро улыбнуться Трофим, но Чуб подошел к нему ближе и, бледнея, спросил:

— Ключи на том же месте висят?

— Пошарь иди,— буркнул Трофим и тихо добавил:— Да только попомни, ответа за разбой не миновать, Алеха!.

Но Алешка, волнуясь, добавил:

— Ничего, дядя Троха, битым не страшно.

Чуб привычно зашел за печку, звякнул связкой ключей и, выйдя оттуда, сказал:

— Пойдемте.

В обоих амбарах, в подвале и в ларях хлеба не было. Это озадачило Чуба. Он почесал затылок, крепко выматерился и посмотрел в доверчивые голубые глаза Андрошки.

— Где хлеб, Андрон, говори?

Андрошка будто задохнулся, но тут же собрался с духом и выпалил:

— А он в Каштаке у него. Спрятан, ага!

— Молодчина, Андрон, запрягай-ка пару коней да и собирайся сам.

Накинув полушубок на плечи, Трофим смотрел презрительным прищуром глаз на бегающих, суетящихся по двору людей. Полуседые брови, как два грязных кома снега, нависли над глазами. Он окликнул Андрошку.

— Пошел в избу!

Андрошка поспешно скрылся в избе, а как подводы стали выезжать, в рваной дошонке выскочил на улицу.

— Ты куда?— бросился было за ним Троха, но тот уже прыгнул на сани.

— За хлебом, Троша, за хлебцем,— нараспев ответил за Андрошку Косой Гурьяк.

Не успел Чуб с мужиками выехать из села, как за кладбищем их догнал Ганька Ярин. Едва переводя дыхание, он сказал:

— Беда, Алеха! Братька Филонова Ваньку зарезал!

Круто повернув коня и нахлестывая его, Чуб помчался через все село к дому Филоновых. У ворот толпилось много людей. Растолкав их, Чуб ворвался в ограду и вбежал в избу. За печкой на груди сына лежала мать, старая Филониха. Чуб вышел на улицу и спросил у батрака Иванова Степана:

— Где Петро?

— Домой удрал,— ответил тот и продолжал рассказывать:— Я хомутину подвязывал. Гляжу: входит Петро, весь бледный, руки назад — и к нашему: «Кажи, где хлеб?» А наш-то с ножом к нему. Петро отшвырнул его. А он: «Жалею, что не до гроба ухлопали». А Петро-то: «Ну, жалеть больше не будешь»,— выхватил из-за голенища нож и всадил в грудь. Наш-то повернулся да бежать, да на печку, а Петро-то ему в спину раз да два. Наш-то вгорячах на печку заскочил да и повалился.

— Туда ему и дорога,— сказал Чуб.

А из толпы истошно закричала баба:

— Это что же, батюшки, режут людей, грабют хлеб. Что за власть такая, окаянная. О! О! Навешал на себя красных звезд и думает, ему все можно!

— Кто знат. Может, и за дело Петька-то. Кто знает,— сказал Гриха Бунчиков и скрылся в толпе.

Чуб пошагал в Тунку. Навстречу попался Петр. Его вели в сельскую. Он увидел товарища, махнул рукой и с поникшей головой прошел. Чуб молча побрел вслед, а когда Петр скрылся, вспомнил: «Где же кони мои, люди, надо ехать в Каштак, непременно ехать, где же Андрошка, Гурьяк, Иван».

4

На Александровском тракте самое опасное место — гора Верхоленская. Она тянется вверх на добрый десяток верст. Медленно тащатся обозы, останавливаются, подолгу стоят, потом вновь еле ползут. Скрипит упряжь, фыркают кони. Будто желая взять последние силы у коней, гора становится круче. А когда поднимешься на нее — и тут не легче: дорога обрывисто идет под гору, в долину Ангары, где спит, играя огнями, город. Не приделай тормоз — раскатится телега или сани, любого смирного коня не удержишь. И потому лежат на обочинах дороги разбитые телеги, сани, спицы колес, ободья, втулки. Тут случалось и другое: запозднится мужик с бабой из города, выйдут к ним навстречу два-три молодца: «Отдай деньги»,— а потом отберут да еще потребуют: «Молись за нашу душу грешную»,— и скроются в лесу, оставив бабу в слезах, а мужика в великом горе.

Медленно тянется в гору маленький — в четыре коня — обоз Федора Шульги. Не щедры оказались на хлеб мужики для советской власти. Силой пришлось взять его у богатых мужиков. Долго пришлось убеждать, чтобы Гриха Бунчиков, Роида да Гурьяк приняли по пуду кулацкого хлеба, данного им руками советской власти. Тихо забирается в гору обоз, а по сторонам идут люди с винтовками за плечами — мало ли что может случиться глухой ночью. Впереди головного коня идет шагом, сгорбившись, Федор Шульга. Мало, ой, как мало добыл хлеба для рабочих за этот месяц в деревне. Не один раз видел Федор, как по селам десятками бродили мешочники. Как одни, насобирав пудикдва, на санках тащили свою поклажу по знаменитым Якутскому, Александровскому и Московскому трактам,— это рабочие. И как сидели другие, красные от выпитого самогона, на возах, полных хлеба,— это спекулянты. Да, хлеб нелегко доставался продотряду.

События в Подкаменном оставили в душе Федора тяжелые воспоминания. Не будь продотряда на селе, не был бы убит Филонов, не пошел бы в тюрьму Петр. И где бы они ни были, всюду, как сухое смолье, начинает вспыхивать и прорываться огнем ненависть между сытыми и голодными. Федор чувствовал, что только сейчас по-настоящему начинается Октябрь в деревне и что узлом всех противоречий стал хлеб. И все-таки мало они его добыли у крестьян — опять и опять горько думал Федор о результатах своей поездки.

Фыркают усталые кони, тихо переговариваются люди. Дунул ветер с Байкала — сейчас конец горе и начнется крутой спуск. Федор снял винтовку с плеча и прижал ее к груди. Чуб бросился вставлять в передки березовые палки-тормоза. Всем сердцем чувствовал Федор, что этой ночью не миновать встречи с Чаком. Не зря из деревни исчез Серьга Тонский, а в обозе везут Трохин хлеб и хлеб Тонского. Забороздили по снегу остро заточенные тормоза. Шлеи туго охватили зады лошадям, хомуты съехали почти к ушам. А впереди — темная пропасть. Шумят сосны и березы. И вдруг из гущи мрака близко, почти рядом грохнул выстрел. Первый конь толкнулся в хомуте, наклонился всем

телом под гору и, отпрянув в сторону, повалился на бок, под ним хрустнула оглобля. И тотчас в ответ на одинокий выстрел раздался нестройный залп. Бойцы продотряда прыгнули от коней в стороны и залегли в разных местах. Пригибаясь, Федор подбежал к возам и наткнулся на Чуба.

— Что делать?— взволнованно спросил тот Федора.

— Скачи на коне в город, зови на помощь.

Чуб коротким взмахом руки обрезал гужи, бросил в сторону дугу.

— Вниз не пустят, выезжай наверх и скачи объезжей дорогой.

Круто повернув коня, Чуб вскочил на него, прижался к самой шее. Лошадь, чуя опасность, несколькими сильными рывками вынесла Чуба на гору, и тотчас перед самыми глазами Алексея сверкнула вспышка выстрела. Конь встал на дыбы и замертво рухнул в снег. Чуб нащупал выпавшую из рук винтовку. Не целясь, он выстрелил в метнувшуюся тень человека.

— Шалишь! Хлеба вам не взять. Шалишь!— стрелял и приговаривал Чуб.

...А на рассвете вспыхнули ветхие, гнилые избы Гурьяка, Роиды, Бунчикова, пустая избенка Ветлова. Десятью чадными кострами горели землянки на Камчатнике. От зарева блестели холодные снега Ангары, а в отблесках огня мрачно чернела лесная чаща. Кешка Чак сидел в избе Яриных на пороге одетый в белый полушубок. На груди чернел бинокль, два ремня перехлестнули грудь.

— Долго еще будешь возиться!— крикнул он в горницу, освещенную пламенем горящей Роидиной избы.— Одевайся потеплее, да во все доброе, слышь?

Устя тыкалась из угла в угол. Руки ее тряслись, она не могла сказать ни слова. Не дождавшись ее, Кешка вбежал в горницу, кинул ей катанки, схватил с гвоздя шубу, насильно затолкал руки в рукава и бросил на голову полушалок.

— Ну-ка, ты, соцмолец, вылезай! — Кешка вытащил притаившегося под диваном Ганьку.— Одевайся, со мной поедешь.

Василий, Татьяна и ребятишки были загнаны на печь. Татьяна глухо рыдала. Кешка вынимал наган и, потрясая им, кричал:

— Молчать, стрелять буду!

Одетая в Петрову длинную и широкую шубу Устя стояла посреди избы, держа вздрагивающую руку Ганьки. Коптилка освещала темное обросшее лицо мужа, белую папаху, заломленную назад. И ей хотелось плюнуть в это лицо — так ненавистно оно было теперь.

— Подлец!— с дрожью в голосе сказала она. Кешка захохотал, хотел было за руку подтолкнуть Устю к двери, но она встрепенулась всем телом и еще крепче сжала руку брата.

— Не трожь! Сама пойду,— страшным голосом ответила она и решительно открыла дверь.

— Прощайте, мама, тятя!

На печи вдруг закричала мать, ребятишки, но вот хлопнула дверь — и все стихло.

Ей подвели коня. Она, взявшись за гриву и сунув ногу в стремя, села в седло и протянула Ганьке руку. «Только бы не тронули стариков. Только бы скорей отъехать. Только бы не подожгли дом»,— билось у нее в голове. Когда проехали пылающий дом Роиды, Устя все оглядывалась назад, оглядывалась долго, когда уже и пламя загородило родной дом. В последний раз обернулась у кладбища — дом, сараи, колодец были целы. Устя облегченно перевела дыхание и тихо заплакала.

— Завязать ей глаза,— скомандовал Кешка.

Кто-то, крепко держа голову, туго перетянул глаза.

— А этому, соцмолу, дать побольше горячих! Пусть вернется да расскажет своим дружкам.

Ганьку оторвали от руки Усти. Он закричал, забился в крепких руках бандита, брошенный на дорогу, захлебнулся от боли и на миг замолчал. Потом вдруг сильный мальчишеский рев снова разнесся среди кладбищенской тишины. Устя услышала свист плетей и глухие удары их по телу.

— Ганя! Братишечка мой родной! У-у-у, подлецы.— Устя рванулась, но крепкие руки схватили ее и удержали в седле.

КОММУНА

1

Перепорхнули Ангару последние сильные морозы и убежали через горы, через кудинские степи на север. Весна началась дружно. Холмы и пригорки быстро сбросили снег и день-другой дымились курчавым паром под лучами солнца. На обогретом склоне Камчатника зябко топорщатся бледно-фиолетовые цветы прострела. Потянуло сырым, терпким ароматом багульника, сосны, яблони. И только одна Ангара, как заколдованная, сверкала льдами и долго не поддавалась солнцу. Но глаз внимательный и тут заметит перемены. Подойдите ближе и прислушайтесь: там — тихий звон серебряного колокольчика,

здесь — бум! — глухо лопнул и осел причудливый хрустальный потолок. А через неделю вместо громадин льдин остались тонкие кружева. Поднимается солнце, и они невидимым паром улетят к небу — и, эй, кто там мчится на коне? Вернись! Не видишь, высохли лужи на льду? Не ровен час, проглотит тебя ненасытная Ангара!

Подстригая к пасхе бороду, Василий неприятно удивился — борода и усы были седыми, а не рыжевато-темными, какими были год назад, на щеках и на шее легли глубокие морщины.

— Смотри-ка, девка, как я помолодел, — печально пошутил он над собой, подзывая Татьяну, — да и у тебя горб-то вон какой вырос. Да.

— Все до поры да до времени, старик, — ответила она.

— Пора, да не та, — уже со злобинкой ответил на смиренные Татьянины слова Василий.

Отродясь не знал такого тяжелого года Василий. Но даже и там, где горя много, все же бывают мимолетные радости. Ездил Василий на свидание с Петром. Суда все еще не было. Вышел к нему сын, взглянул в глаза отцу.

— Мое дело право: я врага советской власти прикончил, — глухим голосом говорил он.

— Вон Филоновы-то судье и муки, и мяса, только бы тебя в тартары спровадить.

— Не получится. Я за советскую власть.

Когда Василий ехал назад, его догнал мужик. Разговорились о делах, тот и спрашивает:

— В Подкаменном никто не нуждается в коне? Ходит у меня в табуне ладная кобылка, жеребая.

— Жеребая? Гм, — встрепенулся Василий. — А тебя как звать-величать?

— Еропов Иннокентий.

— Мне, брат, надо бы.

А назавтра Ярин запряг Чалку в сани да еще по зимнику съездил в Горяшино. Еропов оказался мужик богатый, насмешливый. Когда узнал про фамилию Василия, вытаращил глаза, будто испугался, оскалил желтые зубы.

— Ярин! Слышь, а не твою дочь бандит Кешка в лес увез? А не твоему парнишке он спину-то разрисовал?

Нелегко было слышать Василию такие слова, но промолчал он. Мужик Еропов оказался не жадным, за кобылку много не запросил. А Василию она по душе пришлась — пегая, да и вот-вот ожеребится. Целыми днями Василий крутился около кобылки. Вычесывал зимний волос, аккуратно подстриг гриву, переделал для нее узду, перебрал хомут, подсыпал новому коню овса, обижая Чалку. Пегушка скоро привыкла к хозяину и, играя, покусывала его за рукав, а Василий осторожно похлопывал по животу, добирался до бархатного вымени.

— Жеребца скорее давай, Пегуха, жеребчика, — ласково говорил он ей.

Однажды ночью он услышал зазывно-радостное, глухое, по-матерински нежное ржанье и, испугав Татьяну, со всех ног бросился во двор. У ног Пегухи на свежей соломе лежал жеребенок, темный, вздрагивающий, длинноногий. Он силился подняться, и тогда Пегуха нежно заржала. Василий поставил жеребенка на жиденькие ноги, сунул мордочкой в вымя и опять услышал радостное ржанье матери. А как рассвело, Василий поднял Гошку и Леньку.

— Пойдемте-ка смотреть, работник у нас родился.

У жеребенка на лбу беленькая звездочка, маленькая, с ромашку. Стройный, длинноухий, с сухонькой и аккуратной головкой, как у матери, стоял он под ее грудью и глядел белесыми глазами.

— Карька! Карька! — позвал его Ленька.

И отец и Гошка позвали:

— Карька! Карька!

2

Сразу же после пасхи Василий отправил на заимку Ганьку и Гошку, а сам пообещался денька через два приплыть и угостить свежей рыбой.

— Да за жеребчиком глядите лучше, — наказывал он, широко распахивая ворота, и долго еще любовался, как сосунок, будто слепенький, жмется к оглобле, как за посох держится.

Только взялся Василий за удилище, в ограду вошел Иван Ветлов.

— Я к тебе по делу, дядя Вася, пойдем-ка в избу.

«Не о Петре ли что узнал», — подумал Василий и стал смотреть тревожно на коричневые руки Ветлова, лениво свертывавшие папиросу.

— Плохо наше дело, дядя Вася, посчитай, пятнадцать хозяев оставил без угла гадюка Чак. Не придумаю, как беде помочь, хоть ложись да помирай со всей оравой ребятишек. Хлеба нет, семян нет, сохи, бороны — все погорело. Два коня да четыре коровы на всех осталось. Ни с кем из мужиков не говорил, а вот к тебе первому пришел, потому как ты человек, ну, душевный.

Василий качнулся на стуле: к чему бы этот запев?

— Вот я от всех погорельцев к тебе и пришел: дай нам за ради милости бросовую соху, борону, еще там что-нибудь.

Василий почесал затылок.

— Так это что такое, Иван? Бунчиковых восемь душ приютил, в баню пустил, как-никак помогаю.

— Да ведь, дядя Вася, войди ты в наше дело. Ты дашь, другие мужики не откажут. С миру по нитке, а ведь мы решили коммуной зажить, вот сообча горе мыкать. Артельно.

— Артельно! Коммунией?— растягивая слова и выпевая их, спросил Василий.— Антиресно! Да-а-а.

— А что делать, дядя Вася. А?

Василий задумался. Он хорошо понимал безвыходное положение мужиков и в душе соглашался: может, и правда, так им будет лучше.

— Не слыхивал, не бывало этого никогда, Иван. Как вы тут охомутаете такую жизнь, страшно и подумать. Ведь...— и Василий удивленно посмотрел на Ветлова, закачал головой, а потом как-то решительно, опершись на колени, поднялся,

— Пойдем.

На дворе торопливо подбежал к бороне, что привалена к заплоту.

— Вот бери ее.

Потом забрался на амбар и сбросил оттуда соху. Ветлов оттащил ее в сторону. Потом упало колесо, другое. Василий спрыгнул с амбара, щеки в пыли.

— Берите колеса да таратайку делайте. Да вот, постой-ка, забирай Серково наследье.

И Василий схватил с деревянного гвоздя хомут и бросил на руку Ветлову.

— Спасибо, дядя Василий, спасибо,— с радостью в голосе отвечал Иван да так с хомутом в руках и вышел за ворота, но тут же вернулся.

— Не все ведь, дядя Вася, я сказал. Жить мы будем в Каштаке. Землю у Филоновых и Трохи отберем. Довольно им земли и на дальней заимке. А к тебе вот какая просьба: зимовьишко нам не дашь на подержание?

— Дак... А я-то в чем буду жить?

— Да уж как-нибудь поместимся.

— То-то же, поместимся. Ноги на лавке, а голова у Савки. Ну, да ладно. Живите,— махнул рукой Василий и хотел было идти в избу, как его за рукав попридержал Ветлов, подошел и заговорщически добавил:

— А Петра мы все равно выручим. Я бумагу в город отправил. С полной характеристикой. Ведь он бандюгу из бандюг ухлопал. Самую злую контру. Дак за что страдать. А!— и отставляя в сторону деревягу, Ветлов бодро пошагал в Бунчиков двор.

Василий взялся за удилище, поправил на боку сумку и опять покачал головой: «Коммунию! Ах вы, гольтепа, гольтепа. Коммунию! Сообча! Ну, попробуйте, попробуйте, дай-то бог из нуждишки-то выкарабкаться. Век постарому не могли одолеть ее, попробуйте по-новому». Потом поставил у ворот удилище, кряхтя, с застывшей улыбкой удивления и любопытства полез опять на амбар, оттуда еще полетели два колеса.

— Нате, делайте телегу, что в ней, в таратайке-то. Коммуния! К-х! К-х!

3

Весть о коммуне всколыхнула всю деревню. Целые толпы любопытных подходили к Бунчикову двору, на котором теперь прямо под открытым небом лежали сани, бороны, косули, разбитые таратайки, колеса, вилы и грабли. Под уцелевшим от огня сарайчиком висели и лежали шлеи, хомуты, седелки, скатки веревок — все то, что удалось собрать в селе. По двору по-петушиному, грудью вперед, вышагивал сам Гриха Бунчиков.

— Буржуем Гриха стал. Смотри, сколько добра-то собрал.

— Что твоя барахолка!— кричат ему мужики, стоя на бревнах у забора.

— Э, дуга-то наша!— заметила соседка Грачиха.— И когда это Митрий успел сунуть ее! Н-н-ну погоди сопатый черт!

Даже сам Троха залез на бревна и, сощурив хитро глаз, спрашивал:

— Ого, хозяйство какое у шуряка! Эдак робить не надо, ходи да собирай по деревне. Ну, а, к примеру, как это вы будете жить-то?

— Сообча!— только это слово и знал Гриша.

Троха захохотал, запрокинув голову назад, борода цвета смолы развевалась на ветру. Он устремлял свой глаз, полный злобы и смеха, на Гриху. Глазная впадина, которую он уже не завязывал, кроваво вздрагивала.

— Это... это вон соху-то Васькину, значит, трое повезете, а четвертый за рогули держаться будет? Так? Один будет сосну рубить, а другой лбом упираться — вались, холера! Сивуху-то Гурьяка один в хомут тащит, другой шлею заправляет, третий — ну, убогая, вези, да не растащи! Бабу-то твою, ха, ха!

Но ворота Гришкины звякнули, и вышел

Ветлов. Троха скис, когда увидел сухой и жесткий взгляд маленьких глаз Ивана.

— Рано смеешься, Трофим, как бы плакать не стал.

— Пугаешь?

— Что пугать-то. Зайди-ка в сельсовет. Есть дело до тебя. О земле Каштака надо поговорить.

— Это как понимать надо?

— Да так вот. Порешили в городе землю ту коммуне передать. У тебя и другой позаглаза.

Загремели бревна, тыча пальцем в Бунчиков двор, Троха рычал:

— Подавитесь! Подавитесь! Ну, придет и на вас управа, погодите. Семенов-то, атаман, он не за горами!

Ветлов неторопливо вышел из ворот, также неторопливым, но упорным шагом догнал у дома Колесника Трофима и за плечо повернул к себе:

— Ты о каком Семенове говорил?— не повышая голоса, спросил он Троху.

Короткие губы Трофима, похожие на губы Кешки, разомкнулись. Ощерились мелкие, злые, уже съеденные зубы.

— А тот самый,— плечом стоя к Ветлову, сказал он,— который за Байкалом башки коммунистам сшибает.

— Ждешь?

— Чтобы землю, горбом нажитую, не отбирали, чтоб хлебец из амбаров не выгребали.

— Ну, гад, попомнишь свои слова!— потрясая кулаком у носа Трохи, глухо выкрикнул Ветлов эти слова.

4

Будто тяжелый войлок, повис над землей морок, и оттого кусты, тропинки и зимовья Каштака потонули в непроглядной темени ночи. В зимовье тесно. Спят вперемежку ребятишки Ветлова и Грихи Бунчикова. Под нарами Гошка и Ганька Ярины. Тяжелый дух от грязного белья, портянок подпирает черный, прокопченный потолок. В проходе между стеной и нарами спит с Аксиньей Гриха Бунчиков. Жена Ветлова примостилась на краю нар. Сам Ветлов крутился на узкой скамейке у дверей. В бок упирается холодный затвор винтовки. Ветлов хорошо понимает, что ему не уснуть в эту ночь. Утром начнется новая, неведомая жизнь его и людей, которые пришли в эту глухую падь, веря ему, веря советской власти.

Один за другим поднимались в памяти события дня. Коммунары молча стояли у сельского совета. Рядом — на двух телегах — пожитки. Что не вошло на телеги, стащили на берег и погрузили в лодки. Ветлову надо, непременно надо сказать душевное слово перед отправлением. Он встает на бревно. Вот так бы обнял каждого, сказал бы ему: «А знаешь, ты ведь герой, ты знаешь, на что рискнул? Ты ведь жизнь собрался перевернуть, ты вышел — и не дорога тебе, а бурелом, ночь, коряги, ухабы и чего только нет впереди». А слово получилось короткое:

— Вот, товарищи, мы и уезжаем. Ты, Гриха, на конях. А я лодки поплавлю. Поехали, товарищи!

Пожал Ветлов руку новому председателю сельсовета Ивану Вознесенскому и, дернув картуз на глаза, зашагал вместе с другими на берег. Гурьяк Косой, совсем одинокий человек, нес гармошку-киселевку подмышкой. Как начался пожар, Гурьяк залетел в огонь — что же спасать! Схватил из-под кровати гармонь и выскочил с ней. Аксинья Бунчикова прижала к груди обеими руками золотисто-красного петушка, за подол держатся Васька и Ольга, одетые в розовые сатиновые рубашки и платье. Как ни бедно жили Бунчиковы, а к пасхе всем шили новые рубахи. Уже в лодке Ветлов удивленно смотрел на Гурьяка, который, подняв гордо голову и устремив взор поверх Камчатника, играл «Трансвааль»— песню, которую бог знает кто привез в село.

Трансвааль, Трансвааль, страна моя.
Ты вся горишь в огне...

подпевал старый Гурьяк себе, и все люди с трех лодок, плывущих друг за другом, смотрели на него, слушали его.

Я жизнию пожертвую
За Родину свою...

Что видел старый Гурьяк за горой, куда так пристально смотрел он? Какой великой верой в ту минуту была переполнена душа его? Петушок Аксиньи встрепенулся в руках, вырвался и по головам людей перепорхнул на нос лодки, расправив грудь, двинул назад шеей, запел: «Ку-ку-реку!»—похлопал крыльями. Никто даже не улыбнулся, а Гурьяк, балагур и шутник в другое время, все продолжал смотреть вдаль и все пел свою песню о герое.

Поздно ночью, разместившись в пяти зимовьях Каштака, наконец угомонились люди. В этот раз, ложась спать, Ветлов и деревягу не отвязал. Давит она ногу — так бы вот и сбросил, да нельзя. Пощупал винтовку, повернулся на другой бок — не спится. Был в волости, в укоме. Разговаривал с самим секретарем.

— Дело задумал, товарищ Ветлов. Начинай, брат, поможем,— сказали ему там и пообещали молотилку.

— Плуги бы, сеялку... семян.

— Нет. Вот молотилка на складе есть. Берите.

— Семян,— настаивал Ветлов.

Нет семян, да и где в такую трудную годину взять для коммуны семян в городе.

Взяли мужики мешки и пошли по селу, как за христа ради собирать семена. Одни богачи захлопнули перед ними ворота. Все остальные по горсти, по фунту свесили, в один мешок ярица, в другой пшеница. Как сеять? Как вспахать эти крутояры? Как начинать жизнь по-новому? Как уберечь людей от Кешки-бандюги, который бродит в окрестных лесах, в дикой таежной глухомани.

Тихо, чтобы не разбудить людей, поднялся Иван, взял в руку винтовку и вышел из зимовья. Свистит ветер в невидимых вершинах сосен. Слышит Ветлов над головой неровный полет ночной птицы совы. Шуршат по прошлогодним кустам соловенькая кобыленка Гурьяка да старый Гнедко Бунчикова, хлопают пустыми губами, ловя иголочки свежей травы. Качнулись кусты и смолкли.

— Кто идет?

— Ты, Ветлов?— слышится голос Гурьяка. Он сегодня охраняет коммунаров. На гнилой старой колоде закурили.

— Как жить будем? — со вздохом спрашивает старик.

— Живы будем — не помрем,—ничего в ту минуту другого не нашелся сказать Ветлов.

— Дак ведь оно так-то так. А я вот тоже брожу и думаю: с реки и начать, с рыбы. Оно перво дело — еда, а другое — лишок и на хлеб в городе променять можно. Само собой, питаться артелью, как на молотьбе, стол этакай большой. Детвору всю посадить — ешьте. С рыбы бы начать, а, Ваня? Сетишки есть.

— Дело говоришь, Андрей Гурьянович. Только всем на рыбу уйти нельзя. Ты давайка бери двух мужиков-рыбаков и корми нас рыбой, а мы будем пахать и сеять. Нам бы вот посеять хлебец, а как начнет он расти, и на душе будет радостно и с пустым брюхом за сохой пойдешь. В городе молотилку нам обещали.

— А хлеб куда ссыпать будем? Амбаров-то нет?

— Построим, дядя Андрюша, и амбары и дворы, дай срок. И школу построим. И сами все учиться станем. И прощай ты, окаянная нуждища. Артелью-то, о! Сообча-то гору своротить можно. Лишь бы мир был. Чтобы гадов этих лесных повыловить,— мечтал Ветлов.

— Я слышал: Семенов там какой-то на нас замахнулся,— тревожно шептал Гурьяк.

— Заграничные буржуи пса цепного спустили на нас. Да слышно, зубы пообломали ему. Завыл и к границе китайской побежал прятаться.

— Быдто англичаны на нашу землю пришли!— осторожно спрашивал Гурьяк.

— А! Зашли клином, выйдут блином,— коротко ответил Ветлов, плюнул под ноги и растер невидимый плевок.

5

Василий любил Ангару, а за что, не спрашивал себя. Так, свыклись они с ней, не расставались ни на неделю, и разве случай заставит расстаться. Он сел на камень, привязал леску к кончику удилища, предчувствуя блаженную минуту — взмах удилища, легкое покачивание поплавка на веселых струйках, резкую подсечку. Это ожидание всегда делало его счастливейшим человеком, лицо разглаживалось, добрело, молодо сверкали серые глаза. Но в этот раз не выходили из головы пережитое, навалившиеся беды.

«Да, червяков вот не чисто выморил,— думал он.— Попробую на червячка, не пойдет — на мушку. Вот только вода мала, задевать будет. Крючок вот надо песочком вычистить». А где-то рядом, подспудно, роились другие думы: «Петро вот сидит в тюрьме, голодает, а бревна в лесу лежат, звонкие, добрые, прямые, но посинели, видать, от воды. Эх, Петро! Бревна-то лежат, да! Устю злодей-то увез. Где она? Что с ней? Утя, Утя, Устенька... А жеребенок такой славный, каренький, белоглазый. Коня-то не скоро от него дождешься. Что не скоро? Осень, еще осень, а на весну...»

На время навязчивая дума исчезла. Прыгая по камням, Василий шел за поплавком, осторожно держа удилище, что б не тряхнуть, чтобы не дошла дрожь слабым толчком до поплавка.

Рыба не ловилась. Василий положил удилище и сел на камень, и горькие думы совсем скрыли от него Ангару. Этого не было с ним никогда. «Да, уж если и здесь они тебе покоя не дают, стало быть, плохо твое дело, Василий Родионович»,— подумал он. «Насмешки! Да черт с ними,— говорил Василий себе.— Петра бы вызволить, а как, ну как? Устю бы вернуть, а как, где ее искать?»

Все же Василий к вечеру поймал на уху и пошел на заимку к Ганьке с Гошкой. Когда стал Василий спускаться с горы в Каштак, рядом со своим зимовьем увидел почти за-

конченный сруб нового пятистенного дома. Бабы во главе с Грихой Бунчиковым на передках везли с горы бревна, шарахаясь то в одну, то в другую сторону. Бревно, хрустя сухими сучками, тихо тащилось по траве. И хоть лес был рядом, Василий удивился: неужели это на своих плечах они приволокли все бревна?

Василий обошел дом. Мох в пазах был сыроват, лес только что с корня, что и говорить, тепла в избе будет мало. Но любопытство не покидало Василия. Он не понимал, откуда у людей такое желание строить не для себя, а для артели. Он поздоровался с Ветловым, с бабами, которые, вытирая пот, расселись на бревне, грубовато подшучивая друг над другом. Ветлов яростно рубил угол. Папироса давно остыла и, затолкнутая в угол рта, вздрагивала при каждом ударе. Черное и сморщенное у рта и у глаз лицо было суровое и сосредоточенное. Полуседые волосы ершились на висках.

— Гляди-ка, дом скоро будет, а? Молодцы!— сказал Василий. К нему подошел Гриха Бунчиков. Голубые, по-юношески светлые глаза виновато заглядывали в рыбачью сумку Василия.

— Жеребенка-то... Вася... Жеребенка-то волки зарезали.

— Какого? — тревожно спросил Василий.

— Я виноват, Вася, я с Ганькой-то в ночевке был. Он что, парнишка. Я, подлец, стравил.

— Эко ведь беда: жеребенка лишился. Тут хлеба нет. Жеребенок!— зло заметила Грихина Аксинья.

Василий перескочил грудку бревен, торопливо забежал в зимовье и уже без сумки и дождевика выскочил назад.

— Где он, сукин сын, где?

— Пашет, Вася, да ведь не он, не Ганька, я виноват. Эх!

Но Василий уже не слушал. Не шел он, а бежал в гору, вытирая рукой лысину. Вот и его поле, ощерилось черными клыками пней. Вон и пахарь Ганька тащится за плугом. Чалка коренником, Пегушка на пристяжке. Она упирается во всю силу и через каждый десяток шагов ржет, ржет тоскливо, как плачет. Вздрагивают острые уши, она то и дело оборачивается, глаз не сводит с леса и ржет; это ржание ранило сердце Василия, простреливало насквозь. Бредя, как по воде, по мягкой пахоте, он был не в силах бежать, потный и бледный, как-то боком, волоча за собой березку с сухим корнем, тихо подкрадывался к Ганьке.

— И-и-х ты, подлец, рразоритель!— взвизгнул отец у самого плуга. Ганька повернулся, сухой корень ударил его в грудь.

— Тятя! Прости! Тятя, не бей!— крикнул Ганька и упал на землю. Корень ожег ему спину раз, другой. Ганька вскочил, на четвереньках, по-собачьи отбежал в сторону, в ужасе оглядываясь на отца.

— Тятя, прости! Тятя, прости!

Кони подхватили вывернутый плуг и налегке, хватая попутно траву, понеслись по полю. Пегушка захлестнула постромку и била ногами валек, пока не оторвала его. Василий отскочил от Ганьки и побежал к коням, а когда оглянулся, парнишки на поле уже не было.

— Гошка! Гошка! Где ты пропал?— звал Василий меньшого. Но Гошка сидел за сосной и боялся показаться отцу.

Привязав Чалку к березе, Василий отпряг Пегушку, и та, не чуя устали, вытягиваясь и приседая на зад, рысцой понеслась к лесу. Василий шел следом.

Загнав жеребенка в густой соснячок, волки задавили его там, но съесть не смогли, распороли живот и выхватили грудь. Видать, Чалка и Пегушка усердно отбивали детеныша: трава была выбита до земли, срезаны копытами мелкие сосенки. Кобыла бегала вокруг жеребенка и стоявшего в молчании Василия, тоненько ржала. Василий наклонился и потрогал на шее жеребчика маленький шаркунчик, он тихо звякнул. «Эх, конь бы какой был»,— горько подумал Василий и оглянулся: за ним стояла Бунчиха. На худом с желтыми щеками лице жадно глядели черные цыганские глаза, костлявые руки устало свесились, грязная кофта повисла на безгрудом теле.

— Чего тебе надо!— гневно спросил старик.

— Я, Вася, о жеребенке. Может, отдашь его. Нам бы на день, на два какой ни есть приварочек был. Люди изголодались. Отдай, Вася.

Василий пристально посмотрел на Аксинью.

— Ты кто, куфарка у них?

— Да, варю, что придется. Так дашь, Василий?— Она сложила руки на впалую грудь и добавила:— Сгниет ведь так же. Ведь ты конины не ешь. Отдай.

Василий отвязал шаркунец с шеи жеребенка, звякнув им, сказал: «Забирай. Пропащее дело!»— и, поймав Пегушку, отправился к своему полю.

До заката солнца Василий пахал сам. Ког-

да стал выпрягать, к нему подошел Гошка и стал в отдалении.

— Подходи, не трону. Ганька где?

— А он ушел.

— Куда?

— А подамся, говорит, куда глаза глядят.

— Ишь ты,— буркнул Василий.— Садись да поезжай к зимовью, спутай там коней.

Отец посадил сына на коня, а сам пошел в лес. «Подамся. Ишь ты, отцу и тронуть нельзя. Я те вот подамся»,— думал Василий, а в душе врывалась тревога за сына — где он?

Гошка на конях ехал по дороге, отец шел по закрайку леса, раза два крикнул: «Ганька! Ганеу!». Но сын не откликался!

Всю ночь Василий пробродил по тайге, все искал Ганьку:— Ганька! Гане-о-у!— перекатывалось в лесном безмолвии.

Чуть свет, едва волоча ноги, он пришел в зимовье. На краю нар под пиджаком спал светлоголовый Ганька. На открытых губах узкой коричневой полоской застыла кровь. Обрадовался Василий. Присев на край нар, осторожно подложил руку под голову Ганьки, прижался губами к его темени:

— Подлец я, Ганька, такой подлец. Эх!

Но Ганька спал мертвым сном и ничего не слышал.

НЕНАВИСТЬ

1

На косогоре, среди вековых сосен, одна подле другой стоят три землянки. Крайняя с большим крестьянским окном — Кешки Чака. Вдоль косогора едва заметная дорожка. На на ней растет высокий папоротник. Пониже в густой траве — ключик. Покойно и бесстрастно, словно спят, стоят деревья. В их вершинах шепчет чуть слышный ветер. Внизу сыро, душно, пахнет лесным дурманом.

Что за косогором, в дремотных низовьях пади, вокруг страшного клочка земли, неведомо Усте. Стирает ли она или пошла к ключику, варит ли обед или собирает валежник вдоль пади, за ней следят злые, желтые, позимнему колючие глаза старухи Феклы.

— Куда ты? Я сама. Тебя вон ведь как разнесло. Смотри, вот-вот и разрешишься!

Бабка имела привычку легонько толкать, и эти толчки рождали лютую ненависть к ней. Фекла появилась в тайге вслед за приездом Усти. Кешка, видимо, на второй-третий день, мучимый ревностью, привез старуху. Устя знала только, как звать ее, больше о ней ничего не слышала. В длинной черной юбке, в суконном полушалке в июньскую пору, длинная и костлявая, как сама смерть, Фекла сидела на пеньке против землянки и зло пела:

— В писании сказано: придут антихристы на землю, начнут мечом да огнем сокрушать честных, вешать праведных, мучить невинных. И наступит час расплаты с ними, за грехи их страшенные. Будут жечь их, варваров, на костре, жарить мошенников на сковороде, коммунистов этих трижды тридцать три раза распроклятых.

При этом она покачивалась и обращала пытливый взгляд на Устю. Той надоедали нудные бабкины слова, и она перебивала:

— Перестань, старуха.

Она не хотела называть ее по имени. Фекла это чувствовала и мстительно шипела:

— А! Попалась коту в лапы, так молчи, птаха!

На минуту их взгляды встречались, и старуха пугалась Устиных глаз, полных презрения и лютой ненависти.

— Что шары-то выкатила? Не я твоя свекровка. Я научила бы тебя по одной половице ходить, бесстыдная.

— Провалилась бы ты!— кричала вслед Устя, когда старая карга подбирала тяжелую юбку и уходила в землянку. Без Чака старуха не отходила от Усти. Когда являлся муж, уходила в свою землянку. Приезжал Чак всегда трезвый, зазывал в свою землянку дружков, и они шумно пьянствовали несколько дней подряд. При этом старуха както молодела, жарила кур, пекла блины. Длинное костлявое ее тело бесшумно скользило в узкой землянке, седые волосы на висках свешивались, лицо светилось то ли радостью, то ли неприязнью — не поймешь.

— Кушайте сынки, горяченьких пирожков, кушайте.— И опять небольно тыкала Устю в спину и показывала на чашки, тарелки, ложки, что означало: подай, не видишь.

Маленький и узкогрудый Серега Тонский хватал гармонь и, не умея играть, рвал ее в руках. Хлопали смятые меха, неистово визжали медные голоса. Потом Серьга лез целоваться к Усте. Чак швырком отбрасывал его, напуганного и притихшего. Перед рассветом друзья уходили в «холостяцкую» землянку, старуха — в свою, Кешка оставался с Устей наедине.

— Отпусти, Иннокентий!— этой просьбой Устя при каждой встрече с мужем начинала разговор. К ее удивлению, на этот раз Чак не стал уговаривать, сказав:

— Скоро дома будешь.

Кешка произнес эти слова спокойно, смотря в широкое окно, за которым занималось утро.

— Да когда скоро-то? Я бы дома и родила с бабкой Груней.

— А Фекла на что?

— Я ее задушу, не допущу до себя.

Кешка хохотал. Устя замечала, что и смех Кешки был невеселым. Он много молчал, много пил, но не бушевал. На ее вопросы отвечал охотно, но не вдаваясь в подробности. Все же Устя узнала, что отряд Федора Шульги отбивался геройски, потерял трех бойцов, а хлеба бандитам не отдал.

— Молодец, Федор,— сказала тогда Устя. Кешка за эти слова чуть не избил ее.

Узнала она также и о том, что в своей деревне Чак бывал не один раз. О коммунарах говорил он злобно, грозя карами, которые их ожидают.

— За землю отцову! За Ваньку Филонова, за хлеб я их всех перевешаю на одной сосне,— заявлял Чак, и оттого, как щурил в злобе глаза, как собирал вокруг рта глубокие морщины, Устя верила, что он это сделает.

— И меня с ними заодно,— в тон ему говорила она.

— А тебя задушу, когда сам себе пулю приготовлю.

— Ты — себе! Да ты трус, ты в лесу все хоронишься. Где же тебе до пули. Эх!— брезгливо говорила Устя и отвертывалась от мужа.

А Кешка опять невесело хохотал. Устя замечала — каждое ее резкое слово немедленно завершалось этим трескучим коротким смехом.

— Видно, Федор Шульга вон как крепко вам почесал ребра. Герои вы на баб да на детей.

— Молчи!

Иного разговора между ними теперь не было, а при каждой новой встрече опять повторялось неизменно:

— Отпусти, Иннокентий!

Как ей выбраться из бандитского логова, из этой проклятой тайги? Как? Много дней и ночей Устя ломала голову над этим, так ничего и не придумала. Она выходила из землянки и, замерев, чутко прислушивалась к глухим лесным шумам. Вот коршун высоко поднялся над лесом и начал делать круги.

Дай мне, боже, крылья коршуна, чтобы улететь из этого варначьего гнезда, увидеть родимую деревню, милую Ангару. Однажды над лесом пролетел табунок уток. Блеснув белыми грудками, они вдруг стали снижаться, да так и исчезли за соснами, словно упали. «Видать, озеро недалеко»,— решила Устя. А дня через два за землянками в траве увидела шест и весла. Это открытие так ее обрадовало, что все следующее тихое и ясное утро она чутко прислушивалась, не прилетит ли из пади какой-нибудь случайный звук с Ангары, а что река где-то недалеко, она теперь знала наверняка. Неясная надежда охватила ее душу. Устя искала предлога заговорить об Ангаре. И как-то обратилась к Фекле:

— Белье бы пополоскать в реке. В ключе не прополощешь.

— Откуда, девка, здесь река. Что ты, бог с тобой?

И по тому, как старуха насторожилась, как она усердно возразила, Устя была уверена, что Ангара близка. Она там, где-то внизу, куда улетели утки.

«Бежать!»— родилось отчаянное решение, и с этой целью от ключа до землянки она пробежала бегом. Старуха удивленно посмотрела ей вслед, а сама Устя, бледная и задохнувшаяся, упала на кровать и, схватившись за живот, застонала:

— Нет, нельзя бежать,— горько ответила себе.

Однажды Серега Тонский подсел к ней и сказал:

— Судили твоего братца-то.

Устя вздрогнула. Спицы с крохотным чулком упали на колени.

— Три года дали. А надо бы расстрелять. За кровного моего дружка надо бы его смерти предать. Да куда попрешь: власть-то коммунистов, ваша,— и Серьга хитро подмигнул.

Устя отвернулась и молчала.

— А та гадюка-то безногая так расписала в гумаге про Ваньку, что ай да ну: и бандит, и кулак, и вор с большой дороги, а Петра вашего как святого представили.

— А ты откуда знаешь?— холодно спросила Устя.

— А я там был, дорогуша. Важно, вот этак сидел в зале суда, только глаз один завязал да усики коротенькие сделал, х! Братуха-то твой — герой. Я, говорит, контру уничтожил. Я, говорит, всей грудью за новую власть. Такой герой, что мне от души хотелось, чтобы его оправдали.

Устя косо посмотрела на Серьгу, а тот опять подмигнул:

— Не веришь. От души! Его на три года упрятали. Стало быть, жить будет. А как оправдали бы — пиши капут через недельку. Вот этим бы ножом горло перерезал.

И, вытащив из-за голенища нож, Серьга поиграл им, ловко бросал его в воздух и подхватывал за ручку.

— А теперь вся злоба наша на коммуну, на гада этого безногого.

— Да где она, коммуна-то? Поди до нее отсюда сто верст!— спросила Устя, но ее хитрость разгадал Серьга.

— Мы и за сто верст достанем. А ты не пытай. Бежать все равно не удастся. Яринская порода! Большевистская сестра милосердия! Не Кешка бы, так... И у отца твоего дом цел, а почему? Тоже Кешка. Он, сволочь, опекает да сберегает вас. Любит, видишь ли, по гроб жизни. А кого? Ха, ха, большевичку, красную. Вот это любовь! Хоть бы скорее очухался.

— А если я передам мужу?

— Не передашь.

И Серьга опять поиграл ножом.

2

Устя ничего не сказала Кешке, но уши его, видно, умели далеко слышать. Этим вечером в зимовье Кешки разыгралась драка. Совершенно трезвый, он позвал к себе Серьгу и, ничего не говоря, ловким ударом сшиб его с ног. Тот стукнулся об угол печки и расшиб себе голову. Старуха вывела его на улицу, промыла голову, а Кешка приказал зайти к нему вновь. Бледная Устя убежала в землянку старухи. Осмотрев Серьгу, Кешка поучительно сказал:

— Это тебе за лишние слова. Разболтался шибко.

— Устя передала?— держась за голову, спросил тот.

— На Устю не греши: у меня и понадежнее уши есть. А если еще болтать будешь — будет и другой разговор.

Серьга хотел что-то сказать, но прибежала старуха и шепнула на ухо Кешке, и оба они, толкаясь в дверях, выскочили наружу. Устя лежала на кровати в старухиной землянке. Бледная и потная, она чуть слышным голосом сказала:

— Ушли ее, Кена. Не надо ее.

— Дак как же, Устяша? Одной-то?..

— Не надо. Ушли. Ты останься, — сказала Устя и в изнеможении отвернулась к стенке.

Кешка махнул на старуху рукой, и та, скривив провалившиеся губы и пожав плечами, вышла.

— Эх! Родишь, знать? Как же это, а?

Кешка суетился, не зная, что делать. Ему казалось, что и с ним что-то неладное делается. В горле было тесно, будто его душило. Он схватил чугунок и поставил его в печь. Зачем-то принес чистое полотенце, повесил на спинку кровати и налил в таз воды, стремглав выскочил и принес беремя дров.

— Выдь на минуту, Кена, выдь.

Кешка выскочил за дверь и, не отпуская скобы, топтался на месте. И вдруг он услышал высокий и слабенький чей-то голос, потом еще и еще. Кешка рванул дверь за скобу и подбежал к кровати. Рядом с Устей лежало крохотное красненькое тело ребенка.

Кешка осторожно поцеловал жену, а ребенка завернул в полотенце и вынес наружу.

— А плакать-то зачем? Радоваться надо,— сказала старуха, принимая ребенка и косо глядя на Чака.

— Да ведь я не плачу, это я... вспотел,— ответил Кешка и смахнул слезы. Он вымыл землянку, вынул свежую простыню и, надев наволочку и постлав дорогой ковер на пол, прибежал к Усте. Она глядела на него безучастно. Кешка быстро подсунул под Устю руку, легко поднял ее. Она обвила его шею холодными потными руками, отвернув голову, а когда он опустил ее на постель, глубоко вздохнув, сказала:

— Эх, Иннокентий!

Эти дни Кешка не отлучался от Усти. Он сколотил зыбку, подшил мешковину, приделал очеп. Сходил в лес и набрал Усте первой земляники. Вспоминал хорошие имена, чтобы назвать дочь.

— Давай назовем Таней, как бабушка,— радостно советовал Кешка.

Устя равнодушно отвечала:

— Ладно. Назовем Таней.

В другой раз предлагал:

— А если назвать Верой? Как у попа?

— Зови Верой. Ничего,— соглашалась она.

— Да ты что, Устя? Будто она не твоя!

Устя смотрела на мужа равнодушно и холодно. Кешка находил в дочери черты матери, радостно открывал их Усте; она была и к этому безразлична.

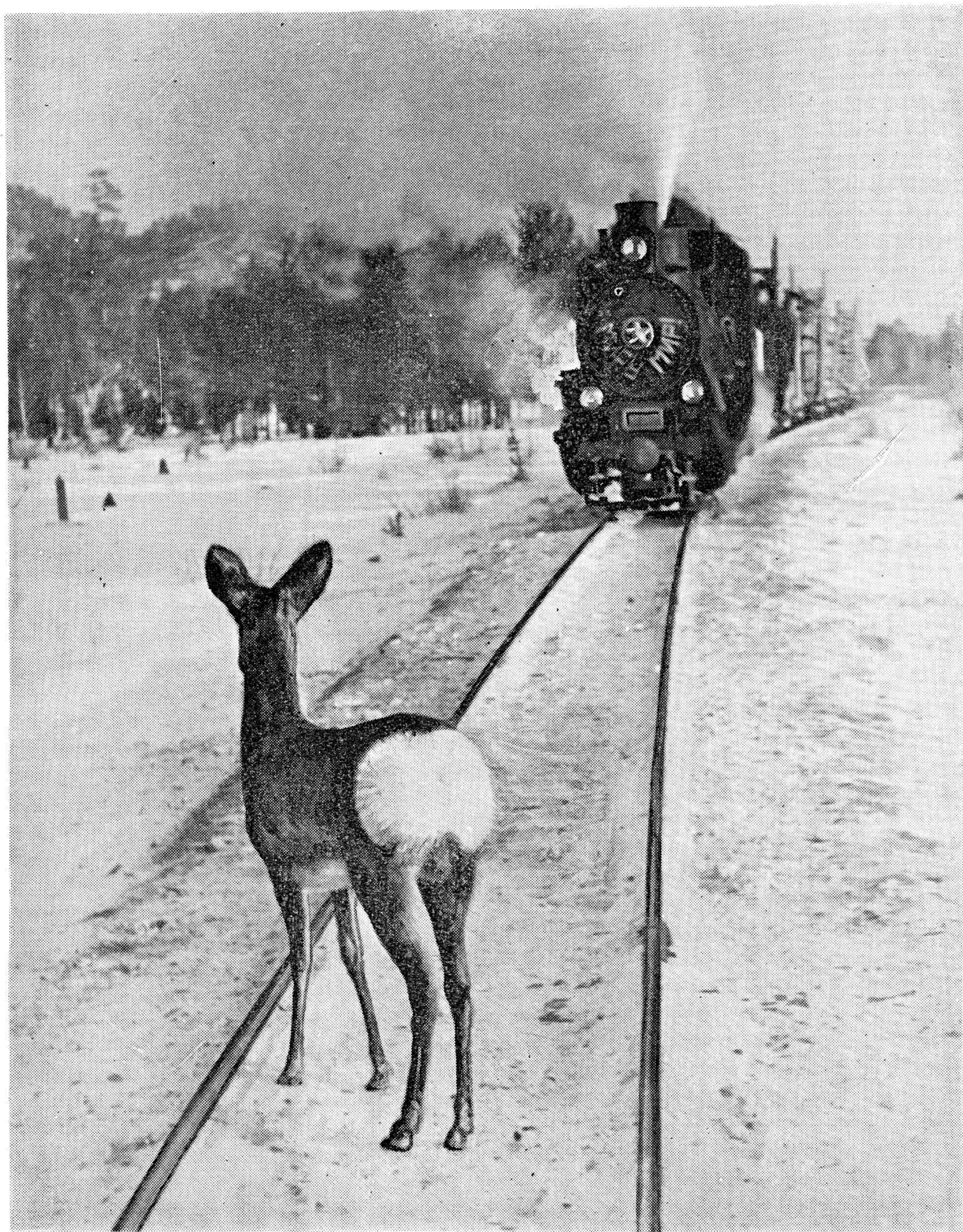
Но прошел еще день-другой, и Устя не сводила с дочери глаз, не давала покою маленькой Тане, без конца разговаривала с ней, бесчетно целовала всю ее с глаз до пяток. Но это все без Кешки. С ним она не говорила о ребенке, не разрешала подходить к дочери и дотрагиваться. Раз Кешка в окошко увидел, как Устя, покачивая зыбку, пела Тане свои любимые частушки, только не весело, а печально. Он не утерпел и тихо открыл дверь. Устя вздрогнула, оборвала песню.

— Пой, Утя, пой!



В ПРИАНГАРСКОЙ ТАЙГЕ

Фото М. Минеева.



РАЗБУЖЕННАЯ ТАЙГА.

Фото М. Минеева.

Но Устя взглянула на мужа знакомым ему холодным взглядом, уронила голову в зыбку и зарыдала.

— Зачем ты, крошка, родилась на свет! О, о!— плакала она, а Кешка глядел на нее и не знал, что делать.

— Умерла бы ты, покинула бы этот свет. Развязала бы мои рученьки! О, о!— причитала Устя.— Отпусти ты нас, Иннокентий!

— В жизнь не отпущу никуда. Жить без тебя не могу, Устя,— со стоном произнес Кешка и выбежал на улицу.

Однажды перед самым рассветом в землянку вошел запыленный и усталый Серьга Тонский. Он сел к столу и попросил стакан самогонки. Кешка подал ему и велел рассказывать. Тот кивнул на Устю. Кешка махнул рукой, что значило: говори, спит.

— Приказ такой, Кеха: громить коммуну, чтобы и праху от нее не осталось, вот.

— Это мы и без них знаем. Да всему черед.

— Немедля, говорят, чтобы пустое место от Каштака осталось. Говорят, скоро конец советской власти, какие-то чехи города берут.

Устя не спала. Затаив дыхание, она прислушивалась к каждому слову. Ее охватил ужас: «Погибнут люди, которые нашли свою правду! Растопчут их радость... Чем они виноваты?»

Серьга ушел, и Устя не могла уснуть всю ночь. Она хотела помочь коммунарам и не знала, как это сделать. Весь следующий день плакала, не ела, а еще через день, изумленная, обнаружила, что у нее молока нет, пропало. Ребенок тянулся к груди, жадно впивался в нее, чмокал губами, открывая розовый ротик, и ревел, ревел...

Кешка испуганно смотрел на дочь, потом, как-то дико взвизгнув, вскочил на коня. Вернулся он только перед утром, поставив на стол четыре фляжки молока.

— Пои! Пои! А то умрет ведь!

Голодный ребенок жадно набросился на молоко, но оно пошло не впрок, открылся понос, а через три дня на столе стоял маленький гробик. Кешка плакал, рвал на себе волосы, в ужасе смотрел на Устю, которая не проронила ни слезы. Худая, с острыми локтями, она сухими тонкими пальцами укладывала в гробик живые лесные цветы, отрешенно блестели ее глаза в темных кругах. Устя сама выбрала место под огромным кедром, на взлобке, повыше землянок, сама вырыла могилку.

— Вот все, Иннокентий,— сказала Устя, когда под деревом вырос маленький холмик.— Отпусти меня, не жить нам больше с тобой.

Кешка плакал и не сразу ответил на просьбу Усти. Потом надрывно, сквозь слезы, грозя черным пальцем, закричал:

— Это ты ее сгубила! Нарочно сгубила! Чтоб не жить. А!— и уткнулся расслабленный в могилку, а Устя смотрела куда-то вдаль, в тесные просветы между высоких елей и кедров.

Несколько дней подряд Устя не брала в рот ничего. Она только ходила около землянки. Кешка велел присматривать, как бы чего она не сделала с собой, и старуха не спускала с нее глаз.

— На, на, поешь вот крупитчатых блинов. Ну, пирожков мясных горячих,— упрашивал ее Кешка, но Устя качала головой и ни к чему не притрагивалась.

Раз она сказала:

— Я бы земляники поела.

Кешка хотел было бежать в лес, но Устя его остановила.

— Одну не пустишь — со старухой пусти, сама хочу побрать.

Думая, что на Устю нашло какое-то просветление, Кешка крикнул старуху, и через несколько минут с туесками в руках они отошли от землянок.

— Часа на два, не больше. Чтобы к вечеру быть здесь. Слышь, Фекла?— напутствовал Кешка.

Сквозь темные стволы деревьев Устя увидела свежий крест. «Прощай, Таня, крошка моя!»— прошептала про себя Устя и оглянулась еще несколько раз, пока стена деревьев не загородила от нее родную могилку.

— Тут сыро, лес густой, тут нет земляники. А пойдем-ка вон туда, на релочку,— бормотала старуха, кланяясь при каждом шаге своим истощенным длинным телом. Новые и добрые ичиги хлюпали на ее костистых ногах, юбка заплеталась в коленях. Устя обогнала Феклу. Из болотистого места они вышли на высокое, сухое. Здесь лесу было меньше, трава гуще, и в ней алыми крапинками виднелись ягоды.

— Ну, дальше не пойдем, собирай тут,— сказала старуха.

— Вон там ягод еще больше,— ответила Устя и все шла крупным и твердым шагом. Старуха едва поспевала за ней. Наконец запыхавшаяся Фекла крикнула:

— Устя, подожди-ка меня. Ягоды под ногами. Куда прешься?

Устя остановилась. Едва переводя дыхание, подошла к ней старуха и обеими руками цепко ухватилась за платье.

— Ты что? Не удумала ли чего? Боже упаси!

Руки ее дрожали. Устя резким движением оторвала их от себя.

— Молись богу, Фекла, что живой тебя оставлю,— тихо и властно сказала Устя.

Она поставила старуху спиной к сосенке, выхватила из-под фартука веревочку и связала ее руки за стволом. Потом сняла со своей головы платок и завязала глаза.

— А кричать будешь — рот травой набью,— прибавила Устя и быстрым шагом пошла прочь. Релка закончилась. Устя оглянулась, старуха стояла у сосны, как замерла. Устя перекрестилась и стремглав бросилась под уклон. Легкое худое тело ее перепархивало через валежник и пни. Косы расплелись и хлестали по плечам и спине. Вязки на чулках оборвались, и чулки сползли к чиркам — она ничего не замечала. Она чуяла сердцем, всем своим существом, что впереди Ангара. И когда перед ней вырос огромный лесной валун-камень, привалилась к нему и, хоть не видно было реки, сказала себе: «Вот она, Ангара, вот она, матушка»,— и пошла шагом, каждую минуту надеясь встретиться с родной рекой.

Неожиданно расступился лес. Открылось широкое синее небо. Еще несколько шагов — и под крутой, почти отвесной горой голубая Ангара. Это была она. Не те острова, не те протоки, все было незнакомое, но родное. Как мальчишка, карабкаясь, цепляясь и сопя, Устя спустилась в распадок и по нему вышла к берегу. Чистая, как стеклышко, вода быстрыми струями пробегала у ее ног. Она поплескала рукой на грудь, потом стала на колени и прижалась губами к журчащей струе. Устя пила долго, не отрываясь, переводила дыхание и опять пила. Затем умылась и, тревожно оглянувшись, решительно пошагала по каменистому берегу, твердо веря, что там, где-то впереди, милый Каштак, родные люди, коммуна.

ПЕРВЫЕ СХВАТКИ

1

О белогвардейском восстании в городе скоро узнала вся тюрьма. Кого выпустят, кого оставят? Почему-то решили, что уголовников, в камере которых сидел Петр. Заключенные дружно потешались над маленьким, щупленьким, в очках человеком, который называл себя анархистом и бог знает, как попал в эту камеру.

— Ты один в камере останешься догнивать,— говорили ему,— да вот еще Петьку Ярина тебе для удовольствия. Ты будешь речи говорить, а он слушать. Ха-ха! Хо!..

Исступленно, словно помешанный, не слыша оскорблений и насмешек, тот горячо орал, вызывая смех и удивление.

— Государство, власть, законы порождают капитал. Убери всякую власть — и капитал рухнет, а вместе с этим рухнет тюрьма как институт власти.

— Это что-о, воров не будет? Хо, хо, хо!— смеялись вокруг.

— Социализм — великая идея, но он строится не на насилии, а благодаря мудрому договору людей. Коммунисты за социализм — я сам с ними, коммунисты за советскую власть — я против них.

Петру был чужд преступный мир камеры. Нужна была хоть какая-нибудь пища его пытливому, жадному уму.

— Свобода! А что такое свобода. Свобода — это я! Не связывай меня властью, законами — и я совершу чудеса,— кричал анархист и сжимался, ожидая сзади крепкого тумака. Хорошо, что поднимался Петр и устрашающе шевелил своими сильными плечами.

— Погоди, я убил человека, значит, я как-то прав?— впивался в него глазами Петр, сдавливая в крепкой руке локоть оратора, мешая ему размахивать.

— Постой,— прервал его тот.— А во имя чего это совершено? Ага! Во имя социализма и свободы — так бей врага на каждом перекрестке,— и сухонькая рука опять задергалась в воздухе.

Рано утром в камеру вошел офицер с тюремщиками.

— Читай список,— приказал он одному.

Очкастый сидел на нарах и вызывающе смотрел на офицера.

— Анархист?— спросил его офицер.

— Да,— отрубил тот.

— Выпустить.

Как и ожидали, белогвардейцы выпустили из тюрьмы почти всех уголовников. Прощаясь с Петром, анархист советовал ему:

— Вступай в наш боевой отряд воинствующих борцов за свободу. Не пожалеешь!

...Дома Петр застал только мать с Витькой.

— Новая власть выпустила меня из тюрьмы.

— Какая опять новая?— спросила мать.

— Да буржуйская, офицерская. Не пойму я, мама. Я за советскую власть, а она меня сажает в тюрьму, я против буржуйской власти, а она меня освобождает. Святая анархия,— употребил новое слово сын.

В Каштаке Петр обошел все семьи коммунаров, подивился молотилке-восьмизубке,

как у Трохи, новенькой. Он же первый принес известие о новой власти в городе. Ветлов нахмурился.

— Плохи наши дела, да. Тебя что, оправдали или как?

— Новая власть выпустила. Да что теперь власть! Я в тюрьме с человеком одним встретился. Он говорит, всякая власть нашему делу помеха. Вот, к примеру, вы строите коммуну, великое дело. Я тоже вступлю, если возьмете. А что вам до власти? Власть за вас пахать не станет. Для вашего дела нужна свобода. Так ведь?

— А какая такая свобода?— заинтересовался Ветлов.

— А така: что хочу, то и делаю!

— Во-о-он оно что!— разглядывая Петра, протяжно сказал Ветлов.— Ну, тогда лезь на небо, если хошь, а мы пахать землю будем. Мы по доброй воле, нищие, собрались, и спасибо за то нашей советской власти. А другой власти не знаем, не признаем. Все они буржуйские. Так и знай.

А на поле, присев на отдых у пеньков, Василий спрашивал сына:

— Это как понимать надо твою слободу, сынок?

— Жить, значит, без власти,— пояснял сын,— свобода, значит, до самой что ни на есть точки. Полная!

— А жечь крестьянские избы, пороть детишек, грабить по дорогам, как делает Кешка, твоя свобода тоже позволяет? Что-то не так, сынок.

— Честный человек не позволит этого.

— А бесчестный? Тот может все делать? Нет, брат, власть нужна, а какая — выбирай.

— Ладно, тятя... Мне один человек в тюрьме такое говорил! Да только мне власть не власть, а порядок большевистский по душе.

Скоро пришло новое известие из города — отстояли большевики свою власть. Но радость коммунаров была не долгая: чехи забирали города сибирские. «Не до меня теперь советской власти»,— думал Петр. Однако советская власть не забыла о нем. Однажды на поле прибежал испуганный Ганька и в великом волнении сообщил, что к зимовью приехали верховые и спрашивают, где Петр.

— Хотят обратно посадить в тюрьму! Нет, дорогая советская власть. Не для того я за тебя страдал, чтобы ты меня в тюрьме держала. Давай-ка, Ганька, вставай за плуг, а я спущусь в Едан. Вечером пришли мне деньжка на три еды.

Верховые больше не приезжали. Петр отсидел три дня в выселках, чуть не умер от тоски и, не выдержав, прибежал к Ветлову.

— Что мне делать, дядя Ваня?— обратился он к нему.

— Давай-ка бросай лес, а то на нож или пулю Кешкину нарвешься. А иди-ка в город, вступай добровольцем в Красную Армию. Чехи Ново-Николаевск взяли, Омск, а с другого конца Владивосток в их руках.

Петр попрощался с коммунарами, с отцом и братьями в Каштаке. В Подкаменное не зашел, не стал бередить сердце матери, не заглянул и к Вере. Охота ли учительнице смотреть на беглого арестанта. Всю ночь прошагал по Александровскому тракту, а с рассветом был в городе. В синей рубахе в полоску, с ремнем через плечо Петр шатался по многолюдному базару. Фыркали кони, жуя свежую траву, хлопотали у возов урицкие, грановские, олхинские мужики. «Есть ли наши, подкаменские?»— подумал Петр, а уж на него злым прищуром уставился Прокоп Филонов, отец зарезанного Ваньки. Нырнул Петр в толпу, воровато оглянулся, сзади услышал бабий голос:

— Жуликов этих расплодилось, боже упаси!

С ларьков со звоном падали болты, открывались окна. Из них выглядывали сонные и вялые лица торгашей. Из окна, выставив жирную в несколько подбородков образину, сиповатым и пропойным голосом спрашивал сосед соседа:

— Ну, Тихон Лаврентьич, не знаешь, какая нынче власть?

Тихон Лаврентьич сбычил шею, вопросительно поднял брови, безразличными глазами поморгал и ответил:

— А знаешь цыганскую приговорку: «Какая бы власть ни была, лишь бы конный базар был». А нам лишь бы с барышом остаться.

Мордастый торгаш, не дослушав, сиповато запел:

— Сера есть, орешки есть, паточка, сахарок, гм, имеется. Тебе чего?— уставился он на Петра.

— Мне ничего,— ответил тот.

— Ну и проваливай.

На Пестеревской улице Ярин встретил «однокашника» по камере.

— Петр Ярин! Да ты, братец, не в тюрьме?

На знакомце сильно поношенная матросская куртка, старая офицерская фуражка. Поле ее с боков пришито к околышу белыми нитками. Из-под фуражки буйно вырывается черный чуб. К ремню пристегнута пустая кобура. Парень фертом встал перед Петром.

— Не узнаешь? Ну, Ярин, ты, видать, отстал от жизни. Да я же в анархистах теперь хожу. Ха, ха, ха! Доброволец воинствующего сброда. Не зря та черномазая блошка прыгала у нас в камере. Ха, ха, ха! А ты? Ты же его слушал с открытым ртом. Марш-ка к нам.

Петр было хотел что-то сказать парню, но тот подхватил его под руку, и через десять минут они были уже в казарме. Скоро на Петре красовалась матросская бескозырка, френч и неизменная, как у многих, пустая кобура.

— Ты теперь свободная личность,— хохотал дружок, хлопая Петра по плечу.— А теперь, брат, слушай: куда-то нас собираются турнуть, слышал? Чехи Красноярск захватили. Не против ли них?

— Ну и поедешь?— спросил Петр.

— Кормят, одевают! Чего же надо! А воевать? Там видно будет.

2

Почти каждый день приходили известия о контрреволюционных мятежах, о падении советской власти то в одном, то в другом городе Сибири, установлении чешско-белогвардейского режима. Но еще в огромном крае от Канска до Читы держалась советская власть. Центральные органы ее были в Иркутске. Ультиматум за ультиматумом посылали чехи иркутским большевикам, требуя беспрепятственного пропуска их эшелонов на восток. Но здесь хорошо понимали, что впустить вооруженных чехов в город — значит капитулировать и без борьбы передать власть в руки контрреволюционеров, которые после недавнего поражения зашевелились опять. Белогвардейцы как гостей ждали чехов, клеветали в листовках на большевиков, запугивали мирное население неминуемой карой, прятали в тайных складах оружие.

Чтобы договориться о мирном следовании чешских эшелонов на восток, иркутские большевики послали к чехам в Красноярск своих парламентеров и, не теряя времени, готовили оборону. В Нижнеудинск были направлены регулярные части молодой Красной Армии, курсанты школы инструкторов, наскоро сколоченные отряды добровольцев, интернационалисты.

В эти тревожные дни в Иркутск прибыл эшелон чехов. Центросибирь — орган советской власти в Сибири — потребовала немедленного их разоружения и лишь после этого согласилась пропустить поезд за Байкал. Командование чехов, поддержанное белогвардейцами, решительно отказалось от разоружения. Чехи стали вмешиваться в дела советских органов, а на станции Иннокентьевская совершили жестокую расправу над рабочими, что возмутило население и вызвало ненависть к незваным гостям.

По соседству с Федором Шульгой жил скромный конторщик депо по фамилии Шпачек, чех по национальности. Рабочие депо уважали этого человека за деловитость, аккуратность, за смелые выступления в защиту рабочих. Они замечали, как он бережно относился к каждой копейке рабочего и, как грамотного своего человека, выбрали его народным судьей. Шпачек порученную работу выполнял честно. Он часто отчитывался перед рабочими в своих делах, прислушивался к советам избирателей, разоблачал и сурово судил спекулянтов, саботажников. Когда чешскому коменданту станции попала жалоба от торгашей на действия большевистского судьи, он прежде всего спросил:

— Шпачек? Он русский?

— Нет, он чех,— ответили ему.

Комендант заинтересовался и решил вызвать к себе Шпачека, но тот сам пришел.

— Зачем, господин офицер, избиваете наших людей,— взволнованно заговорил он на чешском языке.

— А вы кто?— спросил офицер.

— Я — народный судья Шпачек.

— Шпачек? Гм... Кто избивает? Говорите?

— Вчера шомполами избили машиниста Никитина, сегодня он умер. Рабочие возмущены. Они послали к вам меня.

— Он чешское оружие прятал,— резко ответил комендант.— Вы пленный чех?— неожиданно спросил он.

— Да.

— Вас судить будем. За измену Родине судить. Понятно? Судья!

Шпачека заперли в пустой вагон, и там он просидел несколько дней. Рабочие не дремали. Они подкупили стражу, но судья решительно отказался бежать и сказал:

— Пусть судят. Нет у них прав засудить меня. Я честно работал.

Бедный судья ошибся в справедливости своих соотечественников. Когда его привели к коменданту и тот сказал, что судить будут сами граждане поселка, Шпачек возразил, догадываясь, кто эти судьи.

— Я чешский гражданин. Меня русский суд не может судить.

— Ну, тогда проще. Мы тебя будем судить законом чешского государства.

А на утро солдаты чехи сняли с паровоза сигнальную веревку, увели Шпачека в сосно-

вую рощу и под незнакомую людям музыку повесили.

Расправа чехов над рабочими и судьей до глубины души возмутила все население поселка. Пошли слухи, что в вагонах чехов скрываются белогвардейцы, вооруженные чешским оружием. Рабочие требовали выдать их. На станцию были направлены отряды интернационалистов и железнодорожников разоружить эшелон, изгнать белогвардейцев. Белочехи на попытку разоружить их ответили огнем из винтовок. Тогда со стороны красногвардейцев заработали два пулемета, поставленные на крыше вокзала. Кровавая схватка, унесшая несколько десятков жизней с той и с другой стороны, кончилась тем, что чехи были разоружены и вытолкнуты на восток. Командующий чешской группой в Сибири Гайда и белогвардеец Ушаков сорвали переговоры о перемирии и дали команду открыть огонь против частей Красной Армии. Оставался один выход — война при самых неблагоприятных условиях: без помощи Центра, при недостатке оружия, боеприпасов, продовольствия, а главное — при огромном перевесе сил со стороны чехов и белогвардейцев.

3

Алексей Чуб уже три раза пропустил военные занятия. То придет с паровоза ночью, то в полдень. Этот раз он вернулся с поездки, когда над поселком ревел деповский гудок. Алексей прибежал домой, наскоро умылся — и за винтовку.

— А поесть-то, Алеша?— забеспокоилась мать Федора.

— Некогда, тетя Настя. Потом.

На площади, к удивлению Алексея, отряд был в полном составе. Перед строем стоял Федор.

— Слушайте еще раз,— громко говорил он,— пару белья, ложку, кружку, на два дня пищи. К часу ночи, без опоздания. Всем ясно.

— Ясно,— нестройно пронеслось по рядам.

Федор и Алексей домой возвращались вместе. Шли молча, и, лишь когда перешли виадук, Алексей сказал:

— Значит, опять воевать?

— Опять,— коротко, о чем-то своем думая, ответил Федор.

Чем больше они жили вместе, тем крепче Алексей привязывался к товарищу. Обращался к нему со всякими недоуменными вопросами, и Федор, как мог, объяснял или подсовывал книгу. Вот и теперь непонятно Алексею, почему нельзя пропустить чехов. Ведь прошло немало эшелонов с ними. Он сам их возил, и все было ничего. Пусть бы пробирались во Владивосток и уплывали восвояси, как договорились с нашим правительством, и не путались бы в ногах, не мешали бы.

— Во-во! Они путаются в наших ногах. Они вмешиваются в нашу внутреннюю жизнь. И все это неспроста, Алеша. Ленин от чистого сердца заключил с ними договор, а они с белыми договорились и сами стали врагами.

— Ну, а с врагами драться будем,— твердо сказал Алексей.

...До ночи Федор был занят заботами по снаряжению отряда. Алексей вычистил свою винтовку, Федин наган, подбил сапоги себе и дружку.

В час ночи весь отряд был в сборе. Черной длинной тенью подошел эшелон. Девушки прощались с парнями и, не стесняясь, целовали их. К груди женатых припадали молодки и тихо плакали. Пожилые успокаивали хозяек:

— Ничего, старая, не случится. Не впервой.

— Эй, не мешай спать! Отряд воинствующих борцов за свободу лег почивать!— послышалось из первого вагона.

— А наши вагоны какие?— спросил кто-то из железнодорожников.

— Второй и третий. Рядом с воинствующими борцами.

— Ого! Веселое соседство.

Железнодорожники бесшумно погрузились, и эшелон скрылся в ночной тьме.

Утром на одной из станций Чуб увидел Петра. Обрадованные, они пожимали друг другу руки, обнимались.

— На чехов?

— На них.

— А где твой отряд размещается?

— А вон, в первом вагоне.

Чуб знал теперь, кто такие анархисты, и не поверил, чтобы Петр был в их отряде.

— Ты же ведь в большевиках был, как же это? Что с тобой?

— Не учи, Алексей, я сам понимаю, с кем надо мне быть. Вы с Федором вон за власть рабочих деретесь, а об крестьянах забыли. Анархисты только именем своим пугают, а они тоже имеют идею. Им народную всеобщую свободу надо — вот. Значит, и крестьянскую свободу. Это как раз по мне. А что коммунист я, так я другому скулу сворочу, кто пойдет против коммуны.

Анархисты вели себя беспокойно. Из их вагона слышалась брань, без конца пиликала гармонь и грохали каблуки по полу.

На одной станции к их вагону подбежала старуха, она кричала истошным голосом:

— Сюда подлец шмыгнул, сюда. Пришел окаянный молочка попить, а сам с вешалки схватил шинелку и удрал.

— Нет, бабуся, здесь такового. Мы не позволяем разных гадостев. Мы воевать едем, а не грабить честных людей,— ответил их командир.

Еще раз встретившись с Петром, Чуб съязвил:

— Ничего себе, компания в твоем вагоне! Какие-то одни вертопрахи. Ты не залез еще ни к кому в карман?

— Отвяжись,— процедил Петр.

Ему, как и Алексею, не по душе были лихачество сослуживцев, заносчивость и неприкрытое хулиганство.

Однажды отрядник из одного с ним отделения принес к вагону живую курицу, пойманную за станцией. Он пьяно лаялся, размахивая курицей. Она кудахтала, растопырив крылья. Петр подошел к мародеру.

— Отпусти ее,— резко потребовал он.

— Ка-во!— заорал тот, пуча глаза.— Да я на фронт еду, и чтобы мне курятинкой не побаловаться? Изыди!

Но Петр с такой силой завернул ему руку за спину, что тот взвыл, отпустил курицу и испуганно посмотрел на парня.

4

Когда эшелон с отрядом железнодорожников и других частей Красной Армии подошел к Нижнеудинску, стало известно, что город захвачен белыми. Восточнее его на протяжении нескольких километров справа и слева от полотна железной дороги красногвардейцы спешно готовились к обороне. Река узкой полосой извивалась перед самыми окопами. Повсюду сверкали лопаты, стучали топоры, слышались команды. Паровоз на двух площадках подвозил шпалы. Бойцы с шумом сбрасывали под откос плахи, таскали их на плечах, подвозили на лошадях к траншеям.

Федору достался участок у самого моста. Слева окапывался отряд интернационалистов, чему Федор от души порадовался. Но его огорчило, когда он узнал, что справа от него окапываются анархисты. Их участок был уж не так ответственен, но Федор боялся дурного влияния анархистов на бойцов своего отряда.

На другой день утром чехи начали наступление. Они продвигались по обе стороны железной дороги. С крутого берега Петру были видны и маленький поселочек среди лугов, и бегущие вереницей телеграфные столбы, и картофельные огороды, перегороженные друг от друга жердями, и дорога, которая вилась среди них, и одиночные фигуры вражеских солдат, которые то падали, то бежали, то оставались лежать без движения. Часто-часто гремели выстрелы.

Сосед Петра утвердительно сказал:

— На нас не пойдут.

— Почему?— спросил Петро, обрадовавшись.

— Нашу гору на ироплане не перелетишь,— спокойно ответил тот.

Раздался первый пушечный выстрел — тотчас за мостом против интернационалистов вырос столб дыма. Наши на выстрел чехов ответили огнем из двух пушек.

Одновременно заработали сразу несколько пулеметов железнодорожников и интернационалистов. Беспорядочно захлопали винтовки, и продолжительное «ура» послышалось у моста. Петр видел, как от реки бросились вперед красноармейцы, как словно ветер подул в другую сторону, относило назад зеленые цепи чехов, как вновь и вновь вспыхивало «ура». Враг не выдерживал натиска и отходил.

В это время Петра кто-то сзади дернул. Он повернулся и увидел испуганные глаза соседа.

— Слышь, что говорят-то, парень. Нас обошли, обходят, слышь...

— Как обошли? Ты видишь, наши уже в поселок врываются.

— Соседнюю станцию за нашими плечами чехи захватили. Слышишь?— солдат отскочил назад и закричал: — Братишки! Окружили нас. Тикай, братишечки!

По ту и другую сторону моста шло наступление красных бойцов, и Петр никак не мог понять выкрика «обошли». Где, кто обошел? Когда он оглянулся, соседа в ровике уже не было. Не было стрелка и слева. Посмотрев назад, Петр увидел страшное: анархисты в беспорядке покидали участок обороны. Догнать их еще было можно, и Петр со всех ног бросился в распадок, по которому бежал разрозненно отряд.

— Стойте! Остановитесь. Это ложь, что обошли!— кричал кто-то сзади, но Ярин только прибавил бегу и вдруг неожиданно оказался в чьих-то цепких и сильных руках. Это схватил его Чуб. Он был без шапки. Волосы у него на голове растрепались. Алексей выхватил винтовку из рук Петра.

— Бежать, гадина! Нна! Вот тебе! Нна!

Чуб бил по лицу Петра своим увесистым кулаком. Тот даже руки не поднял и стонал глухим, сдавленным голосом:

— Бей меня, Алешка, бей гада!

— Хватит на этот раз. Иди! — и Чуб подтолкнул прикладом Петра.

— Винтовку отдай, Алешка. Отдай, говорю, а? Слышь, отдай, — опустив голову, умолял Петр.

— Иди, иди.

— Позор мне, Алешка. Отдай, говорю, отдай.

И Петр повернулся к Чубу, скрестив на груди руки. Глаза, вспухнувшие от ударов, сверкали, из носа текла кровь.

— Отдай, говорю, а! Отдай!

— Не отдам, — решительно сказал Чуб.

Петр рванул на себе рубаху, она разлетелась до самого ремня. Он упал на колени.

— Стреляй меня тут — я никуда не пойду. Стреляй!

Алешка медленно снял с плеча винтовку, презрительно сощурив глаза, бросил ее на землю и, не оглядываясь, пошел дальше.

— Спасибо, Алешка! — услышал за собой Чуб и тут же увидел, как Петр обогнал его. Кувыркаясь, Петр скатился с высокого яра и перебрел реку. Он только теперь понял, что красногвардейцы уже не наступают. Они бежали ему навстречу и редко отстреливались.

— Что же это, а! — крикнул Петр. — Эх, эти подлые анархи! Никто нас не обошел! Назад! Назад!

Плечом его сильно толкнул боец. Петр упал на кочку и, поднявшись, побежал дальше.

— Назад! Это неправда!

А в ответ услышал:

— Поздно, браток, агитировать. Вертай сам-то назад. Не то пулю проглотишь.

На полустанке он едва успел забраться в вагон, битком наполненный отступающими бойцами. Руку ему подал старый красногвардеец и, внимательно приглядевшись к парню, улыбнулся доброй отеческой улыбкой.

— У, брат, как тебя размесила непогодь-то. Киселем стал. Да ты плачешь никак?

Петр действительно плакал.

ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ

1

После Петрова дня началась жара. С утра еще в Каштаке держался холодок. Сильная роса на высокой траве долго не высыхала и даже в полдень забреди в тень — холодные капли с листьев упадут на ноги. В июльские дни бурно растут хлеба, просят дождей, а их нет и нет. Ходит хлебороб вокруг поля, вздохнет и взглянет на небо, посмотрит во все четыре стороны, нет ли где на горизонте облачка. На западе чуть видимые три белых бугра будто поднимаются, ширятся. К полдню и верно — облачка покроют полнеба. Потом словно обожгутся горячим дыханием земли и поднимутся высоко-высоко, расстелются по небу легким ястребиным оперением, глянь — и от горизонта до горизонта голубое безбрежное небо с косматым жарким солнцем.

Идет ли в лес, едет ли за делом в Подкаменное, в город, Ветлов нарочно дает небольшой круг, чтобы заглянуть на артельное поле. И вот сейчас, когда оно покрылось буровато-зеленой пшеницей, он каждый раз подходил к всходам и, широко расставив ноги, улыбался.

Пшеничное поле! От дороги в распадке до кромки соснового леса раскинулось оно: вся гора засеяна пшеницей. Поле принадлежит не ему, Ветлову, не Трохе, не Ярину. Это — пшеница коммунаров. Ветлов наклоняется, вырывает сорняк. Но, к счастью, его так мало, а на межах преет в кучах выполотая трава. Неужели конец нашей нищете! Амбар срубили добрый. Сделали в нем пять больших засеков. Три из них под пшеницу. В каждый засек по сто пудов — это триста пудов, да ржи засек — четыреста. Это столько хлеба, что хватит коммунарам и на прокорм и на семена.

Смотрит Ветлов в поле и уж не видит его — душу полонит другая, тяжелая дума: быть или не быть его коммуне. С каждым днем война подходит все ближе и ближе. Встревожились и заволновались все села вокруг. Кулачье грозится расправой. Бандиты открыто разгуливают по улицам сел. В Подкаменном Кешка Чак два дня пировал у отца, но на коммуну не нападает. Видимо, знает он, что не с пустыми руками коммунары. Идут ли в поле, в лес коммунары, в руках топор, коса, за плечами винтовка.

Посмотрел Ветлов еще раз на пшеницу. В Оёке, в Олонках — везде прошли дожди, а тут нет и нет.

«Добрая растет пшеница. Вот бы дождичка — это да», — подумал он. Карий конь под седлом нетерпеливо ждал его. Неделю назад председатель волисполкома после беседы с Иваном вышел во двор, сам вывел коня и сказал:

— Бери, коммунар. У бандита одного отобрали.

Сев на коня, Ветлов еще раз взглянул на пшеничное поле и опять на небо и въехал в лес. Думал ли Иван о чем-нибудь ином, кроме коммуны и коммунаров. Нет! Сотни забот, печалей, решений пробуждались в его голове, когда он оставался наедине. Даже во сне он видел коммуну.

Было такое... Светлый, солнечный, жаркий день. В вышитой косоворотке (о такой рубахе он думал еще в парнях) Ветлов идет среди веселых городских людей. Они всем интересуются, все им надо потрогать. Иван показывает гостям, что сделано коммунарами. Где было зимовьишко Грихи Бунчикова, стоит дворец не дворец — терем с петушками под крышей, с вырезанными карнизами, с большими светлыми окнами. На высоком крыльце стоят Аксинья и Машка с Ольгой в красивых платьях. А Ванька и Гошка в длинных новеньких рубашках и в черных штанах.

— Ну, веди, Ветлов, в терем,— говорят ему приехавшие.

А в тереме и того лучше. Все покрашено, куда Трохе со своими горницами. На стене зеркало в таких затейливых узорах, каких Ветлов и наяву никогда не видел. На столе белые булки друг на друге горкой лежат, а в углу большущая квашня замешана.

— Куда тебе, Аксинья, столько хлеба?— спросил Ветлов.

— Да мы ведь, Ваня, теперь досыта едим,— отвечает она радостно.

— А где хозяин? — спрашивают гости и все улыбаются.

— Да где Гриха твой?— переспрашивает Ветлов. А под окном раздается:

— Тпр-у!

Перед окнами, горяча ретивого коня, сам Гриха Бунчиков. У него пышные светлые усы, он смеется, скаля белые сахарные зубы.

— Здорово зажил, Гриха. Да, здорово! — говорят ему горожане. Но Гриха молчит и только смеется, подергивая светлые поводья.

— Ты, Гриха, совсем молодой стал. В пору хоть женить тебя.

Тогда и Гриха обмолвился:

— А ты сам-то, Ваня, тоже молодой. Зайди-ка да поглядись в зеркало.

Забегает Иван в Грихин терем, заглядывает в зеркало и дивится: на него глядит молодой Иван Ветлов, тот самый, который в былую пору на повети к девкам лазил. Шея гладкая, без морщин и складок, усы черные в строчку, глаза карие с искоркой.

— Дак это что такое, Гриха, с нами деется? — радостно спрашивает Ветлов.

— А это коммуна все дала нам, Ваня.

Ветлов уж плачет от счастья, а городские одно:

— Пойдем, пойдем, Ветлов. Показывай. Ты-то как сам живешь?

— А вот пойдемте-ка, пойдемте, покажу я вам, какова и моя жизнь.

Бежит Иван впереди, уж видит свой новый дом. Вдруг смыло все, унесло, а на том месте стоит землянка, обнесенная березовым плетнем. И людей городских нет, и ногу так больно, невыносимо больно. И в темноте зимовья, проснувшись, Ветлов вспомнил, что вчера он усталый, забыл сбросить с ноги деревягу.

Через день, что ли, прибежал из сельсовета нарочный. Ветлова вызывали в волость. Наверное, опять предложат уходить с партизанами в лес или с Красной Армией за Байкал. А Ветлову легче другую ногу отдать, чем оставить баб, детишек, оставить надежду и радость всей коммуны — поспевающую пшеницу, урожай. Что женщины с ребятами будут делать без мужиков, какая их доля ждет при белогвардейском режиме? Глухо шумит лес, сонно разговаривают птицы, и так здесь сухо, что из-под ног лошади из травы вылетают облачка пыли. А в думах одно и то же: пшеница растет такая добрая, неужели ей сгореть под этим палящим солнцем? Ведь она лучше, чем у мужиков. И ничем спасти нельзя ее. А большая забота рядом с маленькой, и боль одинаковая от них. Вот Аксинье Бунчиковой надо достать несколько аршин ситца на платье. Совсем оборвалась женщина. И он обязательно выпросит материальчику у председателя волисполкома.

Ехал Ветлов, думал одну думу за другой. Конь твердой поступью шагал по лесной дороге, прядал ушами, всхрапывая, круто поворачивал красивую шею, а Ветлов смотрел вперед и не видел ничего, кроме дум своих, теснивших голову и щемивших сердце. И первый выстрел для него прозвучал не то что неожиданно, а как-то не сразу он понял, что ему угрожает смертельная опасность. Лошадь так шарахнулась в сторону и встала на дыбы, что Иван едва не слетел с нее. Второй выстрел раздался сзади, когда всадник и конь, как вихрь, летели меж толстых стволов сосен и лиственниц. Цепко сидя в седле, Ветлов сумел оглянуться, но дорога здесь петляла, и никого за собой он не увидел, хотя слышал по цокоту копыт, что за ним гонятся несколько всадников.

— Выручай, Гнедой,— шептал Ветлов, когда конь его вынес в Ашунскую безлесную падь. Ветлов снова оглянулся и теперь увидел, как из лесу выскочили четверо верховых, и вслед за тем позади, сливаясь, прогремели четыре выстрела. Пули пропели над головой, не задев, а следующий увал закрыл его от преследователей. Теперь прямая дорога с версту шла по открытому месту. Скоро Ашунская гора, и если ее проскочить — считай, что

спасен от бандитов; топот позади слышался глуше. Но на полугоре его Гнедой споткнулся. Перелетев через голову коня, Ветлов упал в густой куст черемухи. Конь силился встать, но не мог, по его ноге ручейком текла кровь.

— Значит, смерть мне,— подумал Ветлов и огляделся. В нескольких шагах от него торчал большой корень сваленного бурей дерева, под ним образовалась яма. Иван нырнул в нее, схватил с плеча винтовку, а из кармана в фуражку высыпал все патроны.

— Ну, бандюга, ну, Чак, даром я тебе не дамся;— сжав кулак и погрозив им, произнес Ветлов, будучи уверенным в том, что гонится за ним Кешка, а не кто-нибудь другой.

Быстрым взглядом он осмотрел свое укрытие, поднялся на колено, торопливо и старательно натыкал веток по краям ямы. В ту же минуту один за другим раскатисто прогремели выстрелы, и поблизости послышался Кешкин окрик:

— Эй, коммунар бесштанный, вылазь из своей норы. Все равно тебе крышка!

Зорким и опытным глазом Ветлов оглядел то место, откуда слышался голос, но увидеть Кешки не мог и только предположил, что он стоит за толстой сосной, шагах в тридцати от него. Ветлов выстрелил по сосне, а вслед за этим заметил, как закачался кустарник. Ветлов два раза выстрелил по кустам, а с другой стороны услышал:

— Сам себе нашел могилу. Тут ты и подохнешь!

Незадачливый бандит не мог скрыться от острого глаза Ветлова. Его он разглядел и одним выстрелом покончил с врагом. Больше ему не кричали, но огонь со всех сторон усилился, и выстрелы слышались ближе и ближе. В двух шагах от ямы разорвалась граната. Теперь он знал, что ему скоро умирать, и тем зорче смотрел вокруг, не шелохнется ли трава. Иван пустил несколько пуль в ту сторону, откуда прилетела граната, и вдруг совсем близко, меж двумя пеньками, увидел Кешкину кудлатую голову. Ветлов нацелился, но сильный взрыв за плечами подбросил здоровую ногу, что-то острое кольнуло в затылок. И там, где был Кешка, он увидел большое зеленое поле пшеницы и светлые на нем круги.

2

Малочисленные войска Красной Армии хотя и вели упорные бои, но не смогли закрепиться у Тулуна, Тырети, на реке Белой и отступили к Иркутску. Со 2 июля началась эвакуация за Байкал, а через девять дней был отдан приказ об оставлении города. Еще не успели выйти последние бойцы, как с чердаков и крыш захлопали выстрелы. Это белогвардейцы выслеживали запоздавших красногвардейцев. А по Александровскому тракту шли колонны чехов. Первым из подкаменцев увидел их Трофим Сопов. На взмыленном коне он прискакал в село, и тотчас загудел на колокольне большой колокол.

С колокольни звонарю видно было, как из Тунки, Силовщины, Сотовщины, со всех концов Подкаменного неторопливо шли люди, матери несли на руках грудных детей. Из своего большого дома под железной крышей вышел поп Николай, поспешно на ходу застегивая рясу, направился к церкви. А там уже суетился причт. Церковный староста Трофим Сопов, дьячок Афоня, псаломщик Сидор, старик Юда выносили на крыльцо иконы и хоругви. Когда народ собрался, Вознесенчиха, способная и сватать, и крестить, и хоронить, неистово запричитала, вскинув к небу руки. Ее сзади дернул Трофим, и она, глухо заклохтав, уставилась на распятие Христа.

— Господи ты, наш боже! Сбереги ты нам хлеб, дай, господи, дождичка хоть малую толику, а!— просила она торопливо.

Чинно и степенно обратился к богу Юда:

— Боже ты наш милосердный! Чем мы грешны перед тобой? Куммунисты проклятые накликали на нас эту беду, господи,— злобно закончил он, но Сопов и Иудушку одернул:

— Там, у часовни, тут не резон. Там, в поле...

А из толпы кто-то сказал:

— День еще, два — и конец их власти.

— Дай ты, боже, дай,— попросил молодой женский голос.

— А чем она тебе плоха?— возразил Василий.

На него косо взглянул Трофим, покаянно перекрестился.

— Была твоя власть, Вася, да сплыла. Гражданы! О дождичке бога другой раз попросим. Сейчас пойдем дорогих гостей встречать. На тракту наши спасители чехи. Ты, Прокоп, хлеб-соль приготовь. А ты, отец Николай, пой что-нибудь такое. «Многие лета» или «Христос воскрес из мертвых».

— Оно бы и за дождичек помолиться разом,— посоветовала Вознесенчиха, но Трофим резко ответил:

— Нет, нет. Сказано, о дожде потом. Ну, что стоишь Прокоп? Да булку выбери большую, пшеничную, да на бричку ковер постели, да сам новую поддевку надень. Живей!

Не взял в руки Василий ни иконы, ни хоругви. В задних рядах шел он в толпе среди

ребятишек да престарелых и думал о письме Петра. Писал сын из Зимы: был не один раз в боях, ушел от анархистов и теперь вместе с Федором и Чубом в отряде железнодорожников сражался за советскую власть.

— Христос воскресе,— пел Афоня-дьячок.

«Я и сам, Петро, вижу, что эта власть наша, народная, да только новая и во многом непонятная,— писал сыну Василий.— Я годок всего хватил этой власти, а в той старой, режимной прожил век. Она, эта новая власть, расшевелила всю мою нутренность. Чую, Петро, гнилушек много в том старом доме. Перекатывать, перебирать надо, ломать надо старое и делать новую жисть».

«Вот тебе и новая жисть. Чехи», — думал про себя Василий.

— Христос воскрес из мертвых, — гудел впереди сочный баритон попа Николая. Ему подвывали Афоня и еще несколько женских голосов. В безветрии густое облако пыли поднималось над толпой. Повитуха — бабка Груня, принимавшая всех детишек Василия, шептала ему:

— Ты бы, Вася, хоругвю-то взял аль икону. Грехов-то у всех много, а у тебя и того боле.

— А какие мои грехи, бабка?— громко и обидно спросил он.

— Не шуми. Эко,— шептала она.— А Устя, а Петро, а Ганька. Ведь все нехристи.

— А ты веришь?— еще громче крикнул Василий, и бабка, многократно перекрестившись, отскочила от Василия, захлебываясь шепотом:

— Господи ты, пресвятая богородица! Что с мужиком-то!

...Сразу за полевыми воротами раскинулось огромное ржаное поле Прокопа Филонова. Рожь в две четверти, не более, побурела и выметнула чахлые колоски. Ее хозяин отстал от толпы и, подойдя к посевам, размахнулся широким крестом, встал на колени и припал к земле. Долго его сгорбленная спина в черной поддевке торчала у ржи. Встав, размахнулся, чтобы перекреститься, да так и осталась у него рука, вознесенная ко лбу. Прокоп уставился взглядом в гору, с которой медленно сходила небольшая кучка людей. Впереди шли две лошади, запряженные в телеги, сзади бабы, мужики, ребятишки. Кто бы это? О том же самом спрашивали друг друга и остальные молебщики, но востроглазые ребятишки уже разглядели:

— Да это коммунары. Вон Гриха Бунчиков. Вон Вознесенский. Вон Устя Ярина.

— Алешка Чуб вон, смотрите-ка!

— Да они с винтовками никак!

— Господи, боже мой! Да, эта встреча не к добру.

— Плюньте вы на них, миряне, о боге думайте, а не о них, иродах,— посоветовал Трофим, и толпа опять покатилась к часовне, которую теперь уже видно было в низине среди лозняка. «Хоть бы успеть пройти развилок,— думал Трофим,— хоть бы избежать этой проклятой встречи».

Тут кто-то из толпы закричал:

— Батюшки! Да у них гроб на телеге.

Василий обогнал всех и поспешил навстречу коммунарам. За ним пошло еще несколько человек. Ярин теперь хорошо видел, как хмурые, усталые и сосредоточенные коммунары шли за Чубом, шли молча.

— Почему тут Чуб? Как он попал к ним? Да уж не с Петром ли что?— подумал Василий и шибче пошел, отшвыривая сухие комья. Первой его увидела Аксинья Бунчикова. Черное цыганское лицо ее еще больше почернело. Костлявая, с большими напуганными глазами, она подошла к Василию, без слез запричитала:

— Ой, дядя Вася, горе-то у нас какое! Ваню-то Ветлова бандиты убили. Растерзали тело его, гадюки злые. Ой-ее!

— А мы вот уходим все. Уходим,— к отцу подбежала Устя, прижалась и заплакала. Как она его давно не видела.

Красный флаг коммунаров, гроб Ветлова двигались по большаку навстречу молебщикам. Через минуту обе толпы слились в одну, и было странно видеть, как среди икон и хоругвей гордо колышется Красное знамя. Поп Николай бросил косой взгляд на гроб, торопливо пошагал вперед и густо запел, его подхватили нестройные голоса. Еще мгновение — и в разные стороны потекли две толпы. Одна небольшая. Там, тесно сгрудившись, шли Филоновы, Тонские, Соповы и впереди желтая риза священника. И другая, огромная, рассыпанная по дороге толпа, и в середине у светлого гроба плескалось Красное знамя.

— Опять горе к нам пришло, дядя Вася,— подойдя к Ярину, сказал Алексей Чуб.

Печальными глазами Василий посмотрел на Алексея.

— Горе, Алеха, горе.— Он сурово поджал губы и не сразу высказал, о чем думал уж не один раз.

— Людское-то горе куда горше. Да. И у народа не одно оно. Засуха вот голодом грозит. Вражина вон на нашу землю прет. Страшен голод, а ворог заморский еще страше.

— Страшен ворог, да не для всех,— резко сказал Чуб. Он взял Василия за рукав, вывел из толпы и, тыча рукой в сторону ча-

совни, злобно крикнул:— Вон им он не страшен. Они радуются ему. Они вот с иконами да хоругвями встречать его идут. У, гады! Кому угодно в ноги упадут, сытость свою подлую сберегая. А мы — за душой ни фунта хлеба — вот с этой винтовкой на край света. За землю вот эту. У, сволочи!— потряс Чуб туго сжатым кулаком.

Под вечер над Камчатником забугрилась дымчатая туча. Скоро она обняла полнеба и грозно двигалась на Подкаменное. Дождь шел долго, надсадно, вплоть до темноты и потом с перерывами всю ночь.

До бесчувствия пьяного отца Николая проводил Троха домой. Провожал он нарочно с открытой головой. В плешину стучали крупные капли дождя. Вода струйками стекала за воротник и ползла по спине, по груди, а он шел и радовался и дождю и всему, что случилось сегодня.

А по Александровскому тракту, опередив чехов, уходили добровольцы Урика, Лыловщины, Грановщины, Подкаменной и многих других деревень, шли мокрые до нитки, и впереди всех — подкаменские коммунары. Партизаны шли молча, думали о семьях, которые остались без хлеба, без защиты. Думали об Иване Ветлове — славном вожаке и товарище. Думали о старом Гурьяке, который согласился охранять немудрое хозяйство коммуны. Позади всех шагали Устя, Чуб, Бунчиков, и, когда в сером хмуром рассвете показались редкие огни города, а под кручей свинцово заблестели холодные струи Ангары, Алексей сказал, подкинув за плечом винтовку:

— Ничего, Ангарушка, мы скоро вернемся. Мы придем на родиму землю. Придем!

— Мы еще пожнем свое пшеничное поле!— сказал кто-то из коммунаров.

СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЕМ...

1

Без Петра и Усти Ярины провели сенокос и страду. Ганька и Гошка косили и жали, возили хлеб на гумно. Мужики дивились.

— Не клади кладешь, а картины рисуешь, Ганек.

За три месяца, как подкаменские коммунары ушли за Байкал, в селе будто ничего не произошло. Только рядом с могилой Ветлова вырос новый холмик. Под ним лежит другой солдат — Ванюха Вознесенский. Председателя сельсовета чехи застали на сборной. Когда вели его на Камчатник, провожала густая толпа. Стоя на краю обрыва, Ванюша разорвал на себе рубашку и, бросив ее к ногам, крикнул:

— От лютых вражин смерть принимать не хочу. Пусть меня примет Ангара!

Запоздало прогремел нестройный залп. Ванюша скрылся в волнах реки.

Да вот еще: как из-под земли явился бывший полицейский милиционер Пробкин. Он приказал мужикам указанные им скирды измолотить и хлеб сдать казне. А когда молотили, на гумне сидели вооруженные люди, считали мешки и грузили подводы.

— Ловко! Такого не бывало и при царе,— думал Василий. Хлеб коммунаров сжал Трофим. Он уже прибрал к рукам и их постройки.

— Твоя земля — твое и добро,— резонно оценил действия Трофима Корнил Тонский.

Редкие вести прилетали из-за Байкала. Там дрались с белочехами и белогвардейцами защитники советской власти. Как-то Трофим приехал из волости и на сборной, ликуя, заявил:

— Кончено с советчиками и за Байкалом. Сейчас им там кишки потрошат.

После покрова разнеслась весть: из далекого Забайкалья, преодолев тайгу и горы, вернулся в родные места большой отряд красногвардейцев. Утомленный многодневным переходом, отряд не мог устоять против кулацких дружин. Разбитый у села Голумети, близ Черемхово, отряд рассыпался на мелкие группы, которые разбрелись по всему уезду, прячась на заимках, в тайге, на островах Ангары. Кое-кого кулаки выловили и зверски уничтожили. В кровавом деле особенно отличалась кулацкая дружина Иннокентия Сопова. На ее счету были десятки выпоротых мужиков, не один замученный и расстрелянный красногвардеец. Это была одна из тех бандитских шаек, которые впоследствии прославились неслыханной жестокостью, орудуя в составе карательного отряда Красильникова, самого оголтелого сподвижника Колчака.

Как-то поздним вечером в избу Яриных вошел незнакомый человек. Он неуверенно спросил, тут ли живет Василий Ярин.

— Я и есть Ярин. Зачем понадобился?— насторожился Василий.

Незнакомец посмотрел на ребятишек.

— Говорите. Ребята неболтливые.

— Поклон тебе от дочки Устяши.

Василий понял, что не поклон занес этого человека сюда, но усердно расспрашивал об Усте.

— Сестрой служила она в нашей роте. Часто вспоминала Подкаменное, отца, мать. Вот я и зашел на огонек. Извините.

От вина незнакомец отказался, жадно съел тарелку щей. За пазуху затолкал краюху хлеба, которую дал ему хозяин, и уже на улице спросил:

— Вот что, отец, мне в Олонки надо пробраться. Как тут на тракт выйти?

— А может, тебе от тракта подальше держаться? — спросил Василий и добавил: — Пойдем-ка за село, сынок, я тебе другую дорогу укажу.

Растроганный вниманием, незнакомец крепко пожал руку старика и, волнуясь, заговорил:

— Главного-то я тебе не сказал. Разбили нас белые в Посольске. Сила огромадная навалилась! Многих убили, иные в тайгу убежали. Я вот с дружками через Байкал на лодке перемахнул. Иду к партизанам. Скоро услышишь о нас. Спасибо за все, отец, добрый ты, видать, человек.

Ночь Василий спал плохо. Поднялся до свету и велел Татьяне на продажу набрать чесноку и луку, а в обед был уже в городе. Сбыв за полцены товар, он поехал в Иннокентьевское, чтобы потолкаться среди рабочих, получше узнать, что делается за Байкалом, а главное — разведать о судьбе своих детей. Мать Федора — Настасья — неохотно пригласила в дом, напоила чаем и под предлогом, что нет керосина, погасила свет. Василий стал было спрашивать, где сын, но лег на пол и заснул.

Разбудил его сам Федор.

— Здравствуй, дядя Вася, здравствуй!

В темноте Федор нашел руку Василия и долго тряс ее, спрашивая:

— Будто и не по пути. Что тебя сюда занесло?

— Эх, что, Федя, спрашивать. Одна моя боль-забота. Разбили вас беляки, разогнали. Скажи, где Устя, где Петро, живы ли они?

Федор ждал этого вопроса. Он помолчал и глухо заговорил:

— Под Голуметью мы вышли из тайги. Кулачье встретило нас пулями. Петр тяжело ранен. Тропами мы вышли к Ангаре. Алексей Сопов в Каштак с ним уплыл.

— Выживет ли? Все говори, все, — сказал Василий и задохнулся.

— Вчера от Алексея весточку получил. Вошел Петр в память. Выживет.

— А Устя, Устя?

— Устя жива, не беспокойся. А где она, о том не скажу.

— Ну, утешил ты меня, утешил, утешил, — сказал Василий шепотом и тяжело задышал, глуша слезы.

— Ну, а дальше, дальше-то как? Чую, и ты тут гостенек потайной.

— Драться, — твердо сказал Федор. — В народе не по дням, а по часам растут злоба, ненависть к колчаковскому режиму. Погоди, скоро на пули Колчака все начнут отвечать пулями. А теперь, дядя Вася, дело к тебе есть. Не откажешь? Дело опасное.

— Говори, какое, — решительно попросил Ярин, и Федор понял, что старик выполнит все.

— В Каштак к Алексею надо винтовки доставить.

2

Рано утром по Московскому тракту тащилась пегая кобыленка. Она была запряжена в телегу, на которой стоял огромный плетеный короб, нагруженный древесным углем. И веревка, и вожжи, и сбруя, и даже пежины кобылы покрылись угольной пылью. И особенно черен был сам возница с куцей бородой, в стар採еньких ичигах.

— Угля! Угля кому! — пропитым сиповатым голосом кричал старик, когда ехал по Зую.

В Суховской он подворотил к плохонькой избенке.

— Почаевать можно, хозяин? — спросил угольщик у мужика, стоящего подле ворот.

— Пошто нельзя, заходи, — добродушно ответил хозяин, — только у меня, брат, квантиранты, — и он кивнул на проходивших по улице чехов.

— У кого их сейчас нет, — ответил угольщик.

В избе было несколько солдат чехов. Они пили вино. Чернобровый солдат подошел к старику и, хлопнув его по плечу, заговорил горячо и взволнованно:

— Русский, словак — братья. Зачем нам воевать? Тебе, мне нужна война? Н-нет. Кому-то, стало быть, нужна?

— Не надо, Юшек, — попросил его другой солдат, косо поглядывая на сержанта, который пьяно ухмылялся.

— Не могу молчать, — продолжал чернобровый, — а нужна война нашему Гайде, Софичу. Они чины за это получили и еще получат. Нужна нашему ротному, он служит не родине, а французам и американцам. Он с головой продался им. О, ненавижу американцев. Они любят чужими руками жар загребать. Нашей, чешской кровью решили торговать, мерзавцы. Сибирь им лакомый кусок, а завоевать ее хотят нашей кровью.

— Потише, Юшек,— сказал тот же товарищ.

— А я не боюсь. Я плюю в лицо тем соотечественникам, которые сажают нас в лагери и расстреливают. Убивают русских за их великое дело. Кто мы здесь? Что в душе у нас?

— Да ты пьян, Юшек!

— Мне надоело. Я домой хочу. Мне бы Прагу увидеть, старую мать обнять. Офицеры хвастают: «От Байкала до моря большевистская власть сокрушена». Кто теперь-то нам мешает ехать? Аме-ри-кан-цы! Они купили иуду-Колчака! Вы, русские, гоните чехов, американцев, японцев. Они ваши враги.

— Юшек, ты неосторожен.

— Запомни, старик,— не слушая товарищей, выкрикивал чех,— я и эти солдаты большевика Гершевича вешали. Тут недалеко, в Зиме. Смелый, славный такой! Он, знаешь, что крикнул перед смертью? «Всех нас не перевешаете!» Эх, не забыть этой подлости.

Сержант оттолкнул к порогу старика, а Юшека несколько раз ударил по лицу. Тот безвольно сел на стул и заплакал.

Василию было не до чая, и он вышел к коню.

Подошел и хозяин.

— Ты не узнаешь меня, Сидор?— тихо спросил Ярин.

— Ср-азу узнал, Василий Родионович. Как не узнать, вместе кашивали не одно лето. Только испужался и молчал. Все думал, какая беда заставила тебя углем промышлять?

— Какая?— переспросил Ярин.— Лихая пора, брат, все научит делать. Все. Только этот уголь я для себя везу. Лодка-то у тебя цела?

— Лодка есть, да зачем она тебе?

— Дай мне ее. Уголек на ту сторону реки перевезти.

— Что, у вас на той стороне угля нажечь нельзя?

Сидор смутно догадывался, что дело не в угле, но лодку дал, не стал докучать вопросами, а заговорил о другом, когда они поехали на берег.

— Юшека этого угробят. На днях за такие речи повесили одного. А сержант этот — подлец. Они и вчера спорили, сержант и говорит: «Ну, Юшек, не видать тебе Праги, как своих ушей. Сгниешь тут, в Сибири». А вчера ночью такое дело было. Рыбачил я, подплыл к берегу сети перебрать. Голову-то поднял — подле меня пять молодцов с ружьями. «Переплавь»,— говорят. Куда денешься, переплавил, а они спрашивают:

— Как живешь-ладишь с гостями непрошенными?

— Гость — гости, а пошел — прости,— сказал я им, а подумал: «Гости хозяина выжили. Лезут в амбар, жрут яйца, последнее сенишко в вагоны тащут. Беда. Хоть завязывай глаза да в лес беги». Да вот и лодка моя.

Мужик столкнул лодку на воду. Тем временем Василий развязал веревку на возу и огляделся: на берегу, кроме них, никого не было.

— Давай-ка, Сидор, поживей сюда,— пригласил Ярин.

— А чем таскать уголь будем?

Василий не ответил. Они вдвоем подхватили на руки короб, сухо звеня, посыпался уголь, потом вывалилось два длинных, в рост человека свертка, крепко перевязанных бечевой. Из рогожи выглядывали приклады и стволы.

— Вон он какой уголек-то у тебя, Василий Родионович!— прошептал Сидор.— Давай-ка скорее в лодку да с богом.

Отплывая, Василий крикнул:

— Слышь, Сидор, держи язык за зубами. А кобылку мою на остров выпусти. Телегу в кусты, а сбруишку под зарод спрячь.

3

Уже второй день жил Василий дома. Сколько Татьяна ни добивалась узнать о сыне и дочери и почему старик вернулся без лошади, тот молчал, как воды в рот набрал. Василий то ладил сани, утеплял двор, готовясь к сильным морозам, то что-нибудь делал другое и все хмурил брови и казался печальным и несчастным. Но это было только внешне. Какое-то душевное равновесие и покой испытывал Василий в эти дни. Он был доволен ребятишками, людьми, с которыми встречался и разговаривал. Он даже улыбался, но улыбался в душе. «Что со мной?» — спрашивал он и находил ответ в том, что наконец увидел дочь, сына, знает, где они. Но это было не все. «А все-таки что случилось?»— спрашивал он вновь. Василий вспомнил, как в детстве нашел гривенник, хранил монету за щекой и потому ни с кем не разговаривал. За упрямство его тогда наказали, но и при этом он думал об одном: «Нашел! Нашел!» Это радостное «Нашел» он испытывал и теперь, когда вспоминал, что в Волчьей пади за Каштаком собираются люди вокруг Алексея Чуба, что, рискуя жизнью, он привез им оружие, что в церковной ограде под памятником лежит винтовка, которая ему скоро будет нужна для большого дела. Это «Нашел»... ширилось и распирало душу при воспоминании о радостном, в слезах, дорогом лице Усти,

о беспомощном, слабом, но гордом сыне, бескровные губы которого едва прошептали: «Узнал тебя, тятя, узнал». Ему, как родной, был близок и дорог Алексей Чуб и все партизаны отряда, среди которых он пробыл день и ночь.

И не верил Василий в бога, а душа чему-то молилась. Когда он вернулся в село без лошади и телеги, соседи решили, что Устя и Петр вряд ли живы, что старик с горя запил и промотал в городе кобылу.

Василий только рад был такому толку, а однажды выпросил у Татьяны денег и зашел в лавку Катышвиля.

— Пьешь, Вася?— спросил торгаш, подавая косушку.

— Пью,— сухо ответил Ярин.

Не удержавшись и, видимо, из сочувствия к старику, Катышвиль шепнул ему:

— Дружка Петрухиного, Чуба, этой ночью здесь видели.

— Ну, не болтай-ка ты, Николаевич,— отмахнулся Василий и, опрокинув косушку, пошел, но его за рукав задержал Катышвиль.

— Прокоп Филонов видел. С рыбалки он с парнишкой шел. Навстречу человэк. Ну, человэк и человэк, кого ночью разглядишь. А парнишка и говорит: «Отэц, а ведь это Алешка Чуб». «Ну! А откуда он вышел?» «Да от Бунчиковых». Хэ, к крале своей приходил!

— Вранье,— заметил Василий.

— Нэ вэришь. А сходы к Бунчиковым. Машку уже в волость увели.

Василий будто и вина не пил.

Не к Маше, а к нему, Василию, приезжал этой ночью Алексей Чуб, просил разведать, в каком селе орудуют Кешкины каратели. Теперь жди незваных гостей и в свое село. Эх, Алеха, видать, не выдержал, завернул к девке и вот сгубил ее.

Нарочно покачиваясь, он вышел из лавки. Дома в горенку зазвал Ганьку, как ровня, спокойно и деловито сказал:

— Беда надвигается, Ганя. Машку Бунчикову на допрос увели. Бери на гумне Чалку и лети в Волчью падь к Чубу.

В щелку забора Василий увидел, как сынишка сел на коня и поскакал в гору. Проводив его взглядом, он облегченно вздохнул.

Среди дня в село прискакали несколько дружинников с Кешкой Чаком во главе. Коней они оставили на дворе Трофима, а сами направились к сборной. Впереди их шла Маша Бунчикова, распахнув старый плюшевый пиджачок и сунув в карманы руки. Лицо ее было запрятано в полушалок, и виднелись одни голубые глаза. На сборной ее толкнули в каталажку. Кешкину дружину хвалили в газете за верность «верховному правителю». Она сплошь состояла из сыновей кулаков окрестных сел; это были здоровые, крепкие парни, одетые в пиджаки и подпоясанные цветными кушаками, на них добрые, смазанные дегтем ичиги, белые папахи, желтые лосиновые рукавицы, а за плечами — винтовки. Они курили и хохотали, поджидая командира.

Кешка на минуту зашел к отцу, потом направился вдоль села к Яриным, посвистывая и похлестывая плеткой по ярко начищенным голенищам сапог. Застал он Василия за уборкой двора. С мерзлой, еще не запорошенной снегом земли поднималась пыль.

— Что же ты, отец, до зятя не успел подмести?— спросил Чак.

Василий знал, что Кешка придет, ждал этого и не удивился, увидев его на своем дворе. Но только теперь он почувствовал, как ненавистен, жалок и ничтожен был для него этот человек, обтянутый ремнями поверх полушубка с серым каракулевым воротником. И серая высокая папаха, и лайковые перчатки, и синие брюки с леями — все было ненавистно и противно. Василий презрительно плюнул в сторону и пошел в глубь двора.

— А, разговаривать не хошь! Большевистского духу набрался!

Василий будто и не слышал, у сарая набрал охапку дров, занес их в дом и, сбив пыль с пиджака, подошел близко к Чаку.

— Давненько не был в родном селе,— презрительно щуря глаза, сказал он.—Что, мало сирот и вдов оставил, к нам-то пожаловал? Мало могил, мало крови еще? Так начинай с меня.

Ярин бросил рукавицы на крыльцо, размотав кушак, положил на землю пиджак и шапку:

— Бей, сукин сын!

Кешка сел на крыльцо и захохотал.

— А, не можешь, не можешь! Так я могу!— и Василий схватил с крыльца дверную заложку, но Чак вырвал ее из рук и вытолкал старика за ворота.

— Красным стал! Так я еще краснее сделаю!— крикнул Чак и изо всей силы ударил Ярина плетью. Один за другим посыпались удары по голове, плечам, спине. Рубаха у Василия во многих местах расползлась, в дыры виднелось тело, иссеченное в кровь. Он сжал голову руками и, пошатываясь от ударов, шел вдоль улицы к школе, а Кешка, приседая и всхрапывая, все хлестал и хлестал его.

— Вот тебе за сына-большевика! Вот тебе за красную сестру дочь, вот тебе за соцмольца!

— Бей, гадюка, да знай: и тебе головы не сносить! Попомни мои слова!— кричал Василий.

— Когда же конец всему этому, а?— простонала Бунчиха из толпы, которая становилась все больше и больше.

Подкашивались ноги Василия, он припал к верее школьных ворот и сполз на землю, потеряв сознание...

Очнулся Василий и прежде всего почувствовал страшную боль в плечах и пояснице. Голова кружилась. Будто в полусне, он слышал визгливый Кешкин голос, свист плетей. Как о покойнике голосила Татьяна. Он повернул голову и увидел петлю, которая спускалась с перекладины качелей. Под ней стояла Бунчикова Маша.

— Где Чуб, где партизаны?— рычал Чак.— Ты будешь говорить?

Маша молчала, зябко ежась и скрестив на груди руки. С плеча сполз оторванный рукав кофточки, на котором темнели высохшие пятна крови. На сером лице под глазом был синяк. Она презрительно отвернулась от Кешки и смотрела на Веру Николаевну. Учительница стояла подле отца Николая и в руке, прижатой к груди, мяла платок. Широко открытыми глазами, в которых застыли боль и гнев, она глядела на Машу, потом шагнула вперед.

— Люди! Люди! Что же вы? А? Заступитесь, люди. Так вот она какая, власть-то Колчака! Ненавижу вас, палачи, ненавижу!— выдохнула Вера. И как ответ на слова учительницы по всей площади, от сборной до школы, пронесся ропот, запричитала Аксинья Бунчикова.

— Плетей! Плетей!— исступленно кричал Кешка.

Вера Николаевна взглянула на забор, как воробьи, на нем сидели ребятишки, ее ученики. К ней вразвалку подошел дружинник и толкнул прикладом, но девушка вывернулась и, подбежав к Маше, обняла и поцеловала ее несколько раз.

— Маша! Какая ты!

Захлебнувшись в плаче, с забора посыпались ребятишки.

— Это совесть нашу хотят плетьми заглушить,— послышался слабый, но гневный голос бабки Груни.

— Да, уж если петли да плети в ход пошли — добра не жди,— раздался другой голос.

Кешка сбежал с крыльца школы, заскочил в толпу и выхватил оттуда смирного и незаметного мужика Гачева Митрия.

— Дать горячих и этому.

Мужик оттолкнул от себя Чака и, распоясываясь, сказал:

— Ну, плетьми да ботогами нас не скрутишь! Землячок!

— Молчать! — топнул ногой Кешка и подскочил к Маше.

— Ты долго будешь молчать? Где Чуб? Где красные? Скажешь — отпущу, денег дам. Много денег. Не скажешь,— и Кешка махнул рукой вверх и присвистнул.

Маша оглядела измученными, воспаленными глазами толпу, увидела мать и шагнула к Чаку.

— Сказать, где Алеша мой?— тихо спросила она, и вдруг лицо ее осветила улыбка, глаза расширились, она откинула на плечи полушалок и так же тихо, будто по секрету, ответила:— Тебя, гадина, ищет. Слышишь? Вот и все. И ничего я больше тебе не скажу. Ничего! Тьфу, тебе, собака! Тьфу! Тьфу! Тьфу!— плевала Маша в лицо Чака.

А у школьных ворот, еле шевелясь, хрипел Василий:

— Старая, подыми-ка меня. Да не вой, не вой.

Никто из карателей не видел, как, превозмогая боль, встал старик и потащился домой, поддерживаемый Татьяной.

Против церкви он сказал:

— Сил нет. Посижу. Зябко. Тащи пиджак.

Когда Татьяна скрылась за углом, Василий поднялся с бревна и вошел в церковную ограду. Собрав все силы, он отворотил камень и вытащил из-под него завернутую в тряпку винтовку. В сторожке никого не было. Ярин снял с гвоздя ключи и, поднявшись на паперть, отомкнул дверь и вошел, замкнув ее за собой. В глаза ударил свет, когда он по темной каменной лестнице с трудом поднялся на колокольню.

«Да, давно не брал ружья в руки»,— подумал Василий, разматывая и заряжая винтовку.

С площади доносились плач, крики, стоны.

На веревке покачивалось тело Маши. Василий закрыл глаза рукой.

— Ну, Маша, первая пуля за тебя,— прошептал старик, прицелился и выстрелил. Он видел, как Кешка забегал, видимо отдавая приказания. Вторая пуля была точнее. Кешка упал, его подхватили и оттащили за угол.

— Молодец, Василь Родионыч!— похвалил себя Ярин.

На площади поднялась суматоха. Два Кешкиных дружинника бросились в церковный переулок и, упав за прясло, стали стрелять.

Они были так близко, что Василий двумя выстрелами сразил их наповал. Он медлил тратить последние патроны, выискивая цель, и нашел ее. От мостика в гору, размахивая винтовкой бежал Трофим Сопов.

— А! и ты, Троха, на меня с ружьем пошел!

Ярин прицелился, но его, словно поленом, ударило в плечо. Винтовка из рук выпала.

— Эх, что же ты, Алеха, запаздываешь!— спросил с горечью Василий, будто Чуб был рядом.— Али ты, Ганя, не нашел их? Позвать-то как вас?

И вдруг он увидел веревку, привязанную к языку колокола. Взяв конец ее в рот и опершись слабой рукой о перила, Василий поднялся, шатаясь, намотал веревку на руку, но тут же повалился навзничь.

Грозно загудел большой колокол, встревожив партизанский отряд, на минуту спешившийся перед боем.

— По коням!— крикнул Алексей Чуб и первый взлетел в седло, подняв над головой карабин. Саврасый жеребчик взметнулся на дыбы и вынес его вперед.

— За мной, товарищи!— в радостном упоении воскликнул Чуб и поскакал к селу.

И в этот короткий миг сближения с врагом виделось ему, как по стороне Иркутской, по всей бескрайней Сибири в шелесте алых знамен мчатся и мчатся к родным селам красные отряды. И знал он, что не победить теперь невозможно.

Конец первой книги

Голоса молодых

Валерий Алексеев

КОГДА ГРЕМИТ ГРОЗА

Когда гремит гроза в начале мая,
Испуганные сосны гнет в дугу,—
Не Тютчева стихи я вспоминаю,
Не радугу,
А Курскую дугу.
Опять, опять в груди заныл осколок,
Качнулся каруселью шаткий пол...
...Кружатся «мессершмидты»
Над Осколом,
А наша часть
Форсирует Оскол.
Карабкаются «тигры» по откосам,
Но все слышнее наших пушек гул...
...В разорванное небо смотрит косо
Еще не распустившийся багул.
Столетний кедр
Клинками молний срезан,
И стонет и гудит под ветром сад.
Отец,
Скрипя рассохшимся протезом,
Штыком трофейным
Крошит самосад.
Поет столичный тенор:
— «Эх, дороги...»
И снова ливни
Хлещут по плечам...
А память недосчитывает многих,
Погибших на дуге однополчан.
Тоскливо им
Лежать в могиле братской,
Осточертел им курский соловей,
Им хочется взглянуть с плотины Братской
На небывалый подвиг
Сыновей.
Их сыновья не шли на штурм рейхстага,
Из книг лишь знают,
Что такое бой.
Но с прежнею
Отцовскою отвагой
Они уходят в небо
И в забой...
Стихает все:
Ни шороха, ни ветра,
Дождь отшумел
И ринулся в побег.
Из-под грозой поверженного кедра
Поднялся
Новый молодой побег!

Ким Балков

МАТЕРИ

И вижу я, и крепко дорожу я
Ее любовью, что не знает дна.
Чем больше тропок в жизни
прохожу я,
Тем больше горбится она.

Анастас Швец

НЕПРОЛОЖЕННАЯ БОРОЗДА

Рассказ

Памяти Героя Советского
Союза *Даниила Нестеренко*

Комья земли, подпрыгивая, бежали за трактором. Позади оставался черный след — две полосы первопутка. Рыхлый снег, выпавший ночью, припорошил степь. Она заблестела от взошедшего солнца. И тонкий серп месяца тоже поблескивал среди неба.

Демьян Иванович прищурился, оглядел колонну: машины шли в одну линию. Шесть десятков новеньких, как одна. Ударная сила, направляемая туда, где еще ни разу, сколько помнит человек, за плугом не пролегала борозда.

«Хлопцы снежок не трогают, жалеют. Молодцы!— подумал колонновожатый и довольно ухмыльнулся.— А солнышко свое знает, топит. На взгорках лысины появляются. Курит степь, что твое море переливается. Проще говоря, нас поджидает... Глянь-ка, за машинами комков прибавилось. Чисто галчата разыгрались. Э-э-эх, весна!»

Постепенно снег растаял. Желтая ковыльная степь простерлась вокруг. Лишь на потемневшем горизонте синела широкая, скованная льдом река — один из притоков Оби.

На берегу ведущий застопорил машину, окинул взглядом вокруг. С веток одинокого кустика сорвались прозрачные сосульки и со звоном шлепнулись на лед. Незнакомая птичка важно прошагала к стеклянной струе ручейка, принялась бить поклоны. Тракторист резко нажал педаль акселератора, глушитель выстрелил пламенем, и сизое колечко дыма, а за ним вспугнутая пичужка стремительно понеслись в голубую высь.

Повеселевший Демьян Иванович оставил трактор, прошелся, разминая ноги, потом наклонился, плоскогубцами ковырнул чернозем. На широкую ладонь человека легли комочки жирной земли, напитанные влагой.

— Ишь ты, какова здешняя кормилица!— сказал он подошедшему трактористу и гордо сверкнул глазами.— Нашей, украинской, ничуть не уступит.— Суровое, несколько угрюмое лицо его от засветившейся улыбки стало добрым, по-детски угловатым. Пожилой механизатор тоже ласково улыбнулся, и толстые русые усы приятно зашевелились.

Их окружили трактористы, глядели, слушали. Сомкнувшаяся колонна отзывалась бодрящим говорком двигателей.

— Водная преграда, Степаныч,— взбрасывая глаза на усатого механизатора и как бы распекая его, заговорил Демьян Иванович.— Надо штурмовать. Сейчас, проще говоря, прокатимся по ледку.

— Этакое только сказывается легко. Ледок-то набух, того гляди тронется.

— Вижу, дорогой, все вижу. Иначе нельзя. Нас первая борозда ждет.— Помолчал, строго посмотрел на внимательные лица товарищей, раздумчиво добавил:— Ждет ко времени. В совхозе давно приготовились к севу. Не наша вина, что трактора задержались в дороге.

— И это понятно. Но рисковать...

Мягким взглядом карих глаз, отененных длинными ресницами, Демьян Иванович смерил закадычного друга и опять радостно заулыбался. Не говоря ни слова, он неторопливо подошел к трактору, взял топор, ломик и подался к реке.

Снежная корка оказалась ноздреватой, сизой. Пнул носком сапога — посыпались, загремели разбитые черепки; ковырнул лезвием топора — обнажился голубоватый прозрачный лед; ударил ломом — брызнули, кругом рассыпались белесые трещины, и в проруби заструилась чистая водица. Демьян Иванович сделал еще несколько шагов, у глубокой прозрачной лужи остановился. На дне янтарными жилками просвечивал лед, на поверхности играли солнечные зайчики и, как в зеркале, отражалась блеклая луна.

Много лет назад Демьян с девчиной вот так же твердо ступил на весенний лед Днепра. Антонина ладошкой хлопнула его между лопаток и побежала к острову. Он рванулся, перескочил полынью, но не рассчитал: нога коснулась воды, обдало ледяными брызгами. Догнал озорную лишь на прибрежном песке.

— Дима, я бачила трещины,— сказала подруга дрогнувшим голосом.— Днипро тронуться должен.

— Тоди пидем тыхенько.— И бережно взял ее под руку. Они шли, молодой месяц отражался в воде, вокруг было тихо, пустынно, грустно. Простились молча. Когда Дима постучал в дверь своей хаты, на Днепре раздался гулкий треск льда...

Очнувшись от воспоминаний, Демьян Иванович еще раз глянул под ноги: на месте задорной луны клубились, грозно нарастая, кучевые облака. По воде пробежала зябь, в лицо пахнуло холодным. «Сибирь. Покорять тебя надо... Ласковым ты станешь краем»,— подумал, медленно перебрел через лужу и принялся долбить яму.

Чья-то тень легла рядом. Поглядел — фронтовой товарищ. С ним на танках промаршировали от Днепра до Эльбы. Тот самый, с которым уже без погонов поднимали колхозы на Украине, а теперь прибыли на земли целины.

— Не старайся, Демьян, тут еще крепко. Продвинемся к тому бережку.

Долго и придирчиво друзья выпытывали у льда, выдержит ли он тяжесть машин. Лед крошился, брызгался, названивал, но внятного звука не подал.

Старые танкисты возвращались к столпившимся на берегу целинникам. В центре их Демьян Иванович увидел пугливую степную лошадку, а на ней сидел щуплый старичок и бойко жестикулировал руками.

— Глянь, Степаныч, это они здешнего жителя полонили! Очень кстати.

— Древний старец.

— Ага... Здравствуй, отец!

— Алейкума салям!— ответил скуластый казах и дружелюбно потряс жиденькой бородкой.— Будь здоров, начальник.

— Скажи нам, отец, как трогается эта река?

— Буйно, как горячий конь. Две недели шайтан льдом играет. С гор лед. Бешеный!

— Мосты близко есть?

— Там, шибко конь скачет сутки, железный есть. Паровоз гудит.— Старик ткнул кнутовищем вниз по течению, проворно повернулся в другую сторону.— Туда два дня ехать будешь — шипко плохой есть. Едва-едва коня держит.

— Поблизости где-нибудь лес растет?

— Лес, большие деревья?.. В степи один караганник растет. Такой он, коню живот гладит... Вот он, на берегу. Кустик видишь? Летом в воду смотрит.

— Вижу, отец... Может, близко войска, саперы?

— Солдат летом видим. В горах табуны пасем. Там войска видим.

«Что же делать? Пятьдесят девять мужчин ждут моего решения... Дождь окончательно собрался. Хлынет — все пропало, лед тронется, уйдет. Колонна застрянет, совхоз останется без техники».

— Проще говоря, переправа выдержит. Мы долбили, будто крепко,— спокойно произнес вожак и первым шагнул к машине. Его догнал Степаныч, крепко обнял, дружески заглянул в лицо. «Может, передумаешь? Риск-то огромный»,— сказали его глаза. «Знаю, Василий, но что поделаешь? Надо торопиться»,— был ответ взглядом, а голосом:

— Что ж, не Днепр, но штурмовать придется, как в сорок третьем. По всем правилам!

— Раз так, давай руку, командир. Я — следом.

В воздухе чувствовалось легкое дуновение. Сырое, пронизывающее, оно несло запахи солярового дыма и прелой степи. Люди, застывшие у головных тракторов, стояли мрачные, молчаливые, пряча тревогу. Двигатели тихонько постукивали, небо все больше хмурилось.

Демьян Иванович привычно толкнул рукоятку. Взревевшая машина послушно двинулась вперед. Ему стало радостно: вся эта лавина металла сейчас оживет, наполнится силой, устремится за реку. И там, в новом совхозе, будет проложено шесть десятков первых борозд. Шесть десятков враз!..

Гусеницы коснулись льда, он заскрежетал, хрустнул. Тракторист зажал рычаги до боли в пальцах. Тяжелая машина медленно,

осторожно траками печатала дорогу. Уже середина... Дальше, к берегу, плавно надвигавшемуся на радиатор. Еще, еще. «Прибавим газку, поторопимся,— шептали пересохшие губы.— Поднатужимся немножко, дружок, самую малость. Ну, так, так... Вот и ты, земля моя родная, земля!»

Сцепление выключено, газ убран, тормоза затянуты. Потный, усталый, он еле открыл дверцу. Да, машина на твердом черноземе. Преграда взята, первопуток проложен. И захотелось хлеборобу припасть к земле, всей грудью ощутить ее, по-сыновьи целовать...

Нарастал, ширился, мощнел будоражащий голос мотора: второй трактор преодолевал последние метры реки. Усатый водитель правил стоя, и Демьян Иванович, как зачарованный, наблюдал за его руками. Ничего лишнего, все точно, ювелирно, выучка фронтовая, выверенная.

За трактором Степановича двинулся третий, четвертый, пятый... Колонновожатый стоял на гусенице и молчал. В его уме произвольно откладывалась цифра за цифрой. Он не замечал ни дождя, ни ветра, всей душой был с теми, кто штурмовал преграду. Лишь когда счет перевалил за пятый десяток и дождь превратился в ливень, он слез на землю и быстро зашагал на ту сторону, в хвост колонны.

Навстречу двигалась, разбрызгивая ледяную крошку, новенькая пятьдесят седьмая. Демьян Иванович узнал водителя, недавнего курсанта. Парень радостно помахал ему рукою, проехал мимо и зачем-то добавил подачу топлива. Двигатель зарычал, резким толчком ЧТЗ рванулся к берегу. Наезженный, размытый, ставший ноздреватым лед не выдержал удара, просел. Мощный фонтан брызнул из щели, залил стекла кабины. Неопытный водитель убрал газ. Трактор захлебнулся, чихнул и рухнул. По степи разнеслось приглушенное дождем эхо, словно на реке взорвался снаряд.

— Прыгай, дьявол, прыгай!— закричал Демьян Иванович и бросился к месту катастрофы. Бежал и облегченно улыбался: вода скрыла ходовую часть. Степаныч уже волочил канат, другие трактористы помогали ему. Пятьдесят седьмую дружно взяли на буксир и выволокли на твердое.

— Ну, все хорошо, ребятки. Пойду за остальными.

— И я с тобой, Демьян Иванович. Можно?— попросил усатый тракторист. Вместо ответа вожак обнял фронтового друга, а тот его. Как родные братья, они зашагали по развороченной гусеницами широченной ледяной дороге, не обращая внимания на ветер, ручьи и лужи.

— Итак, сынки мои, гоним последние!— произнес Демьян Иванович, одобрительно подтолкнул в спину очередного тракториста. Тот молодецки прыгнул в кабину и сразу дал ход. Старый механик невольно залюбовался молодым: чувствовались уверенность, деловая хватка. И вдруг к машине кинулся Степаныч, что-то закричал, показывая руками. Командир оцепенел: у берега лед надломился, трактор качнуло... Водитель плавно увеличивал обороты, широкие гусеницы поползли быстро, весело. Фух, черт. Молодец!.. Давай следующий!

В кабине пятьдесят девятого, рядом с водителем, уселся усатый инструктор. «За этих можно не беспокоиться,— подумал Демьян Иванович.— Счастливого вам пути!»

На пустынном берегу остались последний трактор и древний всадник на присмиревшей лошадке. Молоденький голубоглазый водитель неуверенно забирался на гусеницу, облепленную грязью. Несколько прыжков — и старый механизатор в кабине. Придержал руку паренька на секторе газа:

— Теперь потруднее стало, хлопче. Давай я поведу. Мне это не впервые, привычно... А ты ступай... Ступай.— И, высунувшись наружу, крикнул: — Будь здоров, отец!

— Рахмат! — ответил заулыбавшийся казах и помахал рукой.

Опасное место он проехал сторонкой. Шестидесятый плавно продвигался вперед, к заветной цели, к своей борозде. И Демьяну Ивановичу начало рисоваться давно засеянное поле, море зеленой пшеницы. Жена Антонина Федоровна, сын Алеша и дочурка Олеся идут за ним по стежке. Тучные колосья шелестят, важно кланяются в пояс, ласково щекочут руки, поят хлебным ароматом. Для вас это, для твоего народа, Герой. Ты отважно бился с врагами, ты мужественно трудишься. Ты все можешь, умелец хлебороб. За это щедрые дары свои приносит кормилица-земля.

Ливень резко оборвался, перестал. В разрыв облаков проглянуло солнце, жидким золотом брызнуло по ожившей степи, отразилось в луже, желтое, как око совы. Отмытая, чистая, блестящая гусеница наехала, растоптала его. Порыв ветра на взбухшей реке вызвал крупную зыбь. Что-то гулко треснуло, зашуршало, захлюпало, как давным-давно на весеннем Днепре. Трактор сразу погнало вниз по течению, по ветровому стеклу дробно застучали потоки мутной воды. Он резко накренился влево, клюнул носом. «Неужели

плывем?.. Выправить крен, не дать заглохнуть. Бывало похуже. Газу, газу... Ну, ты, еще напрягись. Берем!»

Траки заскользили по кромке, откалывали куски льда, ныряли в бурлящую пучину. Нет, зацепили, гусеницы убавили бег, напряглись. Стальная махина дрогнула и, выпрямляясь, поползла на твердое. Двигатель застучал ровнее, четче. Демьян Иванович крепче сжал рычаги. «Так держать. Как танкисты... Еду, Тосенька. Вперед и дальше. К деткам... Ночь. Зачем она?.. Включить плафоны!.. Свети, Олеся, свети же, доченька...»

За поединком человека и стихии с левого берега зорко следили пятьдесят девять рабочих совхоза, а с правого — шестидесятый, житель степей. И никто из них не смог подать товарищу руку помощи: река клокотала.

Между искрошенными льдинами, в огромной проруби, всплыли сизые пятна масла. Взволнованные люди медленно склонили головы, потянулись к шапкам.

* *
*

И взошла, налилась, зацвела пшеница. От края до края. Густая, днем и ночью шелестящая, колосистая, тучная пшеница.

На пологом берегу мутной сибирской реки, где погиб тракторист, стоит теперь памятник. На барельефе, точно живой, Демьян Иванович уверенно правит громадой бронзового трактора. Взгляд его сосредоточен, фигура напряжена, а на суровом лице воина проступает светлая детская улыбка.

Виктор Подойницын

ДОКТОР ВОЛГИН

Рассказ

Весна в этом году выдалась непонятная. Такого даже не помнили старожилы. В первых числах марта установилась на редкость теплая погода. В полдни запарили южные скаты крыш, зажурчали веселые ручейки, и тайга задышала на город ароматами талой хвои. У горизонта, за частоколом далекого леса, в пролитом золоте заката плавился тяжелый рубин солнца. Приметы вещали ясные дни. И вдруг ударили морозы. Землю сковала гололедица, по зеркальной поверхности наста покатился пронизывающий северо-западный хиус. Так продолжалось до середины апреля. Однако время все же брало свое. Как-то ночью ветер переменился. Вместо сизых холодных лоскутьев небо закуталось в плотное одеяло туч. Их немые серые громады ползли и клубились из-за далеких Саянских гор. И земля наконец вспотела, проснулась, овеялась парным теплом. На южных склонах обнажились проталины. По распадкам, по нетронутому панцирю таежных ключей забурлили потоки воды. Дня за четыре до мая проглянуло горячее солнце. Весна полностью вступила в свои права.

Высокий молодой человек, немного нескладный с виду, поправил на себе короткий халат и осторожно открыл двери.

Неизвестно почему, но все работники больницы в кабинет главного хирурга входили с чувством неосознанной робости. Нет, он не кричал, не требовал, даже не поучал, как это делали иные его коллеги, но почему-то его присутствие или даже упоминание имени заставляло сразу понижать голос и лишний раз не забывать, кто ты есть.

Волгин переступил порог, в нерешительности остановился, не зная, куда девать неуклюжие, отнюдь не докторские руки. Сидевший за столом старичок, не поднимая глаз, чуть заметным кивком головы указал на диван, продолжая что-то спешно писать в блокноте. Волгин сел. Кабинет хирурга был необыкновенно тесен. Кроме письменного стола и дивана, почти половину полезной площади занимали два больших коричневых шкафа. Они возвышались по обе стороны дверей, тяжелые, массивные, и все остальное, что находилось в кабинете, вместе с портретом Пирогова и самим хозяином, щупленьким седым старичком в очках с оправой из тонкого золота, казалось вещами второстепенными, приданными к угрюмым хранилищам книг.

Кончив писать, старичок непонимающе посмотрел на Волгина, а тот, смутившись, опередил вопрос:

— Вы меня звали, Константин Леопольдович.

— Ах, да. Да, да, я правильно велел позвать вас, доктор. Дело, брат, таково — ситуация,— он испытывающе посмотрел в глаза Волгина.— Васильевой сегодня нет, она уехала в область, а с участка Веселого сейчас звонили, что там тяжело заболел ребенок. Вы ни разу не бывали на Веселом?

— Нет, не бывал,— ответил Волгин, чувствуя, чем ему грозит такая ситуация.

— Но оказать больному помощь,— продолжал старичок твердым спокойным голосом, — мы должны при любых обстоятельствах. Придется ехать, вот как.— Волгин согласно кивнул головой, попрощался и вышел в коридор.

— Да-а, действительно, ситуация.

В больнице Волгин работал второй год. Он успел зарекомендовать себя как подающий надежды молодой врач. Выезжать на вызовы Волгин никогда не отказывался, но сегодня был особенный день. Дело в том, что сыну Волгина — Толику — исполнялся второй год. По этому случаю собиралась небольшая вечеринка. Волгин вошел в свой приемный кабинет, оделся и, взяв дежурный чемоданчик,

вышел во двор. Шел дождь. Забрызганный грязью старый больничный газик стоял у крыльца.

— Куда?— спросил шофер.

— На Веселый.

— Бывали. Прошлой осенью с Татьяной Иннокентьевной дважды бывали.

— Далеко?

— Если через первую переправу, то часа через четыре дома будем, а, если через дальнюю, через лесосечную, то, пожалуй, только к утру управимся, далековато.

Волгин знал, что Василий, так звали шофера, имел привычку расстояния определять по времени, причем время обычно увеличивал вдвое из расчета, как он говорил, на всякое непредвиденное.

— Тогда давай завернем до дому, жене сказать надо.

Предупредив, что он самое большое задержится на четыре часа, Волгин наскоро выпил стакан чаю, завернул в газету два пирожка, переоделся в плащ и поспешил к машине.

Когда миновали черту города, вдруг неожиданно повалил снег. Он летел большими пушистыми хлопьями, плотно, как бумагой, залепляя лобовое стекло. Да, непонятная была весна. Кто бы мог подумать, что после таких дней, в начале мая, когда по времени должны распускаться почки черемух, вновь возвращалась зима.

Дорога шла перелесками. За распутицу скаты машин прорезали в ней глубокую колею, и маленький легкий газик иногда цеплял диферами за взбугренный отвал грязи. От усталости и непогоды Волгина клонило в сон. Ни говорить, ни думать не хотелось. В уставшем мозгу копошились обрывки каких-то видений. Они возникали на фоне плывущего мимо пейзажа и оттого казались неестественными, лишенными привычного смысла. Надрывно выл мотор. Машина почти все время работала на второй передаче. Местами колеса не доставали до твердого грунта и подолгу мылили густую липкую грязь. Волгин задремал, но на ухабе машину сильно тряхнуло, и он больно ударился о рамку лобового стекла. Еще не успев порядком прийти в себя, Волгин почувствовал, как машину занесло и она сползла в кювет. Мотор заглох. Даже из кабины было видно, что скоро отсюда не выбраться. Шофер откинулся на спинку сиденья, обтер со лба испарину.

— Кажется, приехали, доктор. Без лопаты тут не выберешься.

Волгин и сам видел, что рвать машину по такому бездорожью дальше бессмысленно. Впереди чернела еще более глубокая канава, пропаханная, видимо, трактором. Словно угадывая мысли, шофер дополнил:

— Это лесники позавчера тракторами МАЗы протаскивали. Мы тут сразу на дифера сядем. Даже пытаться не стоит. Вот они, наши сибирские-то дорожки.

— А далеко еще до Веселого в километрах?— поинтересовался Волгин.

— Километра три до переправы да километра два той стороной. Оно ведь, Веселое, не на самой Нерге, а на притоке. Угощайтесь, доктор.

— Волгин машинально взял папироску, закурил.

— Дальше я пойду пешком. До ночи, быть может, успею. Ты мне дай на всякий случай отвертку, все же тайга.

Шофер достал из багажника замасленную сумку, развернул, вынул отвертку, подал Волгину.

— Медведя не убьешь, а от волка отмахнуться можно. Только вряд ли зверье гуляет в такую погоду.

Волгин заткнул отвертку за пояс.

— Там как, на переправу сворот? Или прямиком выходит?

— Сворот. Прямая вдоль берега в лесосеку пойдет, а к парому налево. Сворот там единственный, заблудиться трудно.

Волгин потуже затянул шарф, взял чемоданчик и с подножки выпрыгнул на обочину дороги. Шофер вылез с другой стороны, ступив сапогом прямо в грязь.

— Доктор, сколько на ваших?— спросил он Волгина, когда тот уже повернулся идти.

— Без пяти девять.

— Давайте договоримся так: до переправы вам самое большое сорок минут ходу. До одиннадцати я постою здесь. А то, может быть, переправа-то не того, мало ли что может быть. Вам тогда за всю ночь до дому не дотащиться.

— Это, пожалуй, верно, ты прав. Ну, ладно, пока.

— До свиданья.

А на лес между тем уже опускались сумерки. Синим холодным туманом они расползались между голых осин, и пустые бесцветные перелески были унылы, как в ноябре. Волгин шел по целику по обочине дороги. Снег на чубиках прошлогодней травы проминался беззвучно, и было такое ощущение, что ступал он не по земле, а по слою простеганной ваты. Вскоре ботинки промокли. Сырые носки прилипали к ногам.

К реке Волгин вышел неожиданно. Оказалось, что от развилки дорог до берега было

не более двухсот метров. В мутной дымке угасающего дня, в хаосе летящего снега уже не был различим противоположный берег. Вода, отражая темно-серый цвет неба, казалась густой, как застывший мазут. Река уже почти очистилась ото льда и, напоенная бесчисленными притоками, текла на уровне с кромкой берега. Сторожка приютилась в стороне, под густыми кронами пихты. Еще издали Волгин понял, что в ней никто не живет. Подойдя ближе, он увидел: в единственном, обращенном к реке оконце не было стекол, а толстая дощатая дверь была снята с навесов и лежала у стены рядом с темным провалом входа. Видимо, паромщик не жил здесь с самой осени. Значит, никакой переправы сейчас нет. Волгин устало привалился к стене, закурил. Он представил себе, что все три километра обратного пути придется брести в темноте по грязной разбитой дороге лишь потому, что люди еще не успели навести переправу. На душе сразу стало холодно и тоскливо. А не заночевать ли здесь? Затопить в сторожке печь и дожидаться утра? Утром, быть может, кто-нибудь появится на той стороне и Волгина перевезут через реку. Правда, к больному он прибудет значительно позже, но что делать? Ну, а если на берегу разжечь костер и посигналить светом? Волгин вспомнил: километра два той стороной. Нет, костра из Веселого не увидят. Просто нужно осмотреть сторожку и идти к машине, пока еще не поздно. Волгин переступил порог. Темнота углов дохнула на него запахом плесени. Где-то под ногами пропищала мышь. Волгин зажег спичку. Бледный огонек с трудом растолкнул темноту, обнажив угол сломанных нар, прикрытых слоем прелого сена, разрытый короб с песком и свисающий к нему с потолка конец прогоревшей железной трубы. Внутренность сторожки напоминала заброшенное зимовье, в котором похозяйничал медведь. Спичка угасла, угольком ущипнув пальцы. Плавно сомкнулась темнота, обрисовав фиолетовые проемы. Волгин присел на доску. Снег не переставал. Казалось, что совсем невысоко, на уровне вершин леса, его порождала наступающая ночь.

«Десять минут отдохну,— думал он,— итого в запасе у меня остается еще больше часа. Интересно, вытащил ли шофер машину?»

Оттого, что Волгин не двигался, стала значительно ощутимей прохлада. В свежем, профильтрованном через стенку снега воздухе особенно остро чувствовался горький запах черемух. Дважды в темноте неба проплыл возбужденный гусиный гомон. Косяк, видимо, был застигнут снеговой тучей и, повинуясь чувству слепого наития, шел над рекой в поисках защищенного плеса.

Прямо напротив двери, шагах в тридцати, маячил наклонный силуэт мертвяка. За него был привязан канат. В сумраке сгущающейся ночи облепленный снегом столб походил на одинокого бурлака-великана, который из бездны пространства в глухую холодную хмарь тянул непосильную стальную бечеву. Позади завозились мыши.

«А что, если сделать плот? Нечем и не из чего. Притом плот унесет далеко вниз, за устье притока. Нет, этот вариант не подходит».— Постепенно мысли перенеслись домой. Толик, наверное, уже спит. Гости в ожидании хозяина листают журналы или лениво поддерживают разговор. Жена прислушивается к шуму машин, и все строят различные догадки. А где-то здесь, недалеко, за рекой, люди тоже прислуживаются к звукам ночи, считают минуты в надежде отпугнуть призрак несчастья, посетившего домашний очаг. Волгина угнетала беспомощность. Взгляд его снова остановился на силуэте бурлака-великана.

«А что, если...»— он еще сознательно не сформулировал пришедшей ему мысли, однако решение, казалось, было найдено. От этого Волгин даже вскочил на ноги. Нет, перебраться по канату через полуторасотметровое русло реки было почти невозможно. Конечно, если просто висеть на руках, то самое большее, на что можно рассчитывать, это двадцать, от силы тридцать перехватов. Вот если бы была люлька, такая, как на подвесной дороге, где по тросу катится ролик, на траверзе ролика подвешена корзинка, однако этого фактически нет, значит, не к чему и пустая фантазия. Все же беспомощен иногда еще бывает перед природой человек. Но мысль о канате как-то сама собой увлекла Волгина. По крайней мере, она давала слабый проблеск реальной надежды, заставляла работать ум. Волгин подошел к столбу, подпрыгнул, ухватился за тугую вибрирующую сталь и несколько секунд повисел на руках. А не попробовать ли такое сооружение сделать самому? Кажется, на канате должно быть навешено проволочное стремя в виде буквы «Л», к концам которого укреплена деревянная перекладина. На перекладине можно сидеть и, перебираясь по канату руками, двигаться. Так постепенно в деталях Волгин представил весь будущий процесс переправы. Пусть на это уйдет час, два часа, половина ночи, но ведь это была идея, была цель, ради которой стоило пробовать.

Проволоку Волгин нашел на чердаке. В сторожке от нар отломал удобный кусок доски и принялся за работу. Проволока была упругая, сталистая, стоило больших усилий соорудить приспособление. Волгин залез на мертвяк и с него сел на перекладину, но оказалось, что руки в таком положении не могут быть свободными, приходилось держаться за стремя. Волгин снова обшарил всю сторожку, сжег почти всю коробку спичек, но подходящего ничего не нашел. Ему была нужна веревка, чтобы привязаться к своему приспособлению. Пришлось лезть в яму и расплетать свободный конец каната.

«А ведь не лишне будет оставить записку,— подумал Волгин, отгибая отверткой проволоку. — Только что написать? Разве так: я, доктор Волгин, в ночь на пятое мая перебирался по канату через реку, идя на вызов к больному. Нет, это будет слишком мемориально. Не это важно сейчас».

Чемоданчик Волгин прикрепил поясным ремнем на спину, подогнул полы плаща, залез и сел на перекладину. Проволокой он привязался к стремени на уровне груди, дважды инерцией тела попробовал крепость сооружения и, убедившись, что держится крепко, сделал первые робкие перехваты. Внизу зачернела вода. Стала почти физически ощутима ее студеная глубина. Хлопья снега касались поверхности и, не успев растаять, уносились течением. Поэтому, если смотреть вниз, казалось, что Волгин вместе с канатом летит вдоль реки. Это было неприятное ощущение, от него кружилась голова, терялась координация движений. Волгин стал смотреть на канат в том месте, где держался за него руками. О себе сейчас он думал, как о каком-то постороннем. Опасность не пугала его, хотя здесь, над водой, темнота казалась значительно гуще.

Интересно, как бы на его месте поступил сейчас другой, хотя бы главный хирург? Наверное, сидел бы и дрожал или, наоборот, в приливе душевного подъема, преисполненный чувства отваги, настойчиво добивался цели. Упорство свойственно натурам подобного типа, ведь они повидали жизнь. За полтора года совместной работы Волгин ни разу не видел хирурга в нерабочей обстановке и как он был удивлен недавно на первомайской демонстрации, увидев, что у этого невзрачного старичка висело целых восемь орденских колодок. А видел ли Волгин за свои немногие двадцать семь лет серьезные трудности? Где и когда опасность встречала его лицом к лицу, одного, без помощи и надежды? Нет, такого случая Волгин не помнил. И оно, пожалуй, и явилось, его серьезное испытание. Неужели он не найдет в себе силы, если придется плыть по воде, неужели он струсит и повернет назад? Зачем тогда было начинать эту затею, эту игру в храброго человека?

Однажды, когда Волгин работал первые месяцы, в больницу привезли девочку. Ее сшибла на улице машина. Смерть уже касалась ее холодным дыханием, а врачи, понимая всю безнадежность дерзаний, продолжали бороться за жизнь. Волгину надолго запомнились широко открытые глаза матери, ясные, светло-василькового цвета и в то же время наполненные ужасом, выражением немого вопроса: почему иногда так жестока и безжалостна бывает судьба в своих превратностях?

К середине реки канат шел с уклоном, двигаться было легко. Волгин даже попытался считать перехваты.

«Если каждый метр,— думал он,— равняется приблизительно трем перехватам, то на всей ширине реки их должно быть около четырехсот».

В начале второй сотни Волгин больно уколол руку о конец порванной проволоки каната. Он приложил ладонь к губам и с минуту отсасывал кровь, боясь, чтобы в порез не попала ржавчина. При этом он снова посмотрел вниз и с тревогой заметил, как темное зеркало воды скользило всего в полуметре от ступней ног. А ведь у берега он висел на высоте двух с половиной метров. Пройдена только треть пути. Неужели канат касается воды? Волгин подышал на оледеневшие пальцы, попытался пошевелиться на перекладине. Хорошо, что еще нет ветра. В ветер было бы значительно труднее, в ветер по реке гуляла волна. Теперь Волгин не боялся смотреть на воду. Канат неумолимо понижался. Через двадцать-тридцать перехватов Волгин со страхом почувствовал, что ноги коснулись воды. Она плыла и шевелилась совсем рядом. Летели и исчезали хлопья снега, вместе с канатом, с подвеской, увлекаемый темнотой ночи летел и Волгин. Чувство, которое руководило им сейчас, нельзя было назвать боязнью. Скорее всего оно походило на безразличие, так как вся его духовная энергия сосредоточилась на достижении цели. Ради нее он совершал умышленный риск, ради нее висел над пастью смертельной глубины, имея в своем арсенале всего-навсего только желание.

Канат качнулся и завибрировал. Отчего? Неужели за него зацепился плывущий пред-

мет? Волгин понял: на середине канат провисает до воды. Ему отчетливо представилось, что по реке еще продолжают плыть льдины, вывернутые с корнем деревья, а иногда даже целые лесные заломы, и что каждую минуту из темноты неожиданно, как щупальцы спрута, могут высунуться цепкие корни, схватить и вместе с перекладиной оторвать от спасительного каната. Поэтому медлить особенно рискованно, нужно как можно скорее преодолеть опасные метры.

Несколькими энергичными перехватами Волгин снова подался вперед. Ноги коснулись воды. Течение теперь стало ощутимо, как упругая движущаяся масса. Вода мгновенно наполнила ботинки, жгучая, как кипяток. И вдруг ступни ударились о что-то твердое. Мгновение — и Волгин почувствовал, что скребет коленями по шершавому ледяному полю. Сознание работало трезво, оттого и решение возникло мгновенно. Волгин вскочил на ноги, держась руками за проволоку, перекладина сползла на поясницу, и побежал по льдине, на ощупь пропуская через стремя канат. Кажется, его спасла секунда, когда льдина кончилась и он уже миновал середину реки, трос начал подниматься, и все же Волгин по самые колени погрузился в воду. На перекладину он успел подтянуться на последнем метре и не потому, что видел кромку ледяного поля, а просто почувствовал достаточную высоту каната и что самая большая опасность осталась уже позади. Ноги ломило от нестерпимой боли. Один, другой, третий — он делал стремительные перехваты, чувствуя, как вода уходила все ниже и с нею вместе со струйками, стекающими с ботинок, таяли последние остатки сил.

Берег Волгин увидел внезапно. Он туманно забелел в десяти-пятнадцати метрах. Стало слышно, как плеснула вода, видимо, в нее шлепнулся комок земли. Превозмогая боль в руках, Волгин подтянулся вплотную к пахнущему свежей глиной обрыву. Канат с этой стороны висел всего в полуметре над берегом. Волгин боком заполз на мокрый снег, волоча на себе приспособление, лежа развязал проволоку, встал и как пьяный сделал несколько неуверенных шагов. Снег перестал. В черноте неба заблестели отдельные звезды. Волгин остановился, чужими, негнущимися пальцами достал папиросы, но, сломав две последние спички, так и не смог закурить. Фосфорические стрелки часов показывали половину второго, значит, все путешествие заняло полтора часа. Волгин пошел почти наугад от реки на гору, ориентируясь по заметной просеке, где, вероятно, летом проходила дорога. На Веселое он пришел под утро. Восток уже лизнула полоска зари, и в доме, в единственном доме на всей улице, где не гасили на ночь свет, доктора уже почти не ждали. Волгин не рассказал о своем приключении, ведь теперь люди привыкли считать, что доктора, бывает, прилетают на вертолетах или обычно приезжают с надежным видом транспорта.

Д. СЕРГЕЕВ

Перекати-поле

Рассказ

— Рядом с вами свободно?

— Свободно. Садитесь, пожалуйста,— ответил Архипов.

— Очень приятно.— Грузный немолодой мужчина в военном костюме без знаков отличия широко и устало улыбнулся, достал из кармана большой клетчатый платок и вытер пот с лица и лысины.— Извините за любопытство, далеко путь держите?

Мужчина, видимо, был разморен жарою, но старался быть любезным.

Валентин Андреевич объяснил, что он геолог, ему нужно на рудник, и что он уже второй день понапрасну ловит попутную машину.

— В таком случае вы родились под счастливой звездой,— сказал мужчина в военной форме.

Геолог вопросительно поднял брови.

— Да, да,— убежденно и почти радостно заверил его новый знакомый.— Я, Галоев Петр Савельевич, возвращаюсь в Потрехинское сельпо — это по пути через рудник. Могу подвезти.

— Очень вам благодарен.

— Не стоит. Может, вам еще покажется неподходяще: мы будем ехать два дня, не меньше; наше средство передвижения дедовское — конные подводы. Со мной их две, одна свободная. Если устраивает, милости прошу. Медленно, но верно.

— Это, пожалуй, лучше, чем ждать здесь попусту.

— Я думаю. Ну что ж, для приятного знакомства — по сто пятьдесят. Не возражаете?

У Валентина Андреевича месяц назад обнаружили гастрит, и он дал самому себе слово не пить, но ради такого случая на время снял с себя тяжелое обязательство — не хорошо обижать нового знакомого при первой встрече. В характере Архипова есть такая черта — он никого не обижает, и у него никогда не бывает врагов, правда, друзей тоже — одни приятели.

Петр Савельевич был разговорчивым. По его собственным словам, он оказался потомственным даурским казаком, хотя в его отяжелевшей фигуре геолог не увидел ничего лихого, казачьего. Впрочем, о казаках Архипов имел туманное представление.

Галоев смотрел на собеседника пристально, и, когда улыбался, небольшие глаза его мгновенно светлели и сразу же гасли. Кожа вокруг глаз казалась более темной; на выбритых красных щеках просвечивали тонкие жилки. Выпив, он заказал еще, потом еще и рассказал геологу множество сведений про старину, про конные праздники, про партизан... Архипов выпил вместе с ним, и постепенно в его глазах Галоев вырос в лихого казака на удалом коне со свистящею в воздухе шашкою, которая одинаково ловко срезала прутья и головы беляков.

...Через час Валентин Андреевич принес свои вещи из гостиницы. Перед чайной стояли две подводы. Задняя была гружена тюками и ящиками, поверх воза был натянут брезент, закрепленный веревками. На передней сидел Галоев, вытянув ноги поперек телеги. Полуоткрытые глаза его глядели сонно. Спиной к нему сидел возница. Оба коня были крупные и одной масти — гнедые. Сытые бока их лоснились на солнце. Архипов пристроил свой чемодан и рюкзак позади и сел рядом с Галоевым. Молодой парень обернулся, небрежно оглядел нового спутника и, тронув вожжами, сказал:

— Но, родные!

Петр Савельевич развалился на соломе и через минуту захрапел. Валентин Андреевич некоторое время смотрел на спину возницы, потом тоже лег и задремал. Пробудился он далеко за поселком. Галоев все еще спал, за-

крыв лицо носовым платком. Захотелось пить, Архипова начала мучить изжога.

«Зря я пил водку», — подумал он, вздыхая и облизывая языком сухие губы.

Парень оглянулся, в его прищуренных глазах, равнодушно скользнувших по лицу геолога, спряталась усмешка.

— Вода не скоро будет? — спросил Архипов.

— Вон под тем бугром скважина. В прошлом году пробурили, — ответил парень, показав куда-то вперед. — Там и коней будем кормить.

Навстречу приближался мотоцикл. Его стало видно по струйке пыли еще издали, когда не было слышно мотора. Ехали двое: вел мотоцикл юноша в кожаной куртке и защитных очках, на заднем сидении была девушка. Оба, мотоциклист и девушка, поздоровались с возницей и посмотрели на Архипова. Ветром раздувало платье девушки, позади мотоцикла поднималась пыль, запах бензина долго стоял над дорогой.

Этот-то запах и вызвал воспоминание. Восемь лет назад он, Архипов, так же ехал на мотоцикле, а позади него сидела девушка. Ехали они, кажется, по этой же дороги. Тогда у него не было изжоги и он чувствовал себя совсем молодым, да он и был молод — двадцать семь лет. Девушка, видимо, робела и, когда он давал полный газ, обхватывала его руками и прислонялась к нему грудью. Ее звали Зина, она только что окончила десятый класс, ей нужно было в районный центр в райком комсомола и еще куда-то. Валентин Андреевич охотно согласился завезти ее по пути. Трудно сказать, красивая ли была Зина, но у нее приятное лицо, она молода и привлекательна, ловкая и быстрая, она весело и просто улыбалась и доверчиво смотрела ему в глаза.

— Мама хочет, чтобы я стала учительницей, как она, а мне не нравится, я буду врачом, — рассказывала она Архипову, когда они ненадолго остановились у небольшого родника с холодной водой, которая имела неприятный вяжущий привкус.

Лицо у Зины смуглое, с большими круглыми глазами, она загорелая и очень свежая. Архипов помнит, как волновали его прикосновения ее рук и особенно то, что она прижималась грудью к его спине. Он через рубашку ощущал тепло ее тела. Когда он заглушил мотоцикл у райкома комсомола, Зина спрыгнула с сидения и, приветливо махнув ему рукой, вбежала на дощатое крыльцо. Походка у нее легкая и стремительная.

Скоро проснулся Петр Савельевич, некоторое время он лежал, протирая глаза и отдуваясь, потом сел.

— Ну и жара, — сказал он. — Федька, далеко скважина?

Парень обернулся. На лице его безразличная улыбка, он ничего не ответил.

— Я кого спрашиваю?

— Сам небось должен знать: не первый раз по этой дороге едем.

— Вот идол. Дадут ведь такого черта несговорчивого, — выругался Петр Савельевич и начал обмахивать лицо носовым платком. — Пивца бы сейчас холодненького.

Через полчаса Федя остановил лошадей у источника. Вода здесь шла под напором, стекая по цементному желобу небольшим пульсирующим ручейком в кювет. Федя выпряг коней, рукою пощупал под седелками и привязал лошадей на выстойку к телеге.

У Архипова в рюкзаке был черствый батон и немного колбасы, у Петра Савельевича нашлись рыбные консервы, свежепросольные огурцы и поллитровка водки. Валентин Андреевич изобразил на лице страдальческую мину и от выпивки отказался. Галоев налил себе полкружки, выпил несколькими судорожными глотками.

— Вот так надо — лихо, по-казачьи, — сказал он и закусил хрустящим твердым огурцом.

Валентину Андреевичу очень хотелось взять огурец, но Галоев не предлагал, а поскольку геолог отказался пить водку, ему было неудобно брать продукт, явно предназначенный для закуски.

Федя зачерпнул воды в котелок и сел отдельно. У него тоже были огурцы и хлеб, он жевал хрустко и с аппетитом. Пахло огурцами. Пообедав, Петр Савельевич расстелил в тени возле телеги плащ, лег и вскоре захрапел. Федя встал и, отряхивая с колен хлебные крошки, презрительно посмотрел на спящего.

— Дрыхнет казак, — сказал он, сплевывая в сторону, и, обратившись к Архипову, пояснил: — А его батька и правда казаком был.

Федя расстелил на траве брезент и насыпал коням по мерке овса. Валентин Андреевич сел в тень, прислонившись спиною к колесу телеги. Далеко между сопками в долине виднелась деревня. Издали можно было различить много новых домов: они выделялись свежим цветом бревен. Оттуда, со стороны деревни, приносило шум мотора, и Архипов подумал, что если это попутная автомашина, то он пересядет. Но гудение мотора не приближалось. Немного погодя, Валентин

Андреевич заметил на краю вспаханного поля крохотную точку — это был трактор, и по временам слышался его мотор. Широкая вспаханная полоса поднималась на пологие сопки, посреди чернеющего пара выделялись только желтые ленточки незатронутых оврагов. Архипов вспомнил, как красиво и ароматно бывает в оврагах в конце июня, когда расцветают белые и розовые цветы марьиных кореньев.

И опять он подумал о Зине. В тот год — восемь лет назад — он был в разведочной партии, которая стояла в пятнадцати километрах от села, где жила девушка. Чтобы увидеть Зину, Архипов каждый вечер приезжал в деревню на мотоцикле — он не мог не встречаться с нею. После поездки в райцентр они чувствовали себя давнишними друзьями. Он знал о ней все: как она училась, чем болела в детстве, кто ее мама, когда умер отец, хорошо ли она помнит его, какие книги любит читать... Наедине с нею Архипов легко переносился в свою недавнюю юность, вспоминал школьные проказы, годы студенчества и рассказывал смешные истории о преподавателях.

У них было излюбленное место для прогулок — ближний овраг за деревней. Склоны оврага, точно оспинами, были изрыты тарбаганьими бутанами. Возле нор на земле желтели высыпки щебня. Иногда можно было увидеть зверьков, перебегающих от норы к норе. Но чаще они неподвижно столбиками стояли возле нор, а едва к ним приближались люди, стремглав скрывались под землей. Сопки были иссечены овечьими тропами; из деревни с дымом приносило запах аргала, а со дна оврага поднимался нежный аромат цветов. Овраг снизу был крутой, а самое дно его углубляла промоина. Вода по дну не текла, земля в бортах была сухая, и из нее торчали запыленные камни.

Зина и он поднимались в вершину распадка, деревня скрывалась за горой. Вдоль сухих промоин густо росли невысокие кустики марьиных кореньев. Одни цветки на них были раскрытыми и уже осыпались, другие висели на стеблях еще завернутыми в тугие бутоны. Каждый вечер Зина рвала букет цветов и уносила домой. Архипов помогал ей выбирать лучшие цветки и провожал ее до окраины деревни, а потом возвращался к оврагу, на дне которого лежал оставленный мотоцикл.

Однажды в воскресенье он приехал днем и позвал ее. Они шли по знакомой тропе, взявшись за руки; их пальцы едва касались.

— Я не надолго,— сказала Зина,— мне нужно помочь маме, она ждет меня. Мы пройдем еще немного и вернемся.

Она сорвала цветок и воткнула его в петлю у воротника. Бутон склонился на стебле и лег в вырез платья. Архипов смотрел на него и видел под цветком открытую кромку груди. Кожа там была нежная, белая, почти такая же, как на лепестках цветка, а выше выреза начиналось шоколадное, загорелое тело.

— Ты придешь сюда вечером?— спросил он.— Я буду ждать и никуда не уйду.

— Как, даже обедать не будешь?

— Даже обедать не буду. Ты принесешь мне чего-нибудь поесть.

— Но я освобожусь нескоро, ты проголодаешься.

— Ничего.

Они повернули назад и спустились к дороге. Зина сняла с ног туфли и, зажав их в руках, быстро побежала по обочине дороги.

Она пришла вечером, когда было еще светло. Он весь день ждал ее у дороги. Она шла босая, держа туфли в руке, в другой руке был сверток с едой.

— Ты не боишься змей?— спросил он.

— Нет. В детстве я всегда ходила босиком, и они никогда не жалили. Все ребятишки ходят босиком. Я и сейчас еще люблю.

— Это заметно.

Она села на край дороги и обула туфли.

— Поешь, я принесла вареных яиц, хлеба и квасу.

— Это чудесно! Но я поем там, в нашем цветнике.

Когда они поднялись вверх по оврагу и деревня скрылась за холмом, он обнял ее и поцеловал в ямку между грудями, там, где кончался загар и начиналась нежная белая кожа, и он услышал запах марьиных кореньев.

...Сейчас ему снова почудился этот запах, хотя была осень и марьины коренья уже давно отцвели.

Архипов посмотрел в другую сторону и вдалеке увидел целую колонну автомашин: на другой стороне долины была дорога, которая связывала рудник с железнодорожной станцией.

Федя подвел лошадей к цементной яме, где скапливалась вода. Кони прошли возле спящего Галоева, он проснулся и испуганно подобрал ноги.

— Еще поближе не мог?

— Не пугайся, казак,— усмехнулся Федя. Слово «казак» он произнес с непередаваемым

оттенком презрения, как будто вся беда была в том, что Галоев казак.

Дорога постепенно уходила влево, приближаясь к горам. Солнце опустилось низко и было как раз над холмом с зубчатой гранитной стенкой останцев. На одном из выступов, нахохлившись, сидел степной орел, он сидел неподвижно и казался высеченным из камня. Вдалеке по склону спускалась отара овец в сопровождении двух конных пастухов. Когда телеги приблизились, овцы пересекли дорогу и медленно двигались поперек долины к виднеющейся юрте. Когда подводы достигли отары, от нее отделилась крупная черная собака. Пробежав половину пути, она остановилась и залаяла. Один из всадников обернулся и что-то негромко сказал, собака еще раз тявкнула и возвратилась обратно.

Дорога пошла на подъем. Архипов спрыгнул на землю. Он легко обогнал лошадей, слышал только, как позади лязгают ободья колес на камнях. Впереди открылась деревня, и вновь ожили воспоминания. Интересно знать, где сейчас Зина, сбылась ли ее мечта стать врачом? Он вспомнил, как тогда закончилось их недолгое знакомство. В конце июля его отозвали в управление. Он последний раз встретился с Зиной в овраге. Марьины коренья уже отцвели, на месте цветов были угловатые зеленые плоды, где созревали семена. Он не сказал ей, что завтра уезжает, и на другой день проехал через деревню в автомашине, не выглянув из кабины. Он уезжал со смутным чувством вины и со сладким сознанием превосходства своей мужской свободы.

Может быть, она и сейчас живет здесь, в деревне. Интересно, как встретит она его теперь?

Возле дома, где когда-то жила Зина, он невольно задержался. Двор был обнесен редким плетнем, и Архипов видел, как в стороне от крыльца умывается мужчина, раздетый до пояса. Рядом на колоде лежала запачканная в мазуте одежда. Мужчина широко расставлял ноги и наклонялся низко к земле. Худенькая девочка в цветастом ситцевом платье, приподнявшись на цыпочки, поливала из ковша на спину и шею теплую воду, от которой поднимался пар.

Мужчина фыркал и весело ухал, девочка улыбалась. На крыльце стоял мальчик лет пяти и внимательно смотрел на них. Когда мужчина двигал руками, подставляя ладони под струи воды, на широкой загорелой спине у него под блестящей от воды кожей передвигались мышцы.

— Вам кого?— спросила пожилая женщина с ребенком на руках, останавливаясь возле Архипова и с любопытством глядя на него. Лицо женщины выражало тревогу, видимо, она кого-то ждала.

— Зина Павлова не здесь живет?— спросил он, будучи твердо уверен, что Зины давно нет в селе.

— А как же, тут, тут,— сказала женщина.— Танька, к вам вот,— крикнула она девочке, которая поливала воду, и сама пошла дальше не оглядываясь.

— Петька,— позвала девочка.

Мальчик прыгнул с крыльца и подбежал к ней.

— На, поливай,— девочка отдала ему ковш, а сама подошла к Архипову.

— Вам кого, дяденька?

— Зина, Зинаида... Сергеевна Павлова здесь живет?— ответил он, изумленно глядя в лицо девочки. Отчего-то оно показалось ему неуловимо знакомым. Взгляд у девочки внимательный, настороженный и не по-детски серьезный. Сама она худенькая и белокурая, платье на ней без рукавов, ноги босые.

— Папка,— сказала она негромко, и голос ее тоже показался отдаленно знакомым,— вот дяденька маму спрашивает.

Мужчина повернул на секунду намыленное лицо и сказал:

— Пригласи в дом. Проходите... Зина скоро вернется.

Валентин Андреевич растерялся и в нерешительности стоял, глядя на девочку. Она тоже смотрела на него, ожидая, когда незнакомец зайдет во двор. Так вот почему лицо девочки показалось знакомым. Архипов никак не предполагал, что Зина может быть замужем. Неожиданный визит его был совершенно не кстати, и геолог выдумывал предлог для отступления.

— Вот ты где,— услышал он голос Петра Савельевича. Архипов повернулся на спасительный возглас.

— Пойдем со мной, у меня дружок на краю. У него и заночуем,— сказал Галоев.

Архипов ушел вслед за ним, оставив девочку в недоумении. Ему запомнился ее вопрошающий и серьезный взгляд.

Галоев шагал посредине пыльной дороги, тяжело переставляя ноги. Позади через несколько домов Архипов увидел подводы и Федю, который заводил лошадей в чей-то двор.

— Зайдем-ка сюда,— предложил Петр Савельевич, показав на угловой дом с вывеской «Сельпо».

— Неловко как-то с пустыми руками,— объяснил он Архипову, когда они вошли в ма-

газин, и спросил у продавца три поллитровых бутылки водки. Архипов достал деньги и заплатил.

Они миновали центр села, где был клуб, свернули в проулок. На левую руку стоял новый дом под еще не покрашенной железной крышей, без сеней, с крыльцом из двух ступенек.

— А, Петр Савельевич! Вот не ждал,— приветствовал гостей невысокий худощавый мужчина в сером, тщательно разглаженном костюме. Голос хозяина был нарочито приветлив, но улыбка на лице вовсе не выражала радости, он растерялся, беспокойно оглядывал вошедших и, казалось, прислушивался к чему-то внутри дома.

— Заходите, заходите,— говорил он, безучастно глядя на Архипова.

В это время в другой комнате раздалось бойкое постукивание каблуков, и в дверях показалась улыбающаяся женщина. При виде гостей улыбка на лице ее погасла; невнимательно глянув на Архипова, она сказала, обратясь к Галоеву:

— А, это вы.

— Да, милейшая,— весело отозвался Галоев, как будто не замечая неприветливости хозяйки,— я собственной персоной и со своим наилучшим приятелем.

— Вижу, что с приятелем.

Валентин Андреевич чувствовал себя неудобно. Должно быть, Галоева здесь знали достаточно хорошо и радости при встрече с ним не испытывали. Женщина, так и не поздоровавшись с Архиповым, ушла обратно. Мужчина в сером костюме ненатурально улыбнулся гостям и, зачем-то приложив палец к губам, прошептал:

— Я на одну минутку,— и тоже ушел вслед за женщиной.

Петр Савельевич сел за стол, Архипов стоял у порога.

— Проходи, садись,— предложил Галоев, показывая на стул рядом с собою.

Валентин Андреевич сел не глядя на него. Из карманов, оттопыривая их и мешая сидеть, торчали горлышки бутылок. Он вынул их и поставил на стол. Галоев заговорщически улыбнулся ему и убрал водку себе под стул.

Хозяева шептались за стенкой, вначале неразборчиво, но потом Архипов расслышал голоса.

— Нехорошо будет. Я останусь,— говорил мужчина.

— Как знаешь,— громко ответила женщина. — Я ухожу в клуб — сегодня новая картина. А если ты и сегодня напьешься, уйду жить к маме. Надоел мне этот твой пьянчужка.

— С ним же еще человек.

— Вижу, человек. Разбойником его не назовешь.

Архипов посмотрел на Галоева. Тот безмятежно улыбнулся, словно ничего не слышал.

Женщина прошла к выходу через комнату, не посмотрев на гостей. Слышно было, как ее каблуки отстучали на ступенях. Муж проводил ее растерянным взглядом и виновато улыбнулся гостям, будто хотел сказать: что с нее взять — женщина.

Архипов про себя решил, что ночевать не останется, переспит во дворе на телеге, тем более, что в чемодане у него есть шерстяное одеяло.

Хозяин поставил на стол полную миску огурцов, нарезал сала и достал из печки чугунок тушеной картошки с мясом. Галоев откупорил бутылки.

«Не надо бы мне пить»,— несмело подумал Архипов.

* *
*

Геолог проснулся посреди ночи от холода. Над его головой поднимался бесконечно глубокий черный купол неба, густо усеянный блестками мигающих звезд. Болела голова, знобило. Под ним шумело сено. Он лежал, глядя на звезды, и пытался вспомнить, как попал сюда. Видимо, мысль уйти из дома, где они с Галоевым были явно нежеланными гостями, привела его хмельного на этот стог. Как он взобрался наверх, Валентин Андреевич не мог вспомнить. Он долго лежал с закрытыми глазами, стараясь снова уснуть, и не заметил, когда взошла луна. Он привстал на сене и огляделся. В свете луны виднелись молчаливые, полные странных теней незнакомые дома. Их окна отражали лунный блеск. Шурша сеном, дул ветер. Ночь была прохладная. Сопки казались небольшими и обманчиво далекими, а равнина, где расположилась деревня, представлялась беспредельной, как небо, и казалось, нет ничего больше во вселенной, кроме этой деревни, звездного купола, луны, головной боли и бессильного недовольства собою.

Неожиданно с поразительной ясностью вспомнился внимательный взгляд вчерашней девочки, которая старательно поливала из ковша теплую воду на спину отца, и Архипов понял, отчего лицо ее показалось ему знакомым; вовсе не оттого, что она была

дочерью Зины,— девочка мало походила на свою мать, — она была похожа на него.

Он резко пошевелился, сено под ним расползалось, и он скатился на землю. Земля была мягкая, унавоженная, он не ушибся. Сидя в затишье под стогом, достал из внутреннего кармана кожаный бумажник и наощупь разыскал среди документов и денег одну небольшую фотокарточку с обтрепанными углами. В лунном свете невозможно было увидеть изображение, но он знал, что это был тот самый снимок. Он отошел в сторону от сена и зажег спичку. Порыв ветра погасил пламя. Невдалеке залаяла собака, ей отозвалась другая, и вскоре по всему селу разносился бестолковый собачий перебрех. Валентин Андреевич укрылся от ветра за угол сарая, снова зажег спичку и осветил фотокарточку. На фотографии был снят мальчик-первоклассник с большим ранцем за плечами. Лицо у мальчика бледное и худое, широко раскрытые глаза напряженно смотрят в объектив... его глаза и вместе с тем глаза вчерашней девочки. Он чиркал спички одну за другой и все вглядывался в потускневшее от времени изображение. Ему вдруг до боли стало жаль давно утраченной ясности своего детского взгляда. Наконец он спрятал снимок обратно в карман и, ни о чем не думая, чувствуя только тяжелую боль в висках и тошноту, прошел через какой-то двор, перескочил через изгородь и очутился на деревенской улице. Дул ветер, холод проникал под одежду. Он отыскал двор, куда вечером заворачивали подводы. Телеги стояли за оградой; у одной из них оглобли лежали на земле, у второй были задраны кверху, на гладкой утоптанной земле под телегами лежали черные тени. Он раскрыл свой чемодан, вытащил одеяло и, завернувшись в него с головою, лег на телегу, собрав под себя всю солому.

Он поднялся утром, едва рассветало. Чувствовал себя разбитым, продрогшим и нездоровым. С окраины деревни доносилось гудение моторов. Было по-осеннему холодно и ветрено, солнце скрывалось за низкими облаками.

Когда он свертывал одеяло, из дому вышел Федя, у него был свежий и бодрый вид и порозовевшее лицо.

— Вы здесь спали?— удивленно спросил он.— Чего ж не в доме?

Федя спустился с крыльца и прошел в стайку. Кони встретили его сдержанным ржанием. Архипов достал из рюкзака полотенце, мыло и ушел умываться в огород к колодцу. Причесываясь перед карманным зеркалом, он пристально разглядывал свое лицо, словно давно не видел его. Интересно, узнала бы его Зина с первого взгляда или нет. Как он облысел и постарел за это время, будто прожил не восемь лет, а все двадцать. Подглазья у него были опухшими, глаза тусклые, вид, как у выздоравливающего.

— Зайдите позавтракать горячего,— предложил Федя.

Архипов отказался — есть ему не хотелось.

— Я лучше пойду пешком вперед. Дорогу знаю,— сказал он и, подумав, добавил:— Хочется размяться после сна.

— Хорошо,— ответил Федя,— мы через час выедем.

Архипов шел по улице мимо старых изб и новых построек, над которыми поднимались дымки с характерным запахом аргала. Село просыпалось: слышался скрип отворяемых дверей, мычала скотина, оглашенно кричали петухи, настойчиво тарахтел трактор... Ветер порывами поднимал над дорогой струйки пыли и гнал их вдоль улицы.

Из ворот дома на другой стороне улицы вышла женщина в светлом пыльнике. У нее была красивая походка. Ветер развевал полы плаща и выше колен обнажал ноги в светлых чулках. Архипов сразу узнал ее — это была Зина. Она спешила и шагала стремительно, почти бежала и про себя чему-то улыбалась.

Он растерялся и, не зная, как ему поступить, смотрел на нее — она очень мало изменилась, только лицо у нее стало взрослее. Она равнодушно скользнула взглядом по его лицу, на котором была написана страдальческая мина от мучившей его изжоги, по согнутой фигуре и не узнала, совсем не узнала, даже тени воспоминания не промелькнуло у нее на лице. Должно быть, она никогда не представляла его в таком жалком состоянии. Она дошла до угла улицы и вбежала на высокое крыльцо дома с вывеской, которую Архипов не смог прочесть,— она была к нему наискось.

«Какая у нее удивительная походка и какая она стройная, как и та, давнишняя Зина. Но ведь это она и есть. Да, она», — подумал он и некоторое время стоял посредине улицы, глядя на затворенную дверь, в которую вошла Зина. Потом поворотился и медленно побрел дальше. Он ушел за деревню. Вот и знакомый овраг, те же оспины тарбаганьих нор вдоль косогора.

По оголенному склону ветер гнал засохшие неуклюжие кусты перекати-поля. Они

прыгали через впадины и, подхваченные порывами ветра, катились вниз. Архипов долго наблюдал за одним из них. Ветром прикатило его на край оврага, потом он, словно живой, пробежался по самой кромке обрыва и, наконец, свалился в узкую щель промоины. Здесь ветер не тревожил больше, и куст укатился на дно, где уже лежали несколько таких же засохших перекати-поля. Еще недавно ветер кружил их по сопкам, они перекатывались с места на место, рассыпая свои семена, а теперь вот обрели покой и лежали недвижимые, бессмысленно исполнив роль, назначенную природой.

В. Гусенков

КАЛИНУШКА

Лишь представлю все, о чем поется
В песне этой,— как не подивиться,
Если сине море разольется,
Горько закручинится девица,
Загудит березовая роща,
Полыхнет калинушка-калина...
Ах, калина! И чего бы проще?..
А ведь пели даже у Берлина.
Сам Суворов, стоя у палатки,
Говорил: «Помилуй бог. Родная»,—
Вспоминая, как его «ребятки»
Песню эту пели у Дуная.
Засыпали у костров солдаты
И за снами шли в простор зеленый,
Где кусты калины возле хаты
Шелестят над чьею-то Аленой.

Так повсюду думы навевая
О родной сторонушке далекой,
Помнилась калинушка кривая
Молодцам до старости глубокой.
Сколько же воды с тех пор умчало,
Намело сугробов у колодца...
Но все так же с самого начала
Песня эта русская поется.
«Ой, да ты, калинушка-калина»,
Знать и впрямь слова твои крылаты,
Если в сорок пятом у Берлина
Не забыли о тебе солдаты.
Да и как забыть свое, родное,
Если море так и заискрится
И в далеком полуденном зное
Запоет, заплачет молодица.

ПАРНИШКА

Один пулемет и четыре коня.
Чубатый парнишка глядит на меня.
Казацкие сотни уходят в туман...
И тут обрывается старый роман.
Состарился критик. Писатель устал.
На рыжем пригорке расцвел краснотал.
Темнеет в цейхгаузах труб серебро.
Я вспомню парнишку — и стисну перо...

Костры угасали в ковыльной глуши.
Восход разливал золотые ковши.
На гулкой тачанке за песнею вслед
Летел мой герой восемнадцати лет.

Храпит жеребец, закусив удила,
Крутая дорога от зноя бела.
Над гривами вихри, сам черт не поймет,
И в черных ладонях стучит пулемет.

О, давнее время кровавых атак,
Мы пели не так и любили не так.
Над нами вставала иная заря,
И, значит, парнишку я вспомнил не зря.
Куда бы меня ни бросала судьба,
Куда бы меня ни скликала труба.
Я знаю, что рядом, лаская коня,
Чубатый парнишка глядит на меня.

Б. САХАРОВСКИЙ

Два рассказа

ЛЮБОВЬ

Вечереет. Стою на крыльце районной милиции. Жду оперуполномоченного. Рядом, в палисаднике, тихонько постреливает перезревшими стручками акация. Пегая в пятнах теней лежит степь.

Дежурный сержант, невысокий загорелый мужчина, покурив с нами, уходит, сославшись на дела. Мы остались с грустным небритым парнем в измазученной куртке-распашонке.

— Шофер?— спрашиваю его, чтобы как-то скрасить ожидание.

Он утвердительно кивает головой и снова закуривает. Потом торопливо и путано, перемежая слова глубокими лихорадочными затяжками, рассказывает:

— Из колхоза я. Плахи на лесовозе возил. Из последнего рейса ко мне в кабину техник сел, а грузчик, что со мной ездил, в кузов перебрался, на плахи. Едем потихоньку. Вдруг слышу, грузчик кричит: «Стой!»— и кулаками по кабине. Остановился я, смотрю: правая стойка вывалилась, плахи на земле. А под ними — грузчик... Сейчас в больнице он. Три ребра сломало. А я вот здесь. Начальника жду. Дежурный меня уж в поликлинику сводил, дескать, не пьян ли.

Парень замолк. В глазах у него грусть, отчаяние и, кажется, немного страха.

«Ничего! Перемелется — мука будет»,— хочу я сказать ему, но вместо этого достаю папиросы, протягиваю ему. И сам закуриваю. Сидим, курим, молчим.

Идет женщина. Каблуки ее гулко стучат по доскам тротуара. Не доходя до крыльца, она ныряет под кусты акации в калитку палисадника.

— Вова, Володя!— слышится оттуда ее тихий голос. Немного погодя, она легонько стучит в одно из окон длинного низкого милицейского здания. Не получив, видимо, ответа, женщина закрывает калитку, подходит к нам.

Одета она просто. Серая юбка и красная вязаная кофта. Под одеждой, туго натягивая ее, выпирает живот. Женщина скоро будет матерью. У нее молодое, совсем юное лицо, чуть тронутое веснушками. Над красивым, с едва заметной горбинкой носом грустные большие глаза. Губы чуть-чуть припухли.

— Молчит,— ни к кому не обращаясь, говорит она. — А может, в другую камеру перевели? Пойду еще позову.

Но тут вернулся сержант.

— Опять пришла?— грозно спрашивает он женщину.— Я бы на твоем месте не ходил. Пропади он пропадом такой муж.

Она виновато молчит. Потом просит сержанта передать мужу сверток, который держит подмышкой.

— Да он еще и той передачи не съел.

— Так и знала,— вздыхает женщина. Потом неожиданно резко говорит, почти кричит сержанту:— А вы куда смотрите? Человек сутками ничего в рот не берет, а вы его не заставляете!— Потом уже тише добавляет:— Он у меня такой. Рассердится — и дома днями не ест...

Ей, видимо, очень хочется поговорить с мужем, хоть взглянуть на него, и она терпеливо ждет, пока уйдет сержант. Я пытаюсь помочь женщине — прошу милиционера показать, где у них телефон, надеясь хоть на несколько минут увести его.

— В коридоре, налево.— сухо бросает он и не двигается с места. Женщина, разгадав неудавшийся мой маневр, благодарно смотрит на меня и уходит. Мы взглядами прово-

жаем ее. Красная вязаная кофта в последний раз мелькнула на повороте и скрылась в переулке. Мы с шофером, как по команде, поворачиваемся к сержанту.

— Вышла за шалопая — и мучается!— зло бросает он, поняв наш немой вопрос.— А он у нас уже неделю сидит. Поганый в общем-то человек. Работать не работает, только водку пьет с дружками. Да по бабам еще шляется.

Сержант умолк. И молчит-то он зло, как говорил.

— Любит она шалопая этого!— убежденно говорит шофер, и в глазах его уже не печаль и страх, а огоньки радости за женщину, за ее любовь. Нечто подобное испытываю и я. Сержанту это непонятно.

— За что же любить-то его?— удивляется он.

— А так, ни за что,— отвечал шофер.— Любит. И человека из него сделает. Перевоспитает!

— Вряд ли!— упорствует сержант.

Кто из них прав? Очень хочется, чтобы правда оказалась на стороне шофера, чтобы победила большая любовь незнакомой женщины с юным лицом и пухлыми детскими губами...

ДРУЖБА

Демьян проснулся, как всегда, на заре. Вскочив с кровати, потянулся, с хрустом расправляя сильные свои плечи, вышел во двор. Густая, сизая от росы трава приятно холодила босые ноги. Марина — молодая Демьянова жена — вышла следом за ним, стала доить корову. Пенясь, торопливо зацвиркали молочные струйки. Руки у Марины маленькие, но сильные, доят умело, быстро. Демьян залюбовался ими, а Марина, улыбаясь припухшими от сна глазами, сказала:

— Ну, чего уставился? Сглазишь.

Демьян промолчал и, повернувшись, медленно пошел под навес, в противоположный угол двора. Здесь у него стоял столярный верстак, а на стене висело несколько кос. Выбрав одну из них, попробовал пальцем остро отточенное лезвие. Тонкая сталь ответила мелодичным и долгим звоном. «Эту и возьму»,— решил Демьян.

Наскоро поев хлеба с молоком и захватив приготовленный женой «сидор», он отправился к хомутарке, куда один за другим сходились колхозники. Последним нехотя приплелся Галба, старинный, еще со школьных лет, дружок Демьяна, восемь лет пропадавший неизвестно где и лишь недавно вернувшийся в родное село к старушке матери.

Утро уступало дню. Под широкими плавными взмахами Демьяновой косы покорно ложилась трава. За Демьяном, отстав от него на добрый десяток шагов, тянулся Галба. А утро уже окончательно исчезло в бездонной синеве июльского неба. На смену сырой прохладе пришло солнце, несущее с собой полуденную жару.

Махать косою становилось все труднее. Непривычному Галбе косьба казалась тяжким наказанием за грехи, которые он совершил в своей недолгой, но беспутной жизни, а минута передышки казалась ему дороже всего на свете...

С детства отличался он от ровесников беспросветной ленью. Ленился уроки готовить, списывая задачки у товарищей, отлынивая от домашней работы, а с годами лень стала распространяться на большее. Едва осилив четыре класса, Галба бросил школу. Потом его удалось пристроить в ремесленное училище, которое он и окончил, как говорится, со скрипом. Два года после этого Галба работал, так как нужно было рассчитаться с государством за обучение, а идти под суд ему не хотелось. Затем, гонясь за длинным рублем, завербовался на Север. Потом его носило еще по многим местам, долго искал он легкой жизни. И, не найдя ее, снова Галба объявился в родном селе. Встреча с Демьяном была радостной. Друзья обнялись, вспомнили детство. На столе появилась водка. Разговаривая, выпили по одной. Повторили. Но когда любивший выпить Галба потянулся к бутылке, чтобы налить еще, Демьян остановил его:

— Погоди, успеешь. Ты мне вот что скажи: приехал ты домой — это хорошо. А дальше как? Чем заняться думаешь?

— Не знаю,— пожал плечами Галба.— Поживем — увидим.

— Нет! Ты мне ответь,— не уступал Демьян.

— Ну чего ты пристал ко мне?— рассердился Галба.— Пристроюсь где-нибудь. А если нет, куда-нибудь подамся. Свет велик...

— «Где-нибудь» да «куда-нибудь»,— передразнил Демьян.— И не надоело тебе болтаться, как тряпье на пугале, глаза людям мозолить?

На этом разговор о дальнейшей судьбе Галбы и кончился, так как Демьян решил отложить его до утра.

Чуть свет хозяин разбудил гостя.

— Вставай, друже!— басил он.— Дело есть.

Галбе до смерти не хотелось вылезать из приготовленной Мариной мягкой и уютной постели, и он, отмахнувшись от друга, с головой укрылся одеялом. Тогда Демьян сорвал с него одеяло, схватил Галбу, щуплого и легкого, в охапку и потащил к дверям. Тот бился, барахтался, злился, пытаясь вырваться, но безуспешно: силен был Демьян и хватка у него медвежья. Хохоча во все горло, он тащил свою ношу на улицу. Здесь бережно поставил Галбу на крыльцо и, перестав смеяться, сказал:

— Утро-то какое! Смотри!

— А дело какое? Говори, что ли,— проворчал Галба, которому от утренней свежести мигом расхотелось спать.

— Потом, потом!— отмахнулся Демьян.— Ты, пока жинка не увидела, штаны натяни да умойся. А я дровец нарублю.

Так и сделали. Потом сели завтракать, и Галба несколько раз заводил разговор о том, чтобы опохмелиться, но поддержки со стороны Демьяна не получил, а Марина его одернула полушутя, полусерьезно:

— Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что опохмелялся...

— Ну, друг, идем на покос,— сказал Демьян после завтрака.

— На покос?— не понял Галба. А потом взбеленился:— Да ты смеешься, что ли? Я не колхозник.

— Не колхозник, так будешь,— спокойно ответил Демьян.— Да идем скорей, а то мужики уедут, придется нам с тобой пешком топать.

— Не пойду, и не зови!— продолжал возмущаться Галба.— В колхоз! Нашел дурака.

— Пойдем,— твердо настаивал Демьян.— Прогуляешься, разомнешься. А вечером поговорим, пропустим по маленькой.

И Галба сдался. «В самом деле,— решил он,— почему бы не провести денек на свежем воздухе?..»

Но оказалось, что не денек. Назавтра повторилось то же самое, с той только разницей, что ночевал Галба дома, а Демьян зашел за ним. Еле поднялся тогда Галба: страшно ныли от непривычно тяжелой работы руки, ломило спину, но он все-таки пошел на покос и проработал целый день, потому что этого требовал друг. На третий, четвертый и пятый день Демьян каждое утро заходил за Галбой и увозил его в луга. А сегодня почему-то не зашел, но Галба все-таки пришел к хомутарке. Пришел и вот теперь косит, мучается.

На слове «мучается» мысли Галбы свернули в другое русло. «Мучается, мучается,— повторил он мысленно несколько раз.— А почему, собственно, мучается? Вон Демьян, небось, косит себе и никакого мученья. И прошлое лето косил, и позапрошлое, и на будущее лето косить будет. И живет замечательно. Дом — полная чаша. Жена-красавица, ребятишки... А чем я хуже?»

И руки Галбы сами собой стали чаще, сильнее ударять косой, пядь за пядью стал он нагонять ушедшего далеко вперед Демьяна. Через несколько минут друзья уже почти поравнялись.

— Отдохнем?— предложил Демьян, увидев, как измучился Галба.

— Коси давай!— последовал ответ.— А то пятки порежу.

С работы вернулись поздно. Прощаясь с Демьяном у своих ворот, Галба спросил:

— Не знаешь, Демьян, когда заседание правления будет?

— Зачем тебе?

— Да так, поговорить хочу, а может, меня в колхоз примут. Как ты смотришь?

Петр Шмаков

ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ ЛЕТ

Рассказ

Утро выдалось спокойное, с легким, таявшим незаметно для взгляда туманом. Зоревой ветерок, дувший с озер, стихал, словно обессиленный в пути.

Алексей стоял на берегу озера и следил за полетом важных и расчетливых чаек. Озаренные лучами молодого солнца, они отливали розовым блеском. Пролетев круг, чайки стремительно падали вниз и, разбивая грудью тяжелую гладь воды, снова взмывали кверху.

В родном селе Алексей не был восемь лет. Много, наверное, воды здесь утекло с тех пор, немало изменилось и в жизни Алексея.

...Восемь лет назад Алексей приехал в родное село на каникулы. Из близких здесь жил дядя по матери. Под вечер Алексей с ружьем вышел на берег озера. Уток плавало видимо-невидимо. Словно гордясь своим оперением, они ныряли у самого берега с удивительной ловкостью, не касаясь высоких стеблей камыша. Выстрелив дуплетом, Алексей дождался, когда рассеется дым, и, к огорчению, не обнаружил ни одной убитой утки. Вспугнутые выстрелами, они с шелестящим свистом поднялись в воздух и уселись далеко от берега.

— Промазали!— послышался веселый девичий голос. От неожиданности Алексей вздрогнул и обернулся.

К берегу шла девушка. Ростом она невысокая, чуть пониже Алексея, но в движениях и твердой походке угадывалась сила. Полные руки, ноги, грудь — все как бы подчеркивало ее силу. Круглое лицо с крепким, слегка вздернутым носом, удивительно тонкие, с резко очерченной гранью губы, влажные и румяные, крупные белые зубы. Голубые глаза, широко открытые, и в их уголках Алексей увидел красные сеточки.

— Вы смотрите на меня, будто я из водного царства,— засмеялась девушка. Грубоватый голос казался знакомым и добрым. Слова она произнесла четко, не торопясь, уверенная в том, что ее слушают.

— Собственно, ничего не успел подумать,— сознался Алексей, улыбнувшись.— Промазал вот...— Он кивнул головой в сторону улетевших уток.

— Бывает. Охота — дело не простое, как кажется. Мой дед до сих пор стреляет из широкого, как труба, ружья. А заряжает его через дуло обрезками гвоздей и железок всяких. И, веришь ли, по пять уток бьет зараз,— она засмеялась просто, весело.

Не прошло и пяти минут, они беседовали, как старые товарищи, называя друг друга на «ты».

Окончив 7 классов, девушка решила не ехать в город, да никто и не настаивал сильно. В деревне жили ее брат, замужняя сестра и мать. С тех пор и работает прицепщицей на тракторе у брата.

Алексей слушал и не спускал взгляда с ее лоснящегося от загара широкого лба, с бровей, тонких и длинных.

Они сели на перевернутую лодку-плоскодонку. Ленивые волны без шума накатывались на берег, касались голых ног девушки.

— Люблю босиком по песку,— улыбнулась девушка, заметив, что Алексей смотрит ей на ноги.

— Не боишься? Наколоть можешь,— заметил он и подумал: «В такой глуши живет хорошая девушка и сознательно приковала себя к деревне. Наверное, не имеет представления о больших городах, театрах». Веселый смех девушки прервал раздумье, и Алексей удивленно поднял глаза.

— Дедушка мой сейчас плохо видит,— заговорила она, продолжая смеяться,— и убил домашнюю утку на озере. Ох, и забавы было, видел бы ты...

Сиреневый вечер разлился, обнял камыши,

скрыл горизонт. Выкатилась над степью огромная красная луна, и вдоль озера упала ребристая матовая полоса.

— Мне домой,— девушка встала с лодки и поежилась от свежего вечера.— До свидания. Будем знакомы, меня зовут Ливой,— протянула сухую и крепкую ладонь.— Имя мое мне самой не нравится, так не удивляйтесь, когда услышите, что многие зовут меня Валей.

Алексей назвал свое имя.

Девушка на прощанье кивнула головой и ушла в сторону деревни.

Идти следом Алексей посчитал неудобным, а пригласить пойти вместе она или забыла, или попросту не пожелала. Алексей снова опустился на лодку и стал смотреть на озеро, на таявшую полоску заката, на лунную дорожку. Потянул ветерок, с металлическим посвистом зашумел камыш, перекликнулись утки. А за спиной, в деревне, родилась песня, задушевная и зовущая. Алексею вдруг показалось, что ее пела Лива.

Каждый вечер в одну и ту же пору Алексей уходил на озеро, бродил по песчаным берегам, кидал галькой в чаек и пел:

...И чайки над морем летят...

Ходил, ожидал встречи, но не хотел себе в этом сознаться.

Как-то он поднялся с зорькой и побежал порыбачить удочками. Клев был хороший. Не успеет поплавок замереть на поверхности зеленоватой глади, как дрогнет и стремительно пойдет вниз. Вот уж тут не зевай — раз — и подсек. После смело тяни удилище, и в воздухе, сверкая влажной чешуей, затрепещется огромный, словно надутый, язь. Около двух десятков висело на снизке, когда Алексей, смотав удочку, собрался идти в деревню.

К берегу шла Лива. На ней синее платье, на ногах красные тапочки. Утреннее солнце разрумянило лицо, и вся она светилась радостью.

— О, богатейший улов!— воскликнула девушка, присев и трогая пальцем самого крупного язя.

— На зорьке самый клев,— растерявшись от неожиданной встречи, произнес Алексей, рассматривая девушку.

— Я кое-как вырвалась к озеру. Сегодня пересменок у нас. В ночь неделю работала. Завтра в день. Соскучилась по озеру. Я думала, ты уехал, не простившись, и хотела на тебя рассердиться. Отдохнуть и здесь можно, как на порядочном курорте. Знаешь, Алеша, сюда даже писатели приезжают из Новосибирска. Один из них подарил книгу с надписью. Об охоте и рыбалке пишет. О нашем озере упоминается. Дочитать все не доберусь. Теперь уж до зимы.— Глаза девушки во время разговора делались то чисто голубыми, то голубыми с легкой тенью, а при последних словах в них проплыло облачко грусти. Длинные ресницы дрогнули, упали и снова поднялись, и глаза по-прежнему голубые, радостные.

— Пойдем по берегу, люблю песок топтать.

Вечером они снова встретились и ушли за деревню в степь. Необозримая даль со свинцовым отблеском озер слева поражала своей величественностью. И хотелось Алексею во всю силу пуститься бегом и мчаться, не переводя дыхания, до горизонта и, как в детстве, открыть там новый мир.

Алексей рассказывал девушке о своей жизни, о том, что он здесь родился и родители его уехали, когда ему было два года. О родном крае много говорила мать, и вот захотелось побывать, посмотреть на озерную сторону.

Давно стемнело, звезды золотыми крапинками украсили небосвод, а они ходили по мягкой от пыли дороге и говорили.

Каждый вечер они сходились на окраине деревни у развесистых берез, закрывающих село от посторонних глаз, и уходили в степь, к дальним озерам.

Как-то Алексей сказал девушке о неумолимо приближающемся дне своего отъезда. Лива весь вечер была грустна и мало говорила.

Остановились у ее дома. Девушка села на низкий плетень, взявшись за сухие колья. Алексей стоял рядом.

Молчалось.

Лива сжала своими сухими ладонями лицо Алексея и поцеловала долго, крепко.

— Кажется, ты для меня дорог,— задумчиво и со свойственной ей грубоватостью и простотой произнесла Лива.

Алексей прижался щекой к лицу девушки и молчал. Только сердце билось совсем подругому— тихо, с тонкой болью.

— Алеша, ты приедешь сюда?— она смотрела перед собой в темноту, и Алексею думалось, что обращается она к кому-то другому.

За озером длинно рокотал трактор, тревожно вскрикивали утки за огородом.

— Конечно, для городского трудно у нас,— и тише добавила:— Но это же твоя родина, она должна манить.

Алексей молчал, боясь обидеть девушку неосторожным словом. В нем боролись разноречивые чувства. Трудно расстаться с девуш-

кой, полновластной хозяйкой степных просторов, и нужно было ехать. Учиться еще два года, а там — широкий заманчивый трудовой путь. Хорошо, если бы она поехала с ним. Они стали бы вместе учиться... Лива станет ему надежным другом...

— Знаешь, Лива, мы поедем вместе, тебе надо учиться...

Он не успел договорить начатую фразу, как девушка зажала ему рот ладонью, пахнувшей почему-то полынью, и ответила:

— Не продолжай, не надо.

— Но, понимаешь...

— Понимаю. Ты поедешь. И если, к счастью, не умрут в тебе дружеские чувства, то приезжай попроведовать. Ну, а если...

Девушка спрыгнула с плетня, поправила платье, волосы и, улыбнувшись близко перед самым лицом Алексея, снова поцеловала его.

— Вот все, Алеша. Пора домой. Не забывай, что я прицепщица, рано вставать.

Провожать Алексея Лива пришла в серой шевиотовой юбке и голубой кофточке с отложным вышитым воротничком. Глаза чуть светлее кофточки, грустные, с затаенной душевной песней, готовой вот-вот вырваться наружу.

Они молча шагали по дороге, по которой бродили обнявшись столько вечеров. И как хорошо им было. Не думалось тогда об отъезде, не было горького осадка на сердце.

С прощальным криком пролетели чайки, грустно махали ветвями с редкой желтизной листьев березы. А в мыслях неотступно:

...И чайки над морем летят...

— Вот и машина, Леша, идет. Давай простимся.

Алексей помнит ее глаза, наполненные светлыми слезами. Они не бежали по щекам, не срывались крупными каплями с обгоревших на солнце ресниц, только в зрачках Алексей читал: «Будешь ли со мной, милый?»

Алексей тяжело вздохнул от воспоминаний и медленно побрел по берегу. На этом месте лежала лодка-плоскодонка, на которой они сидели в первый вечер. Девушка ближе к озеру, а он — здесь. Волны тогда лизали ей ноги, как знакомая собака, преданно и нежно.

Солнце, изучившее свой каждодневный путь, взбиралось по небосклону уверенно, по-хозяйски.

Как все изменилось. Колхоз построил свою электростанцию, разросся рыбзавод, и от него бесконечной вереницей идут груженные рыбой автомашины, построено немало новых домов с большими светлыми окнами.

Только по-прежнему в деревню возят пресную воду с озера Мчищево. Скоро и это уйдет в предание: колхоз приступил к строительству водопровода.

Через два дня Алексей уезжал: надо побывать в Новосибирске у товарища, съездить на новое Обское море, созданное руками человека.

Вечер последнего дня встретил Алексея хмуро. В вышине неуютно копошились сизо-палевые тучи, и в тот момент, когда налетал слабый ветер, будто пробовавший свои силы, брызгал рассеянный дождь, стуча по тесовым крышам, пробуравливая озерную воду.

Алексей медленно подходил к конторе колхоза. Пятистенный старый дом с подведенным фундаментом и с новой крышей стоял в глубине улицы. Алексей поднялся по крепкому, сбитому из тесовых плах крыльцу, открыл дверь и сразу же очутился в просторном кабинете. В комнате налево занимались бухгалтера — оттуда доносился характерный стук костяшек и шуршание бумаг.

У окна в кабинете за двухтумбовым столом сидела женщина и что-то торопливо писала в блокноте. Она подняла голову, метнула взгляд на вошедшего и мягко улыбнулась. Перед Алексеем была Лива. Широкий открытый лоб прорезали три морщинки, и прежние голубые глаза.

— Леша!? — произнесла женщина и поднялась из-за стола.— Через кои времена пожаловал в родные края.

— Проездом, два дня пробыл. Узнать зашел, как с машиной.

Глаза Ливы уронили на миг появившуюся искорку и приобрели прежнее строгое выражение.

Утром Лива провожала Алексея. Скучно говорила о себе, о своем житье-бытье.

— Председательствую пятый год. Заочно окончила техникум, так вот и не покинула свой уголок.— Последние слова, как показалось Алексею, она подчеркнула с особой теплотой. На ходу сорвала белую ромашку и стала отделять лепестки, но, не оторвав и половины, отбросила ее в сторону. На прощанье подала ладонь, такую же жесткую и крепкую, как раньше.

— Через два часа будешь в Барабинске. Я, знаешь, Алеша, так и живу одна. Раз вышла за проезжего — неудачно. Сын растет. Так. Прощай, Леша,— губы ее дрогнули в подобии улыбки, но это была не улыбка, а невысказанная горечь разлуки...

Автомашина мчалась по ровному асфальту. Остались позади березовые колки, озеро со странным названием Мармыш, а перед глазами стоял образ простой деревенской девушки и опять:

...И чайки над морем летят...

Непонятное чувство раздвоенности теснилось в груди Алексея. Хотелось вернуться к тому, кто впервые возбудил любовь к родному уголку, кто стал дорог, и одновременно манил широкий простор вот с этой бегущей навстречу через степь дорогой.

П. Забелин

Вальс

Рассказ

Сущую ерунду говорит диспетчер. Да! Что сегодня суббота и в порту танцы, об этом ей лучше знать. Ей, а не ему и этим воображалам-проводницам. Она тоже умеет краситься, только ей не нужно этого, да! Лучше бы сказали наконец, когда прибывает рейс 018. Нужен только 018. Рем не может опоздать, они условились еще два дня назад: в 8 часов вечера в клубе аэропорта. Он говорил: «Я попросил знакомого трубача, чтоб сыграли вальс «Грезы цветов». Мы потанцуем». Забавный он, Рем Лесник, мужчина-гигант: голос медвежий, а любит нежную музыку. Он любит «Грезы цветов». Кате все равно, что танцевать, лишь бы ее талию держал Рем. Глупый диспетчер, ты не был влюблен! Иначе как можно сказать: «Связь с самолетом потеряна!» Разве ты не видел моего лица? Ведь уже половина восьмого. Я надела свое лучшее платье из штапеля, Рем еще его не видел. Будет просто смешно, если связь с самолетом не наладится. А может, это неправда, и он давно ждет ее в зале?

Катя выбежала из будки телефона-автомата, легко пересекла улицу, где на противоположной стороне переливался огнями клуб летчиков. Прилизанный молодой человек с бабочкой на шее, уже давно преследовавший ее, с признательным поклоном открыл дверь, а в гардеробе помог снять пальто. Противный, как он смотрит, у Рема не такой взгляд.

Зал был полным, и оркестр уже настраивался. Катя прислонилась к стене и принялась рассматривать группы молодых людей; они входили в круглый зал, рассаживались по рядам или просто стояли и беседовали. Все в летной форме, веселые, возбужденные, а иные под хмельком. Рема среди них не было. Вдруг Катя почувствовала нечто такое, от чего стало тяжело и больно. Рема не было. Он где-то еще далеко, в воздухе, на страшной высоте, его белокрылая машина врезается в холодную темноту. Рем не тратил слов на рассказы о своих полетах, Рем, беловолосый великан в собачьих унтах. В последнее время он был печален. У него погиб друг, с которым были проведены годы в училище. Он летал на северных трассах. Рем говорил, что машина Петра однажды ночью врезалась в скалу и друга привезли в цинковом ящике. Рем почти каждый день проведывал могилу, приносил живые цветы, которые брал в городской оранжерее у Кати. Цветы на могиле почти мгновенно умирали от мороза, и Рем приносил другие. Когда он пришел во второй раз и ушел, купив дюжину гиацинтов в горшках, Катя уже знала, что любит его. Она никогда не видела, чтоб так горевал большой человек. Придя третий раз, он вдруг улыбнулся Кате и назвал ее курносой. Она выбрала десять самых лучших гиацинтов и сказала, что денег не нужно. Рем долго смотрел на нее, подошел ближе, коснулся ладонью волос:

— Такие Петьке нравились.

...Труба тонко разорвала воздух, ударил барабан и запели скрипки. Зал закружился. Прилизанный парень с бабочкой вместо галстука пригласил Катю, но она убежала, даже не удостоив его взглядом. Не одеваясь, она пересекла улицу, кинулась к телефонной будке. Восемьдесят один... ноль два... две четверки... Диспетчер сказал:

— Связи нет.

— Где самолет?

Может, он говорит неправду? Может быть, в ту минуту, когда Катя звонила, Рем появил-

ся в зале? Она перебежала улицу, придерживая подол, ветер был шальной и колючий. Переступив порог, Катя прижалась к стене. Было восемь часов. Оркестр играл «Грезы цветов», а Рема не было. Она заметила, что на нее сегодня оглядываются больше, чем обычно. Катя знает свои достоинства, хотя Рем еще не сказал об этом. Ах! Что она слышит? Кто это шепчет: «Бедняжка, он...» Кто он? Рем? Нет, он обещал прийти, вы увидите!.. Диспетчер говорит сущую ерунду, а вы все ничего не знаете. Парень подошел к ней и склонился, улыбаясь:

— Подарите мне этот вальс. Не ждите его. Разве вы ничего не слышите?

Она не слышала его, она видела, как в кромешной тьме у самых звезд мчится Рем, сжимая штурвал. Белый свет луны лежит на его лице. Вдруг машина проваливается вниз, Рем не может ее удержать. О ком он вспоминает? О ней? Нет, наверно, о Петре. Скрипки поют высокими голосами «Грезы цветов». Рем! Я сейчас пойду позвоню!

На этот раз диспетчер спросил:

— Вы кто будете ему?

— Я его люблю!

Диспетчер сказал: «О-о», — и замолчал... Катя ждала. Наконец трубка заговорила:

— Связи нет. Ничего не можем поделать. Простите нас...

Когда она прибежала обратно и прижалась к стене, разглядывая каждого танцующего, парень с черной бабочкой на шее стал рядом. Глядя перед собой, парень сказал:

— Он погиб.

На нее оглядывались. Кто это опять сказал: «Он погиб»? Рем налетел на скалу, его везут... Зачем вы так смотрите? Я сейчас позвоню диспетчеру.

Ветер совсем изломал ее прическу, а платье поднимает выше колен. Какая холодная трубка у телефона!

Трубка долго не отвечала. Катя услышала вздох и после того слова:

— Девушка, это правда... Все порты ничего не знают. Самолет где-то упал...

Катя не слышала, что было сказано дальше. Она осталась в телефонной будке, содрогавшейся от злого ветра, и шептала, качая головой: «Он меня любит, он придет».

Катя не помнит, сколько она простояла так... Должно быть, очень долго.

Надо было куда-то идти, клуб с его огнями и звуками вальса внушал ужас. Катя бессознательно стала переходить улицу, и, когда ветер пытался подхватить ее, она не противилась...как лист. Не было ничего: ни ветра, ни холода. Она подумала, что надо надеть пальто, но тотчас же позабыла об этом. Кто-то подошел к ней и что-то сказал. Она смотрела вниз, видела лаковые туфельки, на их носочках прилепился талый снег. Чьи это такие хорошенькие туфельки? Ах, ее, ее! Они уже давно у нее. Зачем остановились эти унты перед ней, унты? Столь же бессознательно Катя медленно скользила взглядом по отороченным серым мехом голенищам, поднимавшимся выше колен. Затем показалась рука с маленьким белым свертком. Тогда она вскинула голову, у человека, который стоял перед ней, дрогнули мужественные губы. Рем сказал:

— Катя, я сделал все, что мог. Пойдем потанцуем. Это тебе.

Он взял ее деревянную руку и вложил в нее сверточек.

— Это тебе. Слышишь, наш вальс.

Рем обнял ее и закружил. Катя не говорила ни слова, она боялась, что это неправда. Пели скрипки.

— «Грезы цветов». Посмотри, что я тебе привез.

Рем, продолжая танцевать, взял из ее пальцев сверточек, развернул. То был маленький, но живой гиацинт, белый, нежный цветок с дыханием вечной весны.

— Рем! Ты обещал и ты пришел?

— Да! Ты мне дарила гиацинты, а теперь я привез тебе.

— Рем!

Катя стала плакать и смеяться. И все, кто был в зале, глядя на них, улыбались, кроме парня с бабочкой. Он стоял в дверях, а потом исчез.

Катя, кружась, закрывала глаза, и ей казалось, что она вместе с Ремом несется на страшной высоте. И нежные всплески вальса поднимали ее, останавливая дыхание, она открывала глаза, склоняя голову. На суровом бронзовом лице Рема смешались боль и радость. Он думал о том, что они всегда стоят рядом, как смерть и жизнь. Полчаса тому назад он вёл машину, вел вслепую, по одному наитию.

Если Катя спросит, он расскажет. Два часа шли в облаках при сильном боковом ветре. Штурман стал бледен и сказал, что курс правильный. На трассе бушевал шторм, облака были небывалой толщины. Спускаться ниже к земле — грозили горы. Бортрадист доложил о неисправности рации, второй пилот беспомощно суетился вокруг него. Да, Катя, я вез не один гиацинт. В пассажирской кабине спали двенадцать детей и один воспитатель. Все они были из детдома,

а в городе их ждали рабочие строительно-монтажного поезда. Я знал, что они решили заменить детям отца и мать. Я также знал, что мы сбились с курса и что горючего не хватит. В один из просветов внизу я увидел узкую горную долину, она тотчас же скрылась, а я стал вспоминать, когда над ней пролетал. Я вспомнил: долина вилась среди скал, которые всегда высовывали вершины из облаков или прятали их. Хорошо, что я сразу поднялся выше; там вдруг засияло солнце. А среди белых бурунов взбешенного моря облаков виднелись обкатанные ветрами головы гор. Их ледяные шапки служили предательской маскировкой, и я хорошо знал это. Мы нашли на карте долину, она называлась Бычий Рог. Штурман с ума сходил от радости, что мы смогли определить курс, но рация была безнадежна. Бортрадист остановившимся взглядом смотрел на мертвые лампы. Я делал все, что мог. Бензин кончался, и винты правого мотора больше не рубили воздух. А дети спали в пассажирской кабине. Когда мы подлетали к аэродрому, машина падала. Мы планировали, как могли. Я посмотрел, как рабочие принимали детей, а потом прибежал сюда. Прости меня, что я опоздал, и возьми гиацинт.

Борис Лапин

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

А если ночью тревога?
Шинель второпях накину.
Пойдут, как чужие, ноги
Месить темноту и глину.

— Учебная?
— Нет, боевая!
Зовет сирена до рвоты,
И в небе, ей подпевая,
Чужие пройдут самолеты.
И, может, через минутку
Огненный смерч завертит...
Пойми, что это не шутка,—
Опасно шутить со смертью.

Коль надо,
От мирных пушек
С учебного полигона
Я воздухом, морем, сушей
Отправлюсь куда угодно.
Уйду на передовую.
Не попрощались — война.
Уйду без трех поцелуев,
Что нас от пули хранят.

Я вовсе не суеверный.
Но чтоб нам встретиться вновь,
До боли нужна твоя верность,
Большая твоя любовь!

Сергей Иоффе

СЛУШАЯ ПЕРЕДАЧУ ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ...

Сквозь ночи тьму
К снегам бескрайним синим
Пробилась из Москвы радиоволна.
И слушают полярники на льдине,
И слушает, волнуясь, вся страна.
Не день,
не месяц
вы вдали от дома,
Вдали от милых глаз и нежных рук...
Вы узнаете голоса знакомые
Отцов и братьев,
жен,
сестер,
подруг?
На льдине мрак,
На льдине ветер хлесткий.
И все ж звучит,
вы слышите,
для вас
Старинная мелодия «Березки»,
Щемящий сердце
Грустный русский вальс.
Я вижу день.
В волненьи напряженном
Замрет Земля,
у радио склонясь.
К нам,
прилетевшим на далекий Марс,
К нам обратятся
матери и жены,
Для нас исполнят
этот старый вальс.

СТОРОНА СИБИРСКАЯ

Л. В. Бардунов

СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО

(Страницы из истории природы Прибайкалья)

Вероятно, где-нибудь в лесной чаще, напоенной запахами смолистой хвои и прелого колодника, или на усыпанном цветками лугу вы встречали неторопливо идущего человека с перекинутой через плечо папкой и с железным совком в руках. Это — ботаник. Его папка набита только что собранными растениями, а совок в руках — копалка, которой он извлекает из почвы растения. На высокие, окутанные ватой облаков и туманов пики гор взбирается исследователь, преодолевая усталость, многие сотни километров проходит, продираясь через таежные дебри, мокнет в болотах, вдыхая их душные испарения. Его не страшат утомительные подъемы на кручи гор; отирая рукавом застилающий глаза пот, он упорно продвигается вверх. Его не останавливают переправы через ревущие пенистые потоки и капризы прихотливой погоды. Не пугают тучи назойливого гнуса, нападения опасных клещей и лазанье по скалам, где требуется ловкость подлинного акробата.

Широки и неоглядны просторы Сибири — великой страны лесов. Бескрайним, безбрежным морем раскинулась ее многославная тайга. Стройные златокорые сосняки и нарядные, в белых фартучках березняки сменяются угрюмыми кедрачами и пихтарниками. Нога утопает в мягком упругом ковре мхов, а с ветвей сказочно таинственной паутиной свешиваются длинные бороды седых лишайников. А здесь — нежноиглые лиственничники, такие светлые и лучезарные в солнечный летний день. Далеко-далеко на север тянутся леса, постепенно редея и теряя стройность, и где-то у Полярного круга переходят в однообразную безлесную тундру, омываемую тяжелыми, свинцовыми водами всегда холодного Ледовитого океана.

А на юге непокорными громадами вздыбились гряды высоких гор. Крутостенными островерхими пиками уходят они в лазоревую высь небес, и почти круглый год искрится на них перламутрово-серебряный снег. Гигантским сапфировым полумесяцем втиснут в каменные хребты Байкал.

...Огромна Сибирь, но не так уж много осталось на ее карте мест, где бы никогда не проходил ботаник. Два с половиной столетия прошло с тех пор, как первые ботаники приехали в эту замечательную страну, тогда еще совершенно дикую и неизученную.

* *
*

Немало неожиданного встречает на своем пути вдумчивый человек с папкой, изучающий растительный мир Прибайкалья. Вот на опушке кедрово-пихтового леса он натыкается на изящный кустик с мелкими продолговатыми листочками, на веточках которого, словно крылышки, торчат упругие выросты пробки. С удивлением узнает в нем ботаник священный бересклет — дальневосточный кустарник, растущий в смешанных лесах Приморья, часто называемых уссурийской тайгой.

На залитой солнцем скале приютилась небольшая лиана с крупными блестяще темнозелеными листьями, почти круглыми по форме. Новая загадка: ведь и это в основном дальневосточное растение — луносемянник. На влажном берегу горячего источника ботаник находит папоротник-ужовник, спрятав-

ший свой единственный нерассеченный лист среди густых осок. И снова озадачен человек с папкой: ужовник растет преимущественно в Европе, в широколиственных лесах с дубом, липой, кленом и вязом.

За пределами уссурийской тайги и широколиственных европейских лесов эти растения почти не встречаются, лишь кое-где вкраплены их единичные крохотные островки, безнадежно далеко оторванные друг от друга и от основной области распространения. Словно нежеланные чужаки, эти растения робко жмутся в какие-нибудь укромные местечки. Ужовник, например, ютится лишь на берегах горячих ключей, согретых вытекающей из глубин земли водой.

Ни лесов, подобных уссурийской тайге, ни широколиственных лесов, похожих на растущие в Европе, в Сибири нет. Такие леса довольно теплолюбивы и не могли бы вынести наших сибирских морозов. Растут эти леса в тех местах, где климат мягче и теплей. Но почему же тогда у нас, в Сибири, встречаются растения, свойственные этим лесам, «спутники» их, как говорят ботаники? И ведь таких «спутников», далеко оторванных от своих «хозяев»— широколиственных и смешанных лесов, не так уж мало разбросано среди тайги южной части Сибири. Внимательный глаз ботаника находит здесь крупные папоротники-щитовники, и мелкие фиалки, и стройный злак с поникающими колосками и забавным названием «коротконожка», и тонюсенький горный кипрей, и сытевидную осоку, и много других растений, незаметных неопытному наблюдателю.

Все эти растения — спутники широколиственных лесов.

А несколько лет назад в Восточных Саянах были найдены два любопытнейших растения — мегадения и маннагеттея, ранее в Советском Союзе неизвестные. Обе они маленькие травки. Плодики-стручочки мегадении имеют замечательное свойство: они сами себя закапывают в почву и дозревают там в тепле, не боясь ранних заморозков. Маннагеттея имеет необычный для растения облик — она не зеленая, а сплошь коричневая. И питается она тоже необычно — высасывает питательные соки из корней кустарника гривистой караганы, то есть паразитически. Ближайшие родственники мегадении и маннагеттеи растут даже не в широколиственных лесах, а еще южнее — в субтропических районах Китая.

И снова перед ботаником встает навязчивый вопрос: откуда взялись в Сибири эти не свойственные ее растительному миру и климату травы и кустарники, как они могут жить здесь, если привычные для них условия находятся за многие тысячи километров отсюда? Какие таинственные причины заставили расти здесь, в стране сердитых зим, эти хрупкие теплолюбивые растения? Что это — случайность, каприз природы, или, может быть, в этом кроется какой-то глубокий смысл, раскрытие которого откроет увлекательные горизонты?

Может быть, семена и споры этих растений занесли к нам стаи неугомонных перелетных птиц, которые, подобно маятнику, неуклонными качаниями отмечающему часы и минуты, так же неуклонно совершают свои изумительные перелеты, отмечая времена года? Может быть, их разнесли тысячекилометровые сибирские реки? Ведь они сокрушают берега, волокут тяжелые камни и далеко разносят песок и гальку. А может, это сделала самая непостоянная и непокорная стихия — мятежные ветры?

Над этим стоит подумать.

Семена и споры растений, конечно, разносятся и птицами, и реками, и ветрами и, вероятно, иногда на очень большие расстояния. Однако такой разнос не приводит к образованию оторванных островков в распространении видов, вроде тех, что мы находим в Прибайкалье. Происходит это потому, что шанс растений попасть в благоприятные условия, а тем более прижиться на этих новых местах практически равен нулю.

Но тогда все же откуда в тайге холодной Сибири эти травы и кустарники, свойственные любящим тепло широколиственным лесам?

Настойчивая мысль ботаников разрешила эту загадку.

* *
*

...Покоряя природу, человек уверенно продвигается на новые места, в глухой тайге строит города. Если вы побродите по такому юному городу, внимательно присматриваясь вокруг, то, наверное, увидите уцелевшие кое-где небольшие травки, укрывшиеся в тенистых и влажных уголках. Лес полностью уничтожен, на его месте уже вырос город, а отдельные непокорные лесные растения долго еще будут попадаться на глаза внимательному наблюдателю, прячась от людных мест, от жгучих солнечных лучей и прожорливого скота. Мелкие лесные растения — кустарники, кустарнички и особенно травы — надолго переживают лес и сохраняются на вырубках, на

улицах сел и молодых городов, на полях и сенокосах.

Так и наши загадочные растения — спутники широколиственных лесов, они остались от тех далеких времен, когда эти леса покрывали Сибирь. Так и маннагеттея с мегаденией, они остались от еще более далеких времен, когда суровая Сибирь (и, в частности, Прибайкалье) была субтропической. Только своих «хозяев» эти растения пережили не на десятки или даже сотни лет, а на тысячи и многие миллионы.

Возможно ли, чтоб растения сохранялись так долго при переменившихся условиях? Оказывается, возможно. Надо иметь в виду, что в большинстве случаев растения могут обитать не только при тех условиях, при которых непосредственно встречаются, но и при иных, близких, но все-таки несколько отличных. И если растения имеют более ограниченное распространение, то только потому, что часть подходящих для них условий (правда, не лучшая) уже занята другими видами растений, более приспособленными именно к этим условиям.

Кроме того, обратите внимание, что среди растений, оставшихся с далеких времен, больше всего трав, очень мало кустарников (да и те обычно невелики) и полностью отсутствуют деревья. Это не случайно. При смене климатических условий дольше всего могут сохраняться лишь растения небольших размеров — таким растениям легче найти подходящий по условиям жизни уголок — «жизненную нишу», как говорят натуралисты. Отыскать жизненную нишу крупному растению, например дереву, труднее, и потому при изменении условий, особенно при похолодании, деревья быстро вымерзают и заменяются более холодостойкими. Иное дело — травы, да еще лесные. Ведь они растут под защитой деревьев, умеряющих буйную силу ветров, уменьшающих размах колебаний температур. Ни самая сильная жара, ни самый жгучий мороз не достанут хрупкую травку, защищенную частоколом деревьев.

Травы и небольшие кустарники от зимних стуж спасаются под снегом. Пушистый снежный ковер, одевающий землю, сохраняет ее тепло и предохраняет от глубокого промерзания. Снег имеет еще одно выгодное для растений свойство — он хорошо пропускает свет. Благодаря этому свойству некоторые растения выработали в себе способность расти и развиваться под снегом, когда вокруг еще холодно — в самом начале весны или даже в конце зимы. И недаром больше всего теплолюбивых растений уцелело на юго-восточном побережье Байкала и северных склонах хребта Хамар-Дабан, то есть в местах, где снеговой покров — самый глубокий в Восточной Сибири.

Так что нет ничего невероятного, если после значительного похолодания из нескольких тысяч видов растений сохранятся три-четыре десятка трав и несколько убогих кустарников.

— Допустим, так,— скажет читатель.— Но можно ли эти три-четыре десятка трав и несколько кустарников рассматривать в качестве доказательств того, что когда-то давно в южной Сибири действительно были субтропики и широколиственные леса?

Да, можно. И выводы, полученные при изучении этих переживших свои условия растений, подтверждаются и дополняются изучением ископаемых остатков организмов. Окаменелые остатки древних животных, отпечатки растений, насекомых и рыб о многом говорят ученому. По ним, как и по сохранившимся с давних времен организмам, можно судить о растительном и животном мире далекого прошлого, утонувшего в пучине времени, о климате, при котором эти растения и животные когда-то обитали, и о многом другом.

Но не только по таким довольно крупным остаткам организмов судит палеонтолог о прошлом. Ревностными хранителями тайн глубокой древности оказались и ничем не примечательные с виду горные породы, не содержащие видимых невооруженным глазом ископаемых остатков вымерших организмов. Во многих таких породах удалось обнаружить сохранившиеся здесь с незапамятных времен мельчайшие, видимые лишь в микроскоп частички растений — пыльцу и споры. По этим частичкам узнают семейства и роды растений, ибо каждый род имеет пыльцу (или споры), отличающуюся от пыльцы других родов. В руках ученых оказалось, таким образом, еще одно могучее средство, помогающее полнее восстанавливать природу далеких от нас эпох.

Вернемся же к тем древним растениям, что и поныне еще произрастают в наших краях. Претерпев много невзгод и лишений, некоторые древние растения дожили до наших дней. Эти растения — единственные живые свидетели далекого прошлого, осколки ветхой древности. Натуралисты именуют их реликтами, что в переводе с языка древних римлян — латинского — означает «остатки». Часто их называют еще живыми ископаемыми, и это глубоко верно, несмотря на парадоксальность: это действительно живые иско-

паемые, современники или близкие родственники тех настоящих ископаемых, что захоронены в земле.

* *
*

...Давно, очень давно, десятки миллионов лет назад, в первой половине третичного периода климат южной Сибири и Прибайкалья был совсем не похож на наш теперешний. Тогда не было знаменитых сибирских зим с их жестокими, продирающими до костей морозами, не было пронзительных ветров, запорашивающих все мириадами холодных снежинок. Тогда и в зимнее время мягко и ласково светило солнце, вместо снега падал дождь, многие деревья и кустарники не сбрасывали на зиму листвы, а стояли в своих зеленых одеждах круглый год, а многие травы росли и даже цвели зимой. Снег был редким гостем тогдашних зим, падал он большими мокрыми хлопьями и часто тут же таял, как в наши дни тает запоздалый весенний снежок, словно чувствуя, что весна — не его время. В те далекие годы, скрытые от нас бесконечной чередой лет, в южной Сибири царили субтропики.

Растительность этого далекого времени была совсем не похожей на нашу сегодняшнюю. Она была взращена в блеске и тепле горячего южного солнца, изнежена и избалована благодатным климатом, не зная невзгод и перипетий холодных зим.

Весь облик местности был тогда другим. Не было высоких и крутостенных прибайкальских хребтов, не было Саян. На их месте тянулись гряды сравнительно невысоких горхолмов с мягкими очертаниями — с пологими склонами и широкими, плоскими или выступающими в виде куполов вершинами. Не было бурных, гремящих водопадами и порогами рек. Обширные пространства занимали болотистые равнины с медленными извилистыми реками.

На бескрайних заболоченных равнинах росли исполинские деревья высотой нередко с десятиэтажный дом. Словно лопасти мельничного колеса, от оснований стволов-гигантов расходились во все стороны большие пластины, расширяющиеся книзу и постепенно сходящие на нет кверху, на высоте примерно в два человеческих роста. Эти поразительные пластины — воздушные досковидные корни — надежная опора негусто растущих деревьев в ветреную погоду. Ошеломленный сибиряк в изумлении остановился бы перед этими невиданными колоссами. То были могучие болотные кипарисы — таксодиумы — и их постоянные спутники — ниссы. Ни тех, ни других теперь уже нет, они давно вымерли не только в Сибири, но и в Европе, где они тоже росли когда-то и где климат и сейчас много теплее сибирского. Уцелели они лишь на другом материке — в субтропической Северной Америке.

На более возвышенных и сухих местах раскидывались высокоствольные непроходимые леса. В них росли красавицы магнолии — деревья с блестящими кожистыми листьями, весной и летом украшенные чашами душистых цветков и увешанные осенью соплодиями, напоминающими шишки хвойных. На фоне почти синего неба четко вырисовывались крупные перистые листья серокорых деревьев, свешивающих плотные грозди плодов, кажется ничем не отличавшихся от вкусных, так хорошо всем известных грецких орехов. На склонах холмов росли тиссы — завидно могучие деревья с красивой, шелушащейся, как у берез, корой кирпично-красного цвета, свисавшей со стволов кусками живописной бахромы. Красной была и древесина этого чудесного дерева: недаром тисс часто называют красным деревом. Хвоя его походила на хвою пихты, только имела острый конец, была длиннее и шире. Величественные ликвидамбары с резными листьями, так похожими на листья кленов, соперничали с тиссами в красоте и росте. Сочной густо-темной зеленью хвои выделялись стройные деревья с серо-коричневой корой, немного похожие на наши ели и пихты. То были экзотические теплолюбивые тсуги и Дугласовы пихты, родственники которых и поныне произрастают в Китае, Японии и отдельных районах Северной Америки.

Далеко ввысь уходили массивные стволы деревьев и, смыкаясь кронами, отбрасывали на почву густую, прохладную тень. Многие тысячи вьющихся гибких стеблей лиан, часто сплошь утыканных зловещими шипами и колючками, заплетали кустарники подлеска, образуя густейшие живые изгороди. Дорогу сквозь них мог бы проложить только нож и топор. Более крупные и сильные лианы с цепкими стеблями длиной во многие десятки метров, не довольствуясь вялым прозябанием в подвальном полумраке подлеска, смело взлетали вверх, в кроны высоких деревьев, заплетали их и вырывались наконец на солнечный простор. Там, вверху, они широко и свободно разрастались, не испытывая уже недостатка жизненно необходимого им света, и радостно распластывались на кронах сразу нескольких деревьев, используя их как подпорку для своей буйной листвы. Иногда мощный стебель

лианы-змеи, густой спиралью перевив дерево, плотно врастал в него и коверкал, корежил обреченный ствол, а иногда и душил его насмерть, как хищный удав душит свою жертву. А иногда и наоборот — какое-нибудь быстрорастущее дерево, обвитое лианой, не поспевающей расти за ним, гневно разрывало своего душителя страшным напором стремительно бурного роста. И жалкие, оборванные куски усыхающих стеблей лианы уныло и грустно свисали тогда со ствола и ветвей дерева-победителя...

Много необыкновенного и поразительного было здесь в эту пору! Благоуханные лавры, раскидистые каштаны, стройные платаны и тенистые буки, никем не посаженные яблоновые сады, абрикосы, так сладко и заманчиво пахнущие, можжевельники ростом с кедр...

Меж невысоких пологих гор мерно плескался Байкал, совсем не похожий на тот, который мы знаем сегодня. На месте его было многоозерье — цепь крупных и небольших озер, связанных между собой протоками и заболоченных по берегам. Отлогие берега озер поросли чащами кустарников и деревьев. За ними на мелководьях колыхались и шелестели тонкие стебли высоких многометровых тростников, дикого риса и камышей. Точно короткие толстые огарки свечей, торчали красные початки многочисленных ароидных. Каждый початок был окружен широким кувшинчиком прицветника, напоминающего украшения старинных канделябров. На поверхности зеленоватой воды в тихих и уютных заводях покоились крупные блестящие листья кувшинок, а над ними возвышались огромные почти круглые листья лотосов, из-за обвисших краев напоминавшие широко раскрытые зонты.

Вода в озерах была тогда теплой, будто специально созданной для купания, не то, что в нынешнем Байкале: окунешься — и тут же пулей вылетаешь из воды. Но зато в те времена вода не была чистой и хрустально-прозрачной. Ею славится современный Байкал, а тогда вода озер была мутной из-за миллиардов мельчайших растений и животных, которые заполняли почти всю толщу теплых вод субтропических озер.

Вблизи берегов на мелководьях и в заводях в податливо мягком иле и песке водилось тогда множество моллюсков, гораздо больше, чем в современном Байкале. Были здесь и прародители теперешних эндемов Байкала (живущих только в нем и нигде более) — байкалиид, мелких изящных моллюсков с ловко закрученными раковинами. Но было много и других моллюсков, навсегда утраченных Байкалом. Особенно богато было представлено семейство перловиц, некоторые из них были величиной со ступню человека. Причудливый облик имели хириопсисы с чудовищным гофрированным гребнем над верхним краем раковины. Округлые, вздутые, точно крупное яйцо (они и размерами были с гусиное яйцо), лямпротули имели необыкновенно толстые стенки раковин.

Близкие родственники многих из этих моллюсков живут и сейчас в субтропических районах Китая.

У берегов озер в пышной прибрежно-водной растительности обитали медлительные неторопливые черепахи, прятавшие свои яйца в горячий песок. Тонконогие фламинго, деловитые пеликаны и стаи других птиц, столь же необычных для современной Сибири, оглашали озера своими громкими гортанными криками.

Дикие животные, непохожие на живущих в Сибири сегодня, бродили по дебрям дремучих лесов. Птицы, такие же незнакомые, жили в лесах, на полянах, по берегам рек и озер. Что это были за птицы, какие звери? Точно мы не знаем — эти звери и птицы не живут сейчас в Сибири, почти не найдено и их ископаемых остатков. Но все же в общих чертах мы можем представить, каков был животный мир третичных сибирских субтропиков, исходя из различных косвенных данных. Тогда, конечно, было гораздо больше, чем сейчас, пресмыкающихся и амфибий (земноводных). Были крупные змеи, ядовитые и неядовитые полозы, а может быть, и небольшие удавы. Многочисленны были крупные ящерицы, в особенности много было различных лягушек, в том числе и древесных — лазающих и прыгающих по ветвям кустарников и невысоких деревьев, характерную черту тогдашней фауны млекопитающих составляли цветные кошки, ныне в Сибири полностью отсутствующие,— тигры, леопарды и пантеры.

Так продолжалось долго, очень долго, вероятно, многие миллионы лет. От этого безмятежно счастливого времени, от буйной, наполовину вечнозеленой растительности до наших дней дожили всего лишь два растения — маннагеттея и мегадения, крохотные, жалкие остатки безудержной роскоши и томной неги юга.

...Бегло набросанная картина когда-то существовавших в Прибайкалье субтропиков настолько отличается от картин нынешней сибирской природы, что у некоторых, наверное, закрадется сомнение в достоверности нарисованного. Ведь этот диковинный мир царил некогда на хорошо известных нам местах —

на берегах Байкала и в окрестностях Иркутска. Все это похоже на фантастику. А между тем картина субтропиков научно обоснована. Достаточно сказать, что существование на территории Прибайкалья большинства названных нами растений и всех моллюсков доказано находками здесь окаменелых раковин, ископаемой пыльцы, отпечатков листьев и обугленной древесины. Найдены также ископаемые остатки черепах. Наличие некоторых из приведенных растений и животных прямо не доказано, однако их былое существование здесь вполне вероятно, ибо они обычно встречаются вместе с теми видами, которые действительно обитали когда-то в южной Сибири.

Не одни только леса произрастали тогда на юге Сибири. К востоку от Байкала, где и в те времена было сухо, лесов почти не было, там расстилались субтропические саванны и полусаванны, заросшие травами и редко разбросанными деревьями.

* *
*

Потом... Потом постепенно климат Сибири начал становиться все более прохладным. Снег стал выпадать регулярно каждую зиму, он уже не таял, как прежде, вскоре после падения, а лежал подолгу, сначала неделями, а затем и месяцами. Вымерзли вечнозеленые деревья, за ними и многие вечнозеленые кустарники, измельчали поредели лианы. Растения стали глубоко замирать на зиму. Зябко поеживаясь от холода, потянулись на солнечный юг встревоженные птицы.

Как в человеческом обществе в трагические времена военных катастроф армия, покидая родные места, сдает врагу территории, так и флора уводит под давлением суровых перемен климата свои блистательные и красочные полки, оставляя ранее занятые ею позиции для пришельцев. Тогда одна флора, один растительный мир сменяется другим. В Южной Сибири на смену субтропикам пришли широколиственные леса с полностью опадающей на время зимних невзгод листвой и смешанные леса с листопадными и широколиственными и зимнезелеными хвойными деревьями. Началась новая эпоха в истории природы Сибири, более холодная, чем субтропики, но более теплая, чем нынешняя. Случилось это где-то в конце или в середине второй половины третичного периода. Смена субтропиков широколиственными и смешанными лесами умеренного климата была очень медленной и происходила в течение многих тысячелетий.

Изменился облик страны. Стали подниматься горы, углублялся Байкал, уменьшилась площадь болотистых равнин. Полностью исчезли таксодиумы и ниссы, а их место заняла убогая по сравнению с этими великанами ольха. Нет, не наша корявая кустарниковая ольха, что в изобилии растет в сосняках и по речкам, а стройное дерево пятнадцати-двадцати метров высотой. Ее ближайшие родственники и сейчас встречаются кое-где на самом юге Приморья. А вот папоротник осмунда с нежными полупрозрачными дольками листьев, что в субтропическое время рос под пологом таксодиумов и нисс сохранился, перейдя под полог нового властелина — ольхи.

Леса заметно изменились, но по-прежнему оставались пышными, по-прежнему в них произрастали многие десятки видов деревьев и кустарников, создавая невиданное в теперешней Сибири богатство и разнообразие лесов. Много наследников субтропического времени долго еще доживало свой век, спасаясь от зимних холодов в лесных чащах, на берегах горячих и теплых источников. Это были кустарники, частью вечнозеленые, и главным образом различные травы. Постепенно их становилось все меньше..

В долинах рек, близ воды, росли огромные тополя и ильмы с расширенными основаниями стволов и иногда с досковидными корнями, правда, не такими мощными, как у болотных кипарисов. Рядом с этими белокорыми красавицами — почти идеально цилиндрические стволы ясеней с аккуратным причудливым рисунком на светло-серой коре. Под ними были непролазные заросли мелких деревьев и крупных кустарников, настоящие джунгли из многочисленных ольх, ив, сиреней, черемух, жимолостей. У самой воды высились громадные округлые листья белокопытников. Они достигали метра в диаметре и сидели на длинных, нередко в рост человека, черешках.

Склоны гор и холмов были одеты смешанными лесами. Тесно сгрудились здесь различные деревья — длинноиглые кедры с шероховатыми стволами-колоннами и шишками в два-три раза крупнее шишек нашего сибирского кедра, кудрявые грабы, крепкие дубы с густыми кронами и благоухающие медвяным ароматом липы. Каждый род дерева был представлен здесь несколькими различными видами, иногда всего двумя-тремя, а иногда и семью-десятью. Часто один и тот же род образовывал сразу и деревья и кустарники.

Несмотря на тень, царившую в лесу, подлесок был густ и разнообразен. Здесь вы встретили бы калины, приносящие грозди пунцовых горьковатых ягод, внутри которых была спрятана похожая на увеличительное стеклышко крепкая косточка. Некоторые калины очень походили на ту, что и в наши дни сохранилась под Иркутском, в окрестностях деревни Смоленщины. Среди кустарников темнели и кожистые листья волчьего лыка (дафне), представленного тогда несколькими видами. Один вид ничем не отличался от волчьего лыка, изредка встречающегося и сейчас кое-где в Прибайкалье и столь обильного в бассейне речки Каролка. Росли разнообразные бересклеты, в том числе и священный бересклет, обнаруженный недавно молодым ботаником Л. Малышевым в предгорьях Восточного Саяна.

Многие стволы деревьев от комля и высоко вверх, до первых ветвей, были сплошь затянуты в искусно сотканное платье из мхов складками тяжелого бархата ниспадали мхи с веток. Некоторые из этих мхов сохранились до наших дней, расставшись в Сибири с дававшими им надежный приют широколиственными лесами, и перешли под полог негостеприимной тайги. Часть их и сейчас произрастает на стволах деревьев, как, например, приземистый темно-зеленый мох пилайзия, другие, например левкодон, растут и на стволах деревьев, и на скалах. Третьи, а их большинство, живут у нас теперь только на скалах — на голой, казалось бы, совершенно непригодной для жизни поверхности камней. Эти мхи можно видеть во многих местах Прибайкалья.

Среди трав, росших тогда в лесах, сибиряк, к большой радости, нашел бы многих своих знакомых. Его глаза с любовью отыскали бы среди сотен и тысяч чужих трав папоротник-щитовник, душистый ясменник, дубравный мятлик и золотистую володушку. В сонме незнакомых трав было много похожих на наши современные. Происходило это потому, что многие травы принадлежали к тем же родам, что и сейчас живут в Сибири в наших таежных лесах. Только относились они тогда к другим видам, более теплолюбивым, чем наши непритязательные таежные травки, видам, теперь либо вовсе вымершим, либо сохранившимся еще кое-где на Кавказе, в средней полосе Европы или на юге Дальнего Востока.

Но все же большинство трав принадлежало к другим родам и даже семействам, ныне в Сибири не произрастающим. Росла тогда чудесная травка с перистыми, как у ясеня, листьями — ясенец. В жаркие безветренные дни листья ее испаряли огромное количество эфирных масел, издававших чуть дурманящий аромат. Если бы тогда можно было поднести к ней горящую спичку, пораженный наблюдатель увидел бы, как над растением вспыхивает на секунду легкое облачко прозрачного голубоватого пламени — то горело бы испарившееся эфирное масло.

И, возможно, в те же дни скромно рос в сибирских лесах прославленный чудодейственный целитель — корень жизни жень-шень, тогда никому не нужный, но зато и никем не тревожимый. Кто знает.

Многие миллионы лет существовали в Сибири широколиственные и смешанные леса и сильно изменялись они на протяжении этого времени под влиянием постепенно идущего похолодания. Вначале в этих лесах еще росли доставшиеся от субтропического периода теплолюбивые формы — тиссы, орехи, виноград, актинидии. Тогда леса немного походили на уссурийскую тайгу. Но по мере похолодания теплолюбивые деревья и кустарники вымерзали и леса становились все более похожими на те, что растут ныне в средней полосе Европейской части Советского Союза. От каждого из этих этапов истории в современном растительном мире Прибайкалья остались свои живые памятники — реликты.

* *
*

Когда же в Сибири стало еще холоднее, тогда самонадеянному благоденствию широколиственных и смешанных лесов пришел неизбежный конец.

Медленно и постепенно охлаждалась Сибирь, все беднее и однообразнее становились ее общипанные морозами леса, одно за другим вымерзали или отступали на спасительный юг все наиболее теплолюбивые деревья и кустарники, и на смену им приходили новые, неприхотливые, умеющие бороться с невзгодами судьбы. С далекого Севера вдоль постепенно повышающихся горных хребтов шли сплошным фронтом холодостойкие леса — хмурая хвойная тайга. Она спускалась на равнины и оттесняла смешанный лес, занимая его место. Если более крупные растения вымерзали в холодные зимы, то многие растения помельче нередко уходили под полог тайги, сохраняясь здесь в виде реликтов или образуя новые, более выносливые к холоду виды. Какой-то промежуток времени (и, вероятно, довольно длительный) климат Сибири был близок теперешнему, и соответствен-

но этому растительность и животный мир также были несколько похожи на современные, однако и заметно отличались от них, ибо имели тогда совсем другую историю.

Охлаждение Сибири не останавливалось, все суровей делались сибирские зимы, изменялось и укорачивалось лето, давно уже переставшее быть знойным и жарким. Мощные завалы нападавшего за долгую зиму снега теперь уже не успевали полностью стаивать в течение короткого, так быстро проходящего прохладного лета. В сырых и тенистых местах снег лежал уже круглый год, плотно спрессовывался и постепенно превращался в пласты крепкого слоистого льда. Особенно много его скапливалось в горах, высоко поднявшихся к этому времени вдоль южной окраины Восточной Сибири и ставших даже выше сегодняшних гор Прибайкалья. Вскоре с горных вершин поползли вниз на равнины и в Байкал тогда уже глубокий и единый, невиданные реки изо льда — ледники, безжалостно все сокрушающие на своем пути, взрезающие горы, пропахивающие глубокие долины — троги, насыпающие гряды моренных холмов.

Настало тревожное время снега и холода — ледниковый период, когда по свинцовым волнам в северной части Байкала плавали айсберги — осколки наиболее крупных ледников — и когда арктические тундры с лишайниками, кустарниками и чахлыми деревцами приходили на смену редкостойным, опаленным жестким дыханием Арктики лесам. И лишь в хорошо защищенных от губительных ветров горных долинах и ущельях да по берегам горячих источников, тогда более многочисленных, чем сейчас, ютились осколки иной жизни, смятенной и раздавленной холодом, существа, привыкшие к более вольготным условиям. Высокие стенки долин и клубы белого теплого пара защищали их от морозов и удлиняли короткое арктическое лето.

Новые растения и новые животные, рожденные где-то в высоких широтах Арктики, неприхотливые и холодостойкие, пришли тогда с Севера в охлажденную Южную Сибирь. Длинноволосые мамонты и покрытые густой шерстью носороги разгуливали по стране, чуть ли не половина которой была покрыта тогда тундрами вперемежку с чахлыми лесами. Некоторые из тогдашних приледниковых животных и растений и поныне обитают в южной части Сибири. Это тоже реликты, но только более молодые — реликты ледникового периода. Такие организмы часто называют еще аркто-альпийскими, они живут в Арктике и отдельно, изолированно от нее — в горах средних широт. На высоких вершинах прибайкальских гор, в гольцах, лежащих выше верхней границы леса, сохранилось и по сей день немало таких реликтов. Это, например, снежная камнеломка, полярная ивка, широко распространенная куропаточья трава (дриада). Такими реликтами являются арктический мятлик, отливающий червонным золотом мох ортотециум, некоторые осоки и многие другие растения гольцов. Из животных это северный олень, тундровая куропатка, тоже обитающие в основном в гольцах. Сохранились ледниковые реликты и в холодных водах Байкала. Такими реликтами являются всем хорошо известные морские по происхождению омуль и нерпа. Сохранились следы ледникового периода и в самой форме рельефа гор — это пропаханные ледниками троговые долины, каменные чаши — кары и цирки, морены.

...Минуло наконец и это гнетущее время. Века и тысячелетия сменяли друг друга, как листки в календаре, и много еще различных изменений претерпела с тех пор природа Сибири, пока в конце концов не стала такой, какой мы все с детства — одни через личное знакомство, другие из книг и рассказов очевидцев — привыкли считать ее: суровой, но прекрасной и чарующей, полной манящих загадок и неудержимо влекущей.

И пусть когда-то Сибирь была благодатной страной тепла и изобилия жизни, мы не сожалеем об ушедших временах — ни о броской роскоши тщеславных субтропиков, ни о размашистой величавости смешанных лесов. Нам бесконечно дорога природа сегодняшней Сибири, требовательная и строгая, но прекрасная и величественная, полнокровно бьющая жизнью — жизнью северной, закаленной превратностями судьбы. Нет, не оскудела природа Сибири в результате долгой и трудной истории, она возродилась в новой красе, в новом могуществе и великолепии и бесконечно полна своеобразия. Полная зверем тайга с терпкими запахами багульника и хвои, голубые холодные воды сибирских рек и неповторимого Байкала, искрящиеся серебром бесчисленных косяков рыб, пьянящая свежесть морозного утра дороги сердцу сибиряка и являются неотъемлемой частью его чувства Родины. Пусть сурова наша природа, но она щедро открывает перед смелым и настойчивым исследователем неповторимые красоты своих ландшафтов и дарит людям неисчислимые богатства.

* *
*

...Вот о каких интересных и неожиданных событиях помогают рассказать нам сами себя закапывающие в землю стручочки мегадении, тонкие стебельки мятлика, ароматные цветки волчьего лыка и пробковые крылышки бересклета.

Пыль многих сотен и тысяч тысячелетий незримо лежит на стеблях, листьях, цветках и плодах этих реликтовых растений, живых свидетелях давно минувших событий седой старины.

КРИТИКА и библиография

В. Трушкин

ГЕОРГИЙ МАРКОВ

Жизнь и творчество Георгия Мокеевича Маркова (известного советского писателя, секретаря правления Союза писателей СССР) многие годы были кровно связаны с Сибирью. Сибиряк по рождению и воспитанию, Г. Марков в Сибири же вырос на родном с детства специфически сибирском жизненном материале в крупного художника слова. Не раз, возвращаясь к истокам своего творчества, писатель с любовью рассказывал о первых неизгладимых впечатлениях бытия, связанных с таежными приключениями, охотой, ночлегами у костра.

В постоянном общении с природой, поэзией сибирских лесов и стремительных таежных речек, в атмосфере бесконечных охотничьих историй прошло его детство и ранняя юность.

...«Бывало так,— вспоминает писатель,— ходят охотники по тайге, в день сделают пятьдесят-шестьдесят, а может быть, все семьдесят километров — никто не меряет! А вечером соберутся на стан, и вот у таежного костра в осенние долгие ночи начинаются рассказы о том, что было, и чаще всего о том, чего не было. А тут сидит мальчишка десяти-двенадцати лет, приткнувшись где-нибудь у дерева, и слушает. И эти рассказы уносят его в самые далекие и сокровенные уголки этой бескрайней шумящей тайги, вводят в мир простых и суровых понятий обыкновенной охотничьей жизни»... (Г. Марков. История творчества. «Молодая гвардия», 1956, № 3, стр. 174).

Впечатлениям детства, неповторимым и ярким, Марков обязан наиболее привлекательной стороной своего дарования — удивительно тонким чувством красоты родного края, сочными и живописными картинами таежной природы, разбросанными щедрой рукой художника по его произведениям. Еще Гете заметил, чтобы понять поэта, надо пойти за ним на его родину. Эмоционально-эстетическая основа «Строговых» и «Соли земли», самых значительных книг писателя, все их поэтическое очарование были бы невозможны без этого живого чистого родника, который питал и продолжает насыщать его творчество.

Георгий Мокеевич Марков родился в 1911 году в селе Ново-Кусково, Асиновского района, Томской области, в семье таежника охотника. С детства он вместе с отцом и братьями месяцами пропадал в Чулымской тайге. Тайга стала не только его жизненной, но и художественной школой. По собственному признанию писателя, большие города ему впервые довелось увидеть уже в юности, семнадцатилетним подростком.

Жизнь будущего писателя складывалась нелегко. Он рано начал собственным трудом добывать хлеб насущный — работал подпаском вместе с одним батраком у местных богатеев. С этим связано и первое выступление Маркова в печати. Однажды хозяева не досчитались четырех овец, растерзанных волками. Пастухов, особенно старшего из них, круглого сироту, кулаки жестоко избили. «Происшедшее,— рассказывает писатель,— задело меня до глубины души. С неделю я жил с ощущением, что должен излить свой гнев, но не знал, как это сделать». Наконец способ был найден. Он написал заметку «Волки одолели» в газету «Томский крестьянин». Заметка была опубликована. На нее живо откликнулась общественность.

Так впервые деревенский паренек почувствовал силу печатного слова. Отныне он становится активным селькором, печатается в газетах «Путь молодежи», «Томский крестьянин», «Красное знамя».

Г. Марков был одним из первых комсомольцев в своем родном селе, вскоре он стал секретарем комсомольской ячейки, затем работником районного комитета комсомола. В течение нескольких лет он редактировал юношеские газеты и журналы, выходившие в Сибири,— «Большевистская смена», «Товарищ», «Молодой большевик», «Юный ленинец» и др. Некоторое время будущий писатель учился в Томском университете. Особенно большую роль в жизни и в интеллектуальном развитии его сыграла директор томской университетской библиотеки В. Н. Наумова-Широких, дочь известного сибирского писателя-демократа Н. И. Наумова. «Беседы с Верой Николаевной,— вспоминает он,— расширяли мой кругозор, она привила мне навыки самостоятельной работы над книгой. За несколько лет я ознакомился с теми книгами, которые составляют фонд мировой классики».

В большую литературу Г. Марков пришел с романом «Строговы». Первая книга романа впервые вышла отдельным изданием в 1939 году в Иркутске.

В годы войны писатель, как и большинство иркутских литераторов, служил в рядах Советской Армии, печатал многочисленные публицистические статьи, очерки и рассказы в армейских газетах.

В 1946 году в Иркутском издательстве выходит вторая книга романа «Строговы». В 1952 году за этот роман ему присуждают звание Лауреата Сталинской премии. «Строговы» встречают признание у широкого читателя и критики. Книга иркутского писателя выходит большими тиражами в Москве, Харькове, Новосибирске, странах народной демократии.

Роман «Строговы»— самое значительное произведение Георгия Маркова. В нем запечатлена широкая картина жизни дореволюционной сибирской деревни за целую четверть века, сложные процессы классового расслоения и роста самосознания сибирского крестьянства. «Идейная сила романа,— писала о книге Г. Маркова Л. Н. Сейфуллина,— состоит в том, что писатель показал острую классовую борьбу в сибирской деревне и те силы, которые вывели ее на путь социалистического развития» (Л. Сейфуллина. О литературе. М., 1958, стр. 205). Она же едва ли не впервые в критической литературе о писателе указала на принципиальное отличие книги Г. Маркова от произведений старых сибирских беллетристов, привыкших изображать страну каторги и ссылки в идиллически умиротворенных тонах, где якобы нет ни острейшей классовой борьбы, ни жесточайшей эксплуатации. Сибирское крестьянство рисовалось этими писателями как некая единая, монолитная масса. В такой литературе выработался даже своего рода традиционный образ сибиряка, в сущности весьма далекий от реальной действительности. Это в равной мере относится и к представлениям о сибирском крестьянине И. Федорова-Омулевского, и литераторов-областников Г. Потанина и Н. Ядринцева, и писателей более позднего времени — С. Елпатьевского, Г. Гребенщикова, Новоселова, раннего В. Шишкова. По справедливому замечанию Л. Сейфуллиной, «сибирские писатели народнического толка... живописали сибирскую деревню как некий оазис, неподвластный бесправию и горю всех остальных деревень российской империи». Вольно или невольно в произведениях этих литераторов, например в ранней повести В. Шишкова «Тайга», поэтизировались забитость, невежество, дикие, звериные инстинкты. Общая картина получалась мрачной. Естественно, что автора «Строговых» не могли удовлетворить подобные представления о сибирском крестьянстве. Они не давали ключа к пониманию и объяснению такого примечательного явления, как мощное партизанское движение, направленное против колчаковщины, да и личный жизненный опыт писателя никак не укладывался в традиционные рамки этих представлений, в корне противоречил им. Именно отсюда идет внутренняя полемичность произведения Г. Маркова. Логикой развития характеров, всем разнообразием сцен и картин жизни в глухом таежном селе Волчьи норы художник оспаривает областнически-народнические иллюзии о дореволюционной, старой Сибири. Вот как говорит об этом сам писатель, рассказывая о рано пробудившемся в нем протесте против традиционного бытоописательства Сибири: «Любопытно, что среди литературы о Сибири некоторые произведения В. Шишкова, а также сочинения ряда бытописателей этого края вызывали у меня какое-то оппозиционное чувство. Мне казалось обидным, что сибирская деревня рисуется неумытой, неумной, дикой, беспросветной. Внутренне я все время полемизировал с авторами таких книг. По собственному опыту, да и по рассказам я знал, что среди сибирских крестьян были и есть очень даровитые люди, доискивающиеся справедливости».

В памяти писателя четко врезались рассказы односельчан и особенно о том, как мужики-таежники целыми селами «поднимались на борьбу за кедровые леса, за раскор-

чеванные земли, за лучшие охотничьи угодья, находившиеся в руках кулаков».

Нельзя здесь не вспомнить и о том поистине благотворном влиянии, которое оказала на Сибирь вообще и на сибирское крестьянство, в частности, царская политическая ссылка. Все это, вместе взятое, преломившись в сознании писателя, предопределило идейно-художественную атмосферу романа, его эстетическую и философскую основу. По своим исходным принципам «Строговы» родственны таким произведениям нашей литературы, как, скажем, «Даурия» К. Седых и «Хребты Саянские» С. Сартакова. Это звенья одной цепи — правдивой, художественной летописи Сибири, закономерно своим специфическим путем пришедшей к революции, к утверждению и безоговорочному принятию ее.

В центре многопланового эпического повествования Г. Маркова стоит судьба трех поколений семьи Строговых. Писатель шаг за шагом прослеживает в истории жизни своих героев те глубинные процессы, которые будоражили сибирскую деревню на протяжении десятилетий. Исподволь, сначала глухо, а потом все более и более драматически нарастая, но никогда не прекращаясь, кипит в глухом таежном селе Волчьи норы постоянная борьба между беднотой и кулачеством. До него доносятся приглушенные расстоянием отдаленные раскаты русско-японской войны и революции 1905 года, Ленских событий и нарастающего гула гражданской войны, властно закрутившей в своем стремительном вихре извечных таежников.

Это борьба народа за свое счастье, за право чувствовать себя и быть хозяином родной земли, ее угодий и богатств. Поэтому-то и многолетняя распря волченорцев из-за общественного кедровника с местными богатеями перерастает в романе в такой обнаженно острый конфликт. Не случайно художник посвящает десятки страниц изображению этих событий.

С большой душевной теплотой и симпатией рисует писатель характеры людей из народа, создавая обаятельный образ простого русского человека, сибирского крестьянина. Как далеки эти персонажи от традиционного сибирского мужичка, примитивного и дикого, из старой беллетристики о Сибири. Героев Маркова отличает не только исключительное жизнелюбие, безоговорочное приятие жизни, ненасытная жажда бытия и деяния, но и непрекращающаяся работа мысли, душевная щедрость и богатство. Этой щедростью, какой-то трогательно наивной доверчивостью к людям в избытке награжден Захар, старший из рода Строговых. Искрящимся, бьющим через край душевным здоровьем, умным лукавством и одновременно добродушием, мудрой народной сметкой преисполнен дед Фишка, один из наиболее удавшихся автору героев романа.

Многогранен и художественно емок образ Анны, жены Матвея Строгова. Смуглолицая красавица, дочь первого богача на селе, она полюбила сына бывшего батрака и настояла на своем — вышла против воли родителей за него замуж. В первые годы замужества в ее душе все время идет борьба мотивов — стремление жить в достатке, на заглядение людям и сильная любовь к Матвею, любовь, к которой примешивается изрядная горечь и неприязнь от сознания, что Матвей, таежник и вольная душа, не способен быть «хорошим хозяином».

Душевные противоречия Анны, борьба собственнических инстинктов и глубокой внутренней порядочности, уважение и восхищение перед открытой натурой Строговых и жажда богатства, долгие отлучки Матвея и настойчивые домогательства бывшего жениха Демьяна Штычкова — вот тот сложный комплекс житейских обстоятельств, из которых долгое время она не может выпутаться. Потребуется немалый горький опыт, прежде чем Анна увидит мир и людей в истинном свете, найдет свое место в жизненной борьбе.

Образ этой честной, мятущейся женщины выписан художником с поэтической силой и выразительностью. В ней много настоящего обаяния, непосредственности, силы и свежести чувства, истинной человечности характера и поступков.

По-своему сложен и образ центрального героя книги — Матвея Строгова. Характер его дан в развитии, в наращивании новых качеств, внутреннем обогащении. Матвей Строгов растет на глазах читателя. Писатель старательно прослеживает процесс духовного роста своего героя от мечтательно-наивного деревенского паренька, размышляющего о том, как земля и небо устроены, до признанного «мужицкого заводилы», вожака крестьянства в их борьбе с местным кулачеством, а потом и в массовом народном движении против сибирской контрреволюции в годы гражданской войны. Художник вскрывает объективные причины, конкретные жизненные факты и отношения, пробуждающие активную работу мысли, способствующие росту политического самосознания Матвея. Его биография складывается таким образом, что различные узловые этапы ее являются одновременно и ступеньками внутреннего обога-

щения героя. Служба в царской армии расширяет его представления о жизни, заставляет задуматься над тяжелым положением людей труда, обреченных всюду так же, как и в родных Волчьих норах, влачить нищенское существование. Эти настроения усиливаются по мере сближения Матвея с революционно настроенными рабочими, политическими ссыльными и революционерами, которых приходится ему наблюдать в период работы тюремным надзирателем. И так каждый поворот в личной судьбе героя одновременно служит и ступенькой в его духовном развитии.

Для художественной манеры Маркова, отчетливо проявившейся в его первом романе, характерно четкое распределение света и тени в обрисовке характеров. Писатель не боится резких контрастов, подчас он их даже намеренно усиливает. Отрицательные персонажи в его книге изображены подчеркнуто сатирически. Пороки их и всяческие иные моральные и физические качества доводятся порою до гротеска, сознательно утрируются. Внешнее физическое уродство в них органически сливается с духовной ущербностью и не привлекательностью. В какой-то мере это относится и к Зимовскому, и к Платону и Евдокиму Юткиным, и особенно Демьяну Штычкову. Убожеству интеллектуального и нравственного облика отрицательных персонажей в «Строговых» противопоставлено духовное здоровье, красота и размашистая душевная щедрость положительных героев.

Этот принцип раскрытия характера отрицательных персонажей вызвал нарекание со стороны некоторых критиков, упрекавших писателя в однолинейности и плакатности красок. Нам кажется, что такой прием подчеркнуто негативного изображения враждебных и автору и его читателям героев вполне правомерен, он имеет такие же права гражданства в искусстве, как и иные методы идейно-психологической характеристики персонажей. Сознательное преувеличение определенных, в данном случае отрицательных качеств вполне закономерно в литературе, как и других видах искусства. Гоголевский Плюшкин или щедринский Иудушка Головлев, быть может, не обладают всей сложной гаммой чувств, настроений и психологических нюансов шекспировского Шейлока, нарисованы резче, с прямолинейностью плаката, если угодно, но от этого они не утратили жизненного правдоподобия, обличительная сила, заложенная в них, не померкла от времени.

Ненависть художника к конкретным носителям зла отлилась именно в сатирически обнаженную форму, а не в какую-либо другую, и вряд ли есть основания упрекать его за это.

Миру алчности, двоедушия и жестокости в романе противостоит светлый мир большой жизни, земной радости и нелегкого человеческого счастья. Гармонически вплетаются в повествование картины природы то по-осеннему унылой и грустной, то охваченной буйным весенним цветеньем, когда кажутся помолодевшими и набухшая новой жизнью земля, и солнце, и небо, и клейкие, едва распустившиеся листочки деревьев.

Поэзией, очарованием молодости насыщены страницы романа, посвященные любви Артема и Маняшки. Нежные и акварельно мягкие краски находит писатель, чтобы передать чувства Артема и его возлюбленной, зачарованных колдовством сибирской летней ночи. Да и завершаются «Строговы» бодрым, приподнято оптимистическим аккордом во славу обновления природы, во славу человека — творца и хозяина: «Над землей вставал ясный день, солнечный день. Молодое желто-оранжевое солнце поднималось из-за гребней холмов. Широкий, неохватный простор наполнился разнотонными звуками. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и они сливались в один общий гул.

Сколько раз за прожитые годы Матвей слушал эту песню! Но сегодня он воспринимал ее по-особому: ему казалось, что это поет не земля, а душа его».

Менее удались автору «Строговых» образы профессиональных революционеров. Очевидно, писателю не хватало здесь непосредственно жизненного материала и живых впечатлений, той горячей плоти, которая питает собою трепетную жизнь искусства.

Произведение Георгия Маркова — значительное явление советской литературы, посвященное славному, но теперь уже весьма далекому прошлому русского народа.

В 1947 году появляется его новая книга — «Солдат пехоты». Критикой это произведение писателя было встречено более чем сдержанно. Острому критическому разбору подверг в свое время повесть такой взыскательный художник слова, как Борис Горбатов. В какой-то мере справедливость этой критики, очевидно, признал и сам автор: за двенадцать последующих лет он ни разу не переиздал «Солдата пехоты». А между тем это неровное произведение не лишено определенных достоинств. Резкая же критика его иногда велась с позиций пресловутой теории бесконфликтности.

Примечательно прежде всего то обстоятельство, что книга Г. Маркова явилась едва ли не первым серьезным произведением, написанным на тему, почти не освещенную в нашей литературе и поныне. Художник воссоздает жизнь, повседневный быт советских воинов на русско-японской границе в первый год войны. Сцены военно-тактических занятий, обживание, если можно так выразиться, безлюдных песчаных сопок, постоянная изнуряющая борьба, где бывают и человеческие жертвы, с суровой стихией — летними суховеями и бурными ливнями, зимними буранами — все это передано выпукло, с художественной экспрессией. Столь же сильное впечатление оставляют и картины, рисующие напряженную обстановку на маньчжурской границе — провокационные военные демонстрации японцев, каждодневное тревожное ожидание открытого столкновения и т. д. Писатель не боится смело и прямо говорить о трудностях условий, обстановки, в которые тогда была поставлена дальневосточная армия. Здесь нет лака и розовой водицы. На страницы его книги врывается колючий, обжигающий ветер самой жизни.

Встречаются в повести и яркие человеческие характеры. Особенно достоверен и хорош образ солдата Шленкина, образ очень живой и рельефный. И все же Г. Маркову в этой интересно задуманной книге не удалось до конца удержаться на уровне ее лучших страниц. Вторую часть повести — «Орлы над Хинганом» — губят чрезмерная патетика, информационность повествования, описательность, в которых теряются, как островки в океане, подлинно художественные эпизоды и сцены. «Орлы над Хинганом» оставляют впечатление скомканности, какой-то поспешной скороговорки, а не развернутого художественного полотна. Легко выпадают из памяти читателя и образы капитана Тихонова, комиссара Буткина, Филиппа Егорова. Характерам их не хватает той художественной конкретности, которая оживляет, скажем, образ Шленкина.

В 1952 году в Иркутском книжном издательстве вышел сборник рассказов и очерков Г. Маркова «Письмо в Мареевку». В основу этой книжки легли размышления писателя о воинском подвиге простых советских людей в годы войны («Трактат о подвиге»), о послевоенной колхозной деревне («Партийная линия», «Местная возможность» и др.), впечатления, навеянные встречей со строителями Цимлянской гидростанции, и др.

«Письмо в Мареевку» так же, как и «Солдат пехоты», написано неровно. Отдельные страницы ее испорчены риторикой, элементами идеализированно приукрашенного изображения жизни, то есть теми же самыми недостатками, которые стали появляться и в других произведениях нашей литературы в условиях культа личности. Интереснее остальных по замыслу и исполнению такие рассказы, как «Смоленский гость», повествующий о приезде в сибирский колхоз фронтовика, нашедшего здесь свое личное счастье, и особенно небольшая, психологически хорошо отработанная миниатюра «После войны», рассказывающая о трудных судьбах людей, опаленных войной. Рассказ ленинградца о том, как он вернулся через несколько лет в свою квартиру, как трепетно сжалось его сердце при виде портрета своей погибшей жены, и о вновь обретенном человеческом счастье, о том, как он нашел мать для своих детей, пожалуй, лучший в сборнике. Сделан он художественно экономно и скупо. Все содержание его уместилось буквально на пяти страницах.

Примечательна и еще одна особенность книги — раздумья умного и наблюдательного художника о судьбах родины, о разумном, хозяйственном использовании несметных природных богатств Сибири, сохранении и приумножении их ради человека в интересах народа. Это давняя и заветная мечта Г. Маркова. Она волновала его, когда он размышлял над судьбами своих героев в период создания «Строговых», об этом же думает и говорит Марков в своих выступлениях в печати, с трибуны писательских собраний и съездов. Мысли эти определяют направленность и пафос и его последнего романа «Соль земли». Неслучайно поэтому некоторые рассказы и очерки из книги «Письмо в Мареевку» воспринимаются нами как своеобразные творческие заготовки к роману. Это относится прежде всего к взволнованному выступлению писателя в защиту сибирского кедра — сказочного короля всех сибирских лесов, богатого и щедрого, красивого и гордого. Более того, два произведения из «Письма в Мареевку» — очерки «Сибирский кедр» и «В селе Веселом» — почти без изменений, особенно последний, вошли в повествовательную ткань романа. Рассказ о встрече с лесообъездчиком Чернышевым, перекочевавший в первую главу книги, стал запевкой ко всему роману, предопределил его направленность и атмосферу.

Над своим новым романом писатель работал около десяти лет. Задуман и начат он был еще в 1949 году. Первая книга «Соли земли» увидела свет в 1954 году на страницах журнала «Дальний Восток». Ровно через

шесть лет в том же журнале появилось его окончание. «Соль земли»— интересное и талантливое произведение о простых советских людях — наших современниках, их горестях и радостях, о самоотверженных романтиках, влюбленных в свой край, мечтающих о преобразовании и хозяйском освоении необъятных таежных просторов, о сибирской природе с ее щедрыми дарами. Уже само название романа чрезвычайно симптоматично. «Соль земли»— ведь это люди труда и творческой инициативы, одухотворенной мысли и смелых дерзаний. «Трудовой народ,— говорится в романе,— вот кто «соль земли». Не щади жизни в борьбе за его счастье!»

Утверждение необходимости живой, органической связи с народом, с местным населением, знающим и любящим свой край, накапливающим о нем знания по крупицам, из поколения в поколение— вот в чем пафос книги. Писатель выдвигает и полемически остро ставит целый ряд проблем, направленных к наилучшему использованию и приумножению и освоению таежных недр Сибири.

Отличительною особенностью нового произведения Г. Маркова является его романтическая устремленность в будущее. Героев книги отличает постоянное душевное горение, вдохновенный поиск и дерзание.

Молодой задор и подлинно романтическая окрыленность мысли, творческий подход к действительности движут поступками, проявляются в душевных движениях и чувствах многих персонажей романа. Именно эти качества определяют весь строй мыслей и чувств, жизненную философию работника обкома Максима Строгова, его жены Настеньки, беззаветно влюбленных в свой край охотника Михаила Лисицына и лесообъездчика Афанасия Чернышева, энтузиаста Алексея Краюхина.

Романтические мотивы врываются и в самую ткань повествования. Суровой былинной романтикой веет от рассказов восьмидесятилетнего Марея, от всего облика старого каторжанина, вернувшегося в места, где прошла трудная молодость, чтобы передать свои знания и опыт новому поколению. Сколько истинной поэзии, затаенной извечной мечты народа о всеобщем счастье и изобилии родной земли в многочисленных рассказах Марея о каменном угле, найденном когда-то таежными поселенцами, о похищенном золоте и, наконец, в романтической, полулегендарной истории тунгусского кисета, полученного Мареем в дар от тунгусов и переданного таежной охотнице и певунье Ульяне. На кисете были помечены залежи ископаемых, найденных «лесными людьми» во время их извечных таежных странствий. Поэзией, обаянием молодости насыщен и образ Ули Лисицыной, этого таежного соловья, чья звонкая песня то и дело звенит над притихшей тайгой. Этот образ едва ли не лучший в романе. Писателю удалось раскрыть в образе Ули красоту и очарование расцветающей жизни, силу и яркость первого юношеского чувства, поэтичность характера простой русской девушки-таежницы.

Страницы книги, посвященные тайге и таежникам, сверкают всеми красками жизни. В картинах природы, рисуемых художником, много свежести, солнца, движения: легкий шелест деревья, хрустальный звон таежных ключей, падающих в живописное озеро, пьянящие запахи земли и таинственные шорохи леса. Особенно хороша в этом отношении седьмая глава первой книги романа, поэтическая и благоуханная, написанная с настоящим творческим подъемом. Тайга со всем своим очарованием, юная охотница — таежная красавица Уля — все это невольно захватывает читателя. Такой же живостью, многоцветным переливом красок искрятся многие сцены и второй книги, рассказывающие о поведении и чувствах героев в необычной таежной обстановке, лицом к лицу с одухотворенной природой и ее сокровенными тайнами. Здесь-то по-настоящему и раскрываются людские сердца и характеры.

Точно нежный цветок навстречу солнцу, всем своим доверчивым сердцем тянется Уля к Алексею Краюхину, заново и по-юношески остро переживает свое чувство к мужу Анастасья Федоровна, радостью и целомудрием молодости наполняются сердца Андрея Зотова и Марины Строговой, людей, уже потертых жизнью, но как-то вдруг почувствовавших, что прошедшее время не оставило на их душе ни ржавчины, ни пыли.

И только фальшивые люди, ходячие маски не чувствуют этого будоражущего полноводья жизни, разлитой вокруг красоты и счастья. Столкновение с природой обнажает их душевную дряблость и пустоту, насквозь просвечивает их каменные сердца, поросшие мхом. Ухо какого-нибудь карьериста Бенедиктина или же стяжателя Станислава не улавливает ни трелей соловья, ни журчанья петляющего между корневищ деревьев неумолчного ручейка. Природа для них безмолвна и глуха.

Книга Г. Маркова построена на живой, занимательной интриге. Она раскрывает сложные, подчас драматические судьбы лю-

дей, вступивших в борьбу с обветшалыми традициями, равнодушием и инертностью мысли, с косностью и рутиной.

Основной сюжетный узел, к которому стягиваются так или иначе все линии романа, связан с судьбой Алексея Краюхина, человека, который глубоко верит в промышленную перспективность края, стремится любой ценой найти доказательства своей правоты. Именно этим объясняется все его поведение, для многих поначалу неожиданное и странное. Талантливый, подающий надежды аспирант, он вдруг оставляет научно-исследовательский институт, любимую девушку и едет работать в таежный район простым учителем. Несчастный случай в тайге, который едва не стоил ему жизни, приводит к тому, что Краюхина снимают с работы, исключают из партии. Отношение к его поведению окружающих предопределило нарастание общественно значимого конфликта в романе, позволило автору показать характеры десятков людей, выявить их истинные взгляды на будущее Улуюлья.

Сложные и различные пласты жизни подняты писателем. В поле его зрения входят партийные работники районного и областного масштаба, ученые, крестьяне-таежники и учителя, беззаветные энтузиасты и карьеристы. Он насыщен раздумьями о жизни и любви, о путях личного человеческого счастья и больших общенародных помыслах.

Многие характеры романа задуманы необычайно интересно, раскрываются через сложное переплетение жизненных обстоятельств. Если такие ведущие персонажи книги, как Алексей Краюхин, Максим Строгов или же, скажем, Чернышев и Лисицын, проходят через все произведение с какими-то уже заранее определившимися качествами, которые только полнее выявляются в конкретных житейских ситуациях, но другие герои «Соли земли» на крутом жизненном повороте предстают перед читателем в новом, на первый взгляд неожиданном, но в сущности психологически обоснованном освещении. Особенно это удалось художнику в обрисовке характера Артема Строгова да отчасти и профессора Великанова. Жизнь — хороший учитель. И когда писатель заставляет старого профессора пересматривать свое отношение к промышленной проблеме Улуюлья или же заставляет секретаря сельского райкома партии Артема Строгова по-новому взглянуть на «дело Краюхина», в ином свете увидеть своего любимца — льновода Дегова, жадно прислушиваться к «фантасту» Чернышеву, во все эти метаморфозы невольно веришь, веришь потому, что здесь правда характера поверяется правдой самой жизни.

Несомненно, менее удались автору образы ученых. Научная среда, особенно в первой книге романа, изображена им значительно бледнее и схематичнее других сфер жизни, привлекших внимание писателя. Портит местами книгу и непреодоленная до конца языковая невыразительность авторской речи. Можно было бы указать и на искусственность вплетения в сюжетное повествование образа Станислава, сына бывшего сибирского купца, пробравшегося в улуюльскую тайгу с мыслью найти запрятанные отцовские драгоценности. Этот персонаж совершенно не врастает в художественную ткань книги.

Но справедливость требует заметить, что как художника Маркова отличает взыскательность и постоянная требовательность к себе. От издания к изданию он улучшает свои произведения. Это можно сказать и о «Соли земли». Так, к примеру, текст первой книги романа в последнем московском издании 1959 года стал значительно строже и четче по композиции, отбору изобразительных средств по сравнению с первыми публикациями. Автор снял целые главы, замедлявшие повествование, углубил психологическую характеристику персонажей.

«Соль земли»— произведение, современное по духу и звучанию. Пафос ее в утверждении красоты и радости жизни советского человека, призванного делами своими украсить землю, приумножить богатства Родины.

Много сил, времени и труда отдает Г. Марков общественной деятельности. Долгие годы он принимал живейшее участие в работе иркутской писательской организации, в издании альманаха «Новая Сибирь», всегда заинтересованно и любовно помогая росту талантливой писательской молодежи. С 1956 года писатель живет в Москве. Он секретарь правления Союза писателей СССР, член редколлегии «Литературной газеты». В центральной прессе часто можно встретить его взволнованные выступления, проникнутые заботой о судьбах родной литературы, сыновней привязанностью к Родине.

В. Гайдук

ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИРКУТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Перечитывая некоторые произведения иркутских писателей, посвященные современности, такие, например, как романы «Ангара» Ф. Таурина и «Год жизни» В. Тычинина, вышедшие в Иркутске в 1958 году, повесть А. Ермолаева «Строители», изданную недавно в Москве, отчетливо подмечаешь у этих авторов стремление глубже разобраться в противоречиях самой жизни, в сложном характере современного человека. И это стремление проявляется прежде всего в том, что борьба советских людей отражена в упомянутых книгах с большей остротой и напряженностью и тем самым с большей жизненной правдой, чем это делалось многими писателями несколько лет назад.

Факт знаменательный! Он говорит о том, что наша литература становится ближе к жизни народа, все более правдивей выражает его подлинные чувства и заветные желания.

Каким же предстает образ современника со страниц этих произведений? Как отразилась в этих книгах правда наших дней?

Когда задумываешься над образами лучших наших современников: горным инженером Алексеем Шатровым («Год жизни»), экскаваторщиком Семеном Переваловым, шофером Кузьмой Семеркиным, молодым инженером Сергеем Ракитиным («Ангара»), строителями Еленой Радченковой и Петром Завитаевым («Строители»),— начинаешь постепенно улавливать в их облике и во всем жизненном поведении нечто общее, свойственное им всем. И в этом общем, на наш взгляд, раскрывается по-своему новая и наиболее характерная черта советского человека конца 50-х годов — какое-то обостренное ощущение личной ответственности за все, что делает он сам и его товарищи, какое-то особенное чувство совести. Мы назвали это чувство так потому, что оно еще нередко проявляется как бы случайно и не всегда глубоко осмысливается человеком с общественной, гражданской точки зрения, но оно присутствует в каждом помысле и в каждом поступке этого человека.

В самом деле, когда молодой инженер Сергей Ракитин, только что окончивший вуз и приехавший на строительство сибирской ГЭС по зову своего сердца, отказался выполнить неправильный приказ начальника стройки Гусарова («Ангара»), он впервые в жизни столкнулся с противоречием поступить формально правильно, но по существу — нет. И не будь у него этой высокой личной ответственности, он поступил бы именно так (формально), а не иначе.

Чем рождается это чувство совести? Прежде всего гражданской честностью. Именно она является источником того мужества и той смелости, которые делают человека сознательным борцом против сил косности и формализма, против бездушного отношения к людям, против всего, что враждебно народу, движению нашего общества вперед.

Конечно, Сергей Ракитин еще не является таким вполне сложившимся борцом, многое ему еще не понятно. Но он уже вступил на этот путь, прошел первую жизненную закалку. В нем началась упорная, пытливая работа мысли. Он старается глубже понять свою роль и значение своего поколения в современной борьбе.

Своему старшему товарищу Елисею Карповичу Кравчуку он откровенно признается: «А почему вы думаете, что я борьбы боюсь?..

Не раз приходилось мне слышать, что люди вашего поколения говорят с укором: «Не та молодежь пошла. Нет того горения, что в наше время. Мы ничего не страшились! Ни трудностей, ни борьбы!»— Всегда нам твердят,— с той же горячностью продолжал Сергей,— что главные трудности выпали на долю наших отцов, что нам дорожка уже расчищена. Это верно. Но я вот что хочу сказать...— Сергей нервно потер лоб и остановился, подыскивая нужные слова, — вам труднее было, но проще. Вот именно проще. Перед вами стоял враг: белогвардеец, нэпман, кулак... немецкий захватчик, наконец! С ним надо было бороться. Его надо было уничтожить! А с кем должен бороться я — комсомолец Ракитин? С начальником строительства коммунистом Гусаровым? С человеком, который и умнее и опытнее меня и, конечно, не меньше меня предан партии и народу!.. И вот, оказывается, я прав, а он неправ. Почему же так получается, если он и опытнее и умнее меня?»

В самом деле, почему так получается? Почему прав Ракитин и неправ Гусаров? Какие силы стоят за ними? И что прежде всего представляет фигура Гусарова?

Ответить на эти вопросы — значит раскрыть и понять некоторые характерные для современности общественные тенденции и конфликты, определяющие в какой-то мере те сложности, которые стоят на пути нашего развития.

Право, в облике Гусарова есть много эффектного, поистине «гусарского»: красивый, энергичный, волевой, любимец женщин, талантливый, с немалыми заслугами в прошлом, он пользуется известным авторитетом среди строителей. И многие люди под этой внушительной солидностью не могут разглядеть поверхностного, чисто внешнего, неглубокого отношения к жизни, к работе и, в конечном счете, бездушного отношения к людям и равнодушия ко всему, что не касается его, Гусарова, личности, его, Гусарова, славы и успехов.

Такие типы, как Гусаров, не так уж глупы, чтобы казаться в глазах людей примитивными карьеристами или недалекими бюрократами. С ними поэтому трудней бороться. Они умеют создать себе репутацию отзывчивых, внимательных к людям руководителей.

«Если к нему приходили с заявлениями и просьбами, он никогда и никому не отказывал. Если просили сменить квартиру, Гусаров снимал трубку, вызывал начальника жилищно-коммунального отдела и приказывал: «Разобраться и удовлетворить просьбу», хотя зачастую отлично знал, что ни одной свободной квартиры в резерве нет. И когда ему об этом напоминали, произносил назидательную речь: «Когда я в конце концов научу вас заботиться о людях? Все ваши домоуправы, коменданты и прочие причиндалы в отличных квартирах живут, а вот у рабочего-строителя... семь человек в комнате».

Случалось, что где-нибудь на участке начальника стройки останавливал рабочий и говорил: «Не дали ведь мне квартиру-то».

— Не дали?— грозно хмурил брови Гусаров.— Сукины дети! Много еще у нас чиновников. Ну, доберемся и до них! Не все сразу.

И опять оставался вроде правым в глазах рабочего».

Самое главное в Гусарове то, что он видит лишь форму, а не суть жизни. Необходимая цифра плана, выгодное мнение со стороны высшего начальства — ради этого он готов пойти на все, «рискнуть», как любит повторяться Гусаров. А этот «риск» порой оборачивается катастрофами, вольно или невольно приводит к сделке с совестью, к подлогу, к моральному преступлению.

Образ Гусарова, на наш взгляд, являет собой нечто более серьезное, нежели просто «несоответствующего должности» руководителя. Подобные черты Гусаровых можно увидеть и в людях «чином пониже». В этом образе писатель типизировал явление, которое еще существует в нашей жизни и приносит людям немало бед и страданий.

Везде, где забота о простом человеке начинает постепенно отходить на второй план, где пышным цветом распускаются равнодушие и парадность, где за громкими фразами не видно живого дела, там следует искать Гусаровых.

Вот почему был прав комсомолец Ракитин и неправ Гусаров. Вот почему Ракитин и его друзья выходят на беспощадную борьбу с Гусаровыми и подобными им.

В течение последних примерно пяти лет в нашей жизни особенно ясно и резко стал проявляться, конечно, не новый, но во всяком случае как бы заново, своеобразно и остро раскрывшийся характер самоотверженного борца против невнимательного, бездушного отношения к личной судьбе простого человека.

Для людей этого типа за цифрой производственного плана никогда не затеряется рядовой труженик с его заботой и радостью, бедой и надеждой. Они всеми силами стремятся помочь людям улучшить порой не очень легкую жизнь. И делают это не по обязан-

ности, а потому, что иначе не могут. Они не опускают рук, когда на их справедливые требования какой-нибудь чинуша кричит: «Ты обыватель! План выше всего!» И даже тогда, когда подобный вельможа применяет против таких людей административный нажим, они продолжают бороться, потому что знают: правда и справедливость будут на их стороне. Именно такую трудную, порой отчаянную борьбу ведет инженер молодой коммунист Алексей Шатров с оторвавшимся от народа начальником шахты Крутовым («Год жизни»).

Для Алексея Шатрова борьба за коммунизм на современном этапе — это не сладенькие обещания о той жизни, которая наступит через несколько лет. Для него это ежедневная, постоянная борьба за радостный производительный труд, за то, чтобы люди уже сейчас стали жить лучше, чище, счастливее.

Именно в этом и заключена настоящая правда наших дней, в этом смысл современной борьбы против Крутовых и Гусаровых.

Но как до конца осуществить эту правду? Как быстро и окончательно сломить карьеристов, бюрократов? Дает ли на это ответ сама жизнь? Во многом и самом главном, конечно, дает, но этот ответ далеко не так прост, как может показаться.

Именно поэтому, на наш взгляд, в книгах иркутских писателей голос самой жизни, суровый приговор действительности над Крутовыми и Гусаровыми все-таки прозвучал не в полную силу, хотя во всех этих произведениях, как говорится, порок наказан, а добродетель торжествует.

Почему же так произошло?

Основная причина, по нашему мнению, заключается не только в недостатках художественного мастерства, неглубокой психологической разработке многих образов, неяркости сюжетных линий и особенно языка.

С художественным мастерством непосредственно связана и другая очень важная проблема — мировоззренческая. В данном случае речь идет не о политических взглядах писателя. В этом отношении в рассматриваемых произведениях все совершенно правильно. Речь идет о той «высшей точке зрения» художника, которая лежит в основе подлинного произведения искусства. «...Понять, освоить политически еще не значит освоить художнически»,— говорил Алексей Толстой.

Когда читаешь книги Ф. Таурина, В. Тычинина, А. Ермолаева, создается впечатление, что эти авторы порой очень верно отражают действительность, так сказать, с элементарно житейской точки зрения или даже, если хотите, с «административной», «юридической» и т. п.

Все, например, «провинившиеся» персонажи их произведений получают по заслугам: одни отданы под суд, другие исключены из партии, третьи сняты с работы, а все пострадавшие за правду восстановлены, потерпевшие неудачу в личной жизни, в любви снова находят желанное спокойствие и т. д.

И против этого трудно возразить. В жизни так бывает. Поэтому и в книгах все это выглядит вполне правдоподобно.

Но если это правдоподобие не объединено глубокой, обобщающей и всецементирующей мыслью художника, выражающей его философско-исторический подход к действительности, то произведение останется лишь элементарной копией жизни и никогда не достигнет настоящей волнующей правды искусства. Вот такой «высшей точки зрения» недостает авторам рассматриваемых произведений.

Вот почему даже лучшие образы романов «Ангара», «Год жизни», повести «Строители» не выписаны до конца глубоко и тонко, взаимоотношения персонажей нередко прерываются побочными, второстепенными мотивами, уводящими от главного и т. д. Например, сюжетная линия, связанная с образом матери Сергея Ракитина (бывшей жены Гусарова), не находит в романе сколько-нибудь серьезного идейно-композиционного развития и поэтому в общем замысле произведения представляется не очень глубокой. То же самое можно сказать и в отношении образа парторга и некоторых других. Это правдоподобные, но иллюстративные фигуры, лишенные той художественной силы, которая только одна придает авторскому замыслу стройность и убедительность.

Все эти просчеты приводят к тому, что огромный исторический смысл борьбы советских людей за коммунизм как-то порой мельчает, растворяется во многих нередко сложных, но торопливо схваченных и поэтому совершенно лишних житейских подробностях.

Конечно, Сергей Ракитин, Алексей Шатров и тем более Семен Перевалов или Кузьма Семеркин не очень часто произносят такие святые слова: Родина, коммунизм. Они относятся к ним целомудренно и бережно. Но за этой сдержанностью таится всепобеждающая человеческая страстность. И когда она разбужена, ею рождается огромная сила. Раскрыть эту чудодейственную душевную активность современника — значит увидеть в нем скрытую за покровом внешней обыденности высшую правду времени.

Борьба Шатровых, Ракитиных, Радченковых с Крутовыми, Гусаровыми, Грошевыми есть проявление подобной активности. Именно в ней — залог окончательной победы над всем тем, что еще принижает человека, не дает созреть его полной красоте.

Но как раз эта самая главная и полная исторического смысла черта современника в произведениях иркутских писателей не нашла достаточно яркого и убедительного воплощения. Этому отчасти помешала во многом объяснимая, но в целом не очень глубокая авторская установка на излишнюю «усложненность» личной судьбы героя, что естественно приводит к тенденции показать борьбу человека за справедливость через преодоление обиды, боли, страданий.

Именно с этой стороны прежде всего раскрываются образы Шатрова, Перевалова, отчасти Ракитина, Радченковой, Семеркина и некоторых других.

Но подобная все же несколько односторонняя тенденция не столько усложняет, сколько невольно обедняет образ современника.

Среди борцов против Крутовых и Гусаровых все чаще становится не так уж трудно разглядеть счастливые, гордые лица. На них вы не увидите ни боли, ни тоски, ни сомнений. Именно на судьбе этих людей лежит наиболее яркий отблеск нового, грядущего мира. Это они ведут за собой тех, кто еще не обрел полной уверенности в своих силах, в своих правах.

Таких людей все больше и больше. И это согревает великой радостью и счастливой надеждой все человеческие сердца.

Раднай Шерхунаев

ПРОБУЖДЕНИЕ НАРОДА

В издательстве «Советский писатель», в Москве, вышел роман Платона Малакшинова «Учитель»[1]. С интересом берешь эту книгу, книгу своего земляка. И когда читаешь ее, невольно думаешь прежде всего о судьбе самого автора: то, что описано им, происходило не только на его глазах, но и многое он пережил сам.

Платон Ильич Малакшинов родился в улусе Шапшалтуй, Аларского аймака, Усть-Ордынского Бурятского национального округа, и, с малых лет оставшись сиротой, долгое время батрачил. Только советская власть дала ему образование: он окончил высшее учебное заведение, стал кандидатом филологических наук, имеет ряд трудов по бурятскому языкознанию и педагогике.

С первыми литературными произведениями Платон Малакшинов выступил в середине 30-х годов. Позже им опубликованы повести «В далеком городе» и «Мальчик из Забайкалья». В романе «Багша» («Учитель»), вышедшем на бурятском языке в Улан-Удэ и ныне изданном в переводе на русский, повествуется о жизни бурят до Великой Октябрьской социалистической революции.

1912 год. Улус Тарята, Балаганского уезда, Иркутской губернии. Сюда, в этот темный и заброшенный уголок, приезжает учитель Тимофей Борисович Большаков, молодой русский парень, «с благородной целью связать узами любви и братства сердца двух народов».

Как известно, это был очень важный период в жизни страны, период нового революционного подъема.

А Тарята, расположенная за тысячи верст от Москвы и Петербурга, в глуши сибирской тайги, жила своей обычной полудремотной жизнью. Но в общем пульсе ее жизни чувствовались какие-то перемены, приближение чего-то нового.

Появление здесь Большакова, образ которого в романе «Учитель» выведен центральным, не случайно. Автор показывает, что его герой, Тимофей, рано познал нужду и горе, прошел большую жизненную школу и еще на учительских курсах познакомился с политическим ссыльным Вадимом и по его поручению тайно распространял среди рабочих листовки и большевистскую газету «Звезда». Однажды он прочитал заметку, в которой рассказывалось о том, как в чувашской деревне учитель собрал вокруг себя демократически настроенных крестьян, читал им газеты, вместе с деревенскими ребятами поставил спектакль «Дубиной слова не убьешь», которую сам написал. Это очень понравилось Тимофею, и он решает ехать к бурятам.

И вот мы видим Тимофея Большакова в тех местах, «куда, похоже, настоящее человеческое слово никогда не долетало». В первое время его одолевает тоска. Безусый, неопытный «вихрастый юноша с небольшими карими глазами» даже думает: «Побежать бы за поездом, прицепиться за ступеньку последнего вагона — и был таков!». Это внутреннее переживание, волнение, разочарованность естественны и понятны.

С первых дней жизни в деревне перед Тимофеем Борисовичем открываются картины ужасающего бедствия, нищеты и бесправия бурят. Представитель царской власти крестьянский начальник Миллер и нойоны Шадан Забанов, Доржи Билигтуев, шаман Монхой держат в страхе, темноте и невежестве улусников, нещадно эксплуатируют их и подавляют всякое стремление к знанию, свету, культуре.

[1] Платон Малакшинов, «Учитель», роман, перевод с бурятского М. Демидовой и М. Чечановского, «Советский писатель», М., 1959, 551 стр.

Тут-то и начинается основной конфликт в романе — борьба между старым (нойоны, шаманы) и новым, прогрессивным в лице учителя Большакова. Одни стремятся всеми силами смять молодое, растущее, не дать ему развернуться, задушить его, а другой наперекор всему насаждает новое, светлое.

Просвещению бурятского народа мешают не только царизм, нойоны и шаманы, но и вековая отсталость и суеверие. Неслучайно некоторые родители не пускают детей в школу, а сын шамана Дарай Монхоев открыто говорит о вреде чтения, о вреде книг (а сам ходит сюда лишь потому, что «деньги считать надо учиться»).

Нелегко учителю заниматься с детьми, не знающими русского языка. И страницы романа повествуют, как Тимофей Борисович преодолевает эти трудности, обучает ребят русскому языку, находит способы и методы доходчивого и понятного объяснения материала. Он сам составляет примеры для решения задач по арифметике, письменных упражнений по русскому языку и так, чтобы они не были оторванными от современности, а показывали, учили, раскрывали глаза на правду жизни.

Писатель показывает Большакова в широком плане — перед нами не просто человек, лишь обучающий детей, но учитель в полном смысле этого слова. Он ведет не только просветительскую, но и политическую работу.

Тимофей Борисович вникает в жизнь, быт и нравы бурят. Ему необходимо познать их душу. И он изучает их не как исследователь, далекий и чуждый им, а как человек, которому не безразличны интересы трудящихся. Чем больше учитель познает их жизнь, тем больше проникается уважением к улусникам — аратам, становится для них близким и родным. Везде и во всем он подчеркивает и высоко поднимает человеческое достоинство людей труда.

Все глубже и глубже автор раскрывает характер Большакова, рисуя его человеком простым, отзывчивым, душевным, понимающим беды людей и стремящимся помочь им. В деревне был пустой дом. Суеверные люди говорили, что в нем живут бохолдои (упыри, злые духи), что по ночам они здесь зажигают огни. Вот раз поздно вечером улусная молодежь вела шумный спор. Тимофей Борисович, к изумлению и трепету присутствующих, зашел в дом, чтобы доказать, что никаких бохолдоев на свете нет.

Учитель понимает, что мало быть смелым, мало самому быть в чем-то твердо убежденным. Надо уметь убеждать в этом других. И убеждать не одними поступками, но и западающим в душу словом, и он организует кружок, терпеливо обучает грамоте взрослых. Дамба Бахаев, труженик-скотовод, с первых дней приезда учителя подружившийся с ним и многое узнавший, рассказывает своему товарищу Мохосою: «Без книг нельзя. Но их надо выбирать, как лошадей. В зубы им смотреть. Да, да, в самые зубы!.. Бывают же люди без зубов? Так и с книгами случается. Они бывают и беззубые, и клыкастые, и кусачие, и вредные. Учитель так говорил».

Тимофей Борисович вырастает перед нами как личность сильная, решительная. Учитель показан в непрерывном росте. Ему приходится много учиться, ориентироваться в сложной обстановке. Он много занимается, изучает «Капитал» Карла Маркса, «Манифест Коммунистической партии», труды В. И. Ленина.

Но случается и такое, что Большаков терпит поражение, сознает, что не в силах сразу помочь угнетенным и обиженным. В трудные минуты ему на помощь приходят старшие товарищи — политические ссыльные, большевики, живущие в соседнем с Тарятой поселке углекопов и ведущие подпольную работу. С ними Большаков и держит связь, получает дельные советы, нужную литературу. От поддержки друзей силы у Большакова удесятеряются, и он с новой энергией и уверенностью берется за работу, шаг за шагом завоевывая доверие и симпатию народа.

Отсюда понятно, каково отношение богачей и нойонов к учителю. Они боятся и ненавидят его. Шаман Монхой делает все, чтоб опорочить багшу, и не без оснований жалуется: «...У меня этот Большаков костью в горле стоит». Ведет с учителем ярую открытую борьбу богач Шадан Забанов. В романе эти образы, Монхоя и Шадана, обрисованы ярко, выпукло. Облеченные почти неограниченной властью, они самоуверенны, жестоки и жадны, не гнушаются ничем для достижения цели — наживы богатства, готовы даже уничтожить учителя.

В столкновении с жизнью, в борьбе за дело народа, в связи с политическими ссыльными, шахтерами — ведущей силой революции — наиболее полно раскрывается образ Большакова.

Могут заметить, а не слишком ли много возложено на одного учителя? Да, много, а как иначе? На то он народный просветитель, олицетворяющий собой русский народ. Большаков выполнял волю тех, кто вел трудящихся по пути пробуждения политического самосознания, к революции. Вместе с этим ро-

ман перегружен деталями, которые не способствуют раскрытию образа главного героя.

Своеобразен в романе образ Элюубе (Любы), стеснительной и скромной девушки. Это о ней, улусной красавице, Шадан Забанов, встретившись по дороге с крестьянским начальником, рассказывал как о товаре, за которым охотится. Тимофей любит эту девушку. И она любит его. Но Элюубе охвачена тяжелым раздумьем: она простая неграмотная бурятка, он — ученый человек. Видно ли, чтобы бурятка вышла замуж за русского. На пути их любви тяжелым препятствием встают религия, шаманизм, различного рода суеверия. Элюубе прячется от учителя. Сближение их дано автором так, что оно естественно вытекает из общего повествования. Сложная перипетия взаимоотношений между Тимофеем Борисовичем и Элюубе тонко и мастерски показывается писателем.

Интересен и образ Дамбы Бахаева. С ним мы встречаемся почти с самого начала повествования. Перед нами забитый, темный бурят, напуганный шаманскими бреднями и слухами, распространяемыми нойонами. С малых лет внушали покорность, заставляли трепетать перед богатыми; так он и вырос в беспросветной тьме. Дамба боится всех и вся — бога, нойона, шамана, черта, разбойника. Он и сам, не тая, признает: «Карахтером (тут, вероятно, ошибка переводчиков: звук «к» не присущ для бурятского языка, потому он в этом слове излишен и неправилен.— Р. Ш.) я опасливый... От худой жизни такой получился... Когда живот пустой — в сердце страх гуляет». Но Дамба изображен вначале чересчур уж трусливым и жалким. Едва ли он побежит прятаться от шахтеров за деревья, как утверждается в романе. В речи Бахаева слишком много междометий. Тут автору изменило чувство меры.

Но вот в жизни Дамбы начинается новая страница — знакомство, а затем и дружба с Тимофеем Борисовичем Большаковым. Учитель, видя в нем человека честного и правдивого, который не подведет товарища, берется за его воспитание, переделку его души, непосредственной и чистой. Многое, очень многое узнает бедняк из уст русского нухэра, многое становится ему ясным. И на жизнь он теперь смотрит по-другому. Конечно, это происходит не сразу, не в один день. В конце романа мы видим Дамбу готовым постоять не только за себя, но и за товарищей. А когда улусные нойоны арестовали учителя, Дамба вместе со своими друзьями горой встал на защиту и освободил его из-под ареста.

Так же, и у Дамбы, большие перемены во взглядах на жизнь произошли у другого улусника — Мохосоя. В начале это послушный работник богача, преданный ему как верный пес. Он с рвением и усердием выполняет работу хозяина и с таким же усердием, будучи назначенным старшим, например, на косьбе яровой ржи, заставляет трудиться подобных ему батраков, нажимая на них, подгоняя и понукая.

Как-то на поле Дамба и Мохосой разодрались. Но тут, к счастью, оказался Тимофей Борисович и остановил их. Потом учитель взял руку Мохосоя, поднял и потряс ею в воздухе: «Вот она! Все ее видят?.. Хозяин глядит на эти пальцы, чтобы они для него золото сгребали. Но он же и боится этих рук... А вы их поднимаете друг на друга!.. Вам бы надо... соединиться и подняться на того, кто обижает вас, бедноту...»

Жестокость нойона Шадана Забанова доводит до того, что батрак поджигает его сено и открыто поднимает голос протеста.

Очень хорошо даны писателем детские образы Даши Бахаева и Дарая Монхоева.

Характерно ли, скажем, все описываемое в романе для Бурятии, могли ли быть подобные события в улусе в 1912 году? Да, безусловно, характерно. Бурятия — обширная по территории и разнообразная по природным условиям страна. Тем и интересно, что автор берет определенную и точную географическую точку — Балаганский уезд, Иркутской губернии, куда целиком входил нынешний Аларский аймак. Улус, где происходит действие романа, отличается тем, что он расположен рядом с великой транссибирской магистралью и не только поблизости, а непосредственно в зоне Черемховского угольного района, где, по всем историческим данным, в указанный период, раньше и позже до революции, широко развертывалось революционное движение рабочих[1]. Писатель, хотя он и не создает историю, а художественное произведение, не отходит, как видим, от исторических фактов.

Следует отметить, что в романе неплохо показываются и картины родной природы. Пейзаж играет немаловажную роль в художественном воплощении замысла автора.

Немало удачных сравнений, образных выражений мыслей. Точно и метко дан ряд сцен и картин быта. Как верно и хорошо, скажем, схвачена такая деталь: «...Дамба сел на арбу, свесив одну ногу между оглобель, а другую возле колеса,— казалось, он сидел верхом на

[1] Подробнее см. «Историю Бурят-Монгольской АССР», издание второе, том I, Улан-Удэ, 1954, а также книгу З. Тагарова «Рабочее движение в Черемховском угольном районе», Иркутск, 1959.

оглобле». Шадан Забанов сломал изгородь Дамбы Бахаева и по его утугу сделал себе дорогу. Бедняк возмущен. Показывая и стуча себе в грудь, он рассказывает: «...каково... вот... тут?.. Там печенка плачет. По моей селезенке, а не по утугу Шаданова дорога идет. Лошади и коровы не сено топчут, а мои кишки...»

Кстати, о речи персонажей. Автор романа по возможности стремился индивидуализировать их. Дамба Бахаев, например, говорит образными словами, меткими сравнениями, афоризмами. В них видна народная мудрость и богатство языка. Другая особенность у него — наличие междометий, характеризующее удивление, возмущение, сомнение, восторг. Речь Большакова отличается тем, что она всегда понятна и доступна его собеседникам-улусникам, убедительна, веска и даже резка в разговоре с нойонами. У учителя слова отчеканены, предложения несложны, мысль выражается предельно точно, просто и ясно. Автор, показывая эрудицию и высокую культуру педагога, наделил его и богатством языка.

Писатель обладает богатыми возможностями. А все-таки они не использованы им полностью. Автор произведения местами рассказывает о своих героях, в то время как нужно их показывать. В ряде случаев описания бытовых явлений, нравов и обычаев несколько заслоняют людей, мешают более яркому их изображению. Немножко больше хотелось бы знать о Терентии Орлове. У читателя не остается о нем цельного представления. Такие образы, как Тархай, Бата, Гоншок, Ринчин, Хара-Нохой, бледны, еле очерчены, о некоторых просто упоминается. Слабо показаны характеры шахтеров — Данилы, Петра. Ни в коей мере не могут удовлетворить нас женские образы — Могсоон, Пэлжэд, Тухэроон, Агаши. Рассказывая о них в одной главе, автор как бы забывает в другой и оставляет их в тени. В результате не видишь полнокровных персонажей, живущих интересной жизнью.

Вызывают возражения некоторые детали из жизни бурят. При всей отсталости их в дореволюционное время изображение того, что люди утопали в грязи и некому было производить уборку в школе к началу учебного года, дабы «лишний раз не вымывать счастье и достаток из своего жилья» (стр. 104) неправдоподобно. П. Малакшинов обобщает: «А бурятки не привычны мыть пол, редкая у себя в доме это делает, а кто и моет — так раз — два в год». В описываемый им конкретный период и в обстановке тесного общения с русскими это не может относиться ко всем бурятам.

В главе 35 первой части романа рассказывается, как женщина в сарае пугала бохолдоев (нечистую силу), держа в руке осколок чугунной чаши с горящими угольями. Все это правильно. Но, во-первых, она представлена очень глупой, не понимающей и не знающей, что порох в натруске может взорваться, во-вторых, обычно такую «церемонию» делали мужчины, а из описания видно, что дома был мужчина. Женщина «отгоняла» бохолдоев в исключительных случаях, когда дома нет хозяина; скорее всего приглашался для этой цели человек мужского пола из числа соседей.

Говоря о романе «Учитель», хочется напомнить то обстоятельство, что он вышел на русском языке в июне 1959 года, накануне празднования трехсотлетия добровольного вхождения Бурятии в состав России. Книга явилась подарком автора к этой славной дате.

В романе поднята очень важная и исключительная по своей значимости тема — установление и укрепление дружбы русского и бурятского народов. Образ Большакова как нельзя лучше и убедительнее показывает, что их связывает. Врезается в память картина того, как рождается дружба тарятинцев с шахтерами и как она укрепляется изо дня в день, и, наконец, русские и буряты вместе проводят маевку — весенний праздник свободы и труда. В том, что улусники вышли сюда с красными знаменами, во многом заслуга Большакова: «этот человек сумел поднять улус, который веками лежал у ног живых и мертвых шаманов!»

«Учитель»— произведение о великой исторической миссии русского народа, протянувшего, как и многим другим, руку братской помощи трудящимся одной из самых отсталых национальных окраин страны в тяжелые годы царизма. Это произведение о пробуждении бурятского народа, о его дружбе с русским народом.

Книга открывает перед нами как бы новую область жизни. Из всех прозаиков бурятской литературы П. Малакшинов первым и, надо сказать, со знанием дела описал жизнь, быт и нравы бурят Иркутской области. Прекрасен показ их труда: косьбы хлебов, огораживания стогов сена, дойки коров и т. д. В этом смысле роман дает читателю много интересного и познавательного материала.

У автора впереди новые планы, новые замыслы. От души пожелаем ему плодотворной работы и больших творческих успехов!

ИПАТ ЛУКИН

ЮБИЛЕЙ

Рассказ

Должность моя незнатная, о ней не пишут в газетах и журналах, я лично не читал. Да и друзья мои тоже не читали.

Даже на собраниях и совещаниях по случаю перевыполнения плана перевозок и сохранности государственных грузов о нас и не упоминают и туда не приглашают.

Я, значит, рядовой охраны движения грузов во всех направлениях. Моя фамилия Холодильников. Конечно, вы не слыхали. Живу на этой станции 30 лет. Работаю только по этой части. Начальство не отпускает, да и самому нравится. За званием не гонюсь. От службы не бегаю. Начальником быть не желаю. Что мне чин начальника, когда у меня все в порядке и оклад больше. За каждую поездку мне идут командировочные. Чем падать сверху, лучше сидеть внизу. Счастье всегда с тобой.

Все же разок случилась неприятность. Так, мелочь, пустяк, не стоило и рассказывать. Но коль вам угодно послушать про наши дела, пожалуйста. Я готов.

Поселился в нашем жактовском доме один молодой человек — Александр Васильевич Снежный. Красивый мужчина, и жинка у него такая же симпатичная и молодая.

Соседи дружатся быстро. Жены ходят одна к другой. Просто так или поговорить, а бывает и посплетничать. Мы тоже иной часик сиживали вместе. Иногда на пару ходили в баню. Хорошо друг другу спинку потереть. Приятно с соседом исполнить заповедь Петра I: лапти продай, а после бани выпей.

Жены угождали друг другу. Моя одалживала соседке электрический утюг, та — свои новые патефонные пластинки. Однажды даже подарила моей жене Клане замечательное платье.

Приезжие соседи жили в достатке. Куда нам. Только почему-то они работали больше ночью, что у них была за работа, я не знал. Мало ли нынче занятий по специальности. Он, значит, Александр Васильевич, рекомендовал себя уполномоченным Узбекстройлесоснаба и прочего сбыта какой-то еще другой республики. У него на квартире телефон. Я частенько, готовясь в поездку, звонил по этому телефону своему начальнику. Удобная штука. Ныне у нас в каждой квартире такой телефон.

Вот как-то раз готовился я справить свое пятидесятилетие. Дело было в субботу. Иду я на базу за капустой. Мы ее коллективно закупаем в колхозе. Мне нужно было заплатить деньги и привезти. Догоняет меня Снежный и говорит:

— Идем вместе.

Идем рядком, ведем разные беседы про работу и капусту.

Вдруг кличет меня мой непосредственный начальник. Я прошу друга обождать, а сам — в караульное помещение.

Начальник мне говорит, вернее, приказывает:

— Придется отложить на сутки твой юбилей и ехать во внеочередную поездку. Следует состав с контейнерами, а Кирилыч в отпуске. Петрович заболел. Он искупался в озере, доставая фитили и морды на язей. Сопровождать надо обязательно и очень срочно. Состав вот-вот прибудет. Только смотри, Сидорыч, в нашем районе появились контейнерные дятлы. Ну, которые просверливают, а затем взламывают эти хранилища и достают оттуда хорошие вещицы. Будь осторожен. Один справишься?

— Почему один? Нас трое,— отвечаю я.

Начальник улыбнулся и говорит:

— Знаю, знаю. Посмотри винтовку — и на площадку. Только как с провизией? Сутки в пути, нигде ничего не купишь. Желудок

может подать докладную. Состав идет напроход.

Отвечаю:

— Не беспокойтесь, товарищ начальник. Жинка притащит.

Тут же пишу записку. Выхожу из караульного отделения и подаю другу, то есть этому уполномоченному, который ждал меня в беседке недалеко от нашего штаба. Вот, мол, друг-сосед, передай жене. Пусть она срочно тащит помидорчики и прочую снедь да захватит мой старый подсумок. Новый ни к черту не годится.

Ждать, пождать, нет. Ну, думаю, жена в отлучке. Я вспомнил, что она собиралась к моей бабушке, чтобы пригласить ее на юбилей. Та хорошо поет.

Раздумывать некогда. Винтовку в руки, патронташ на ремень, папироску в зубы — и к составу.

Билет для меня не требуется. Разрешение в магазинной коробке моей сестренки, это мы зовем винтовку изготовления 1912 года. Я ее старше на один год.

Поэтому мы чувствуем себя в настроении. Да и кто пожелает портить настроение. Обязанности у нас распределены так: паровозники — в паровозе, впереди. Главный кондуктор — на тормозе заднего вагона. Остальная территория состава в моем распоряжении. Каждый, видя мою зеленую фуражку и плащ, пропитанный дымом, знает, что в товарных вагонах ездить не полагается. Удобств никаких нет. Здесь не следует салон с напитками и папиросами, хотя мы иногда даем и пить и прикурить.

Глянул. На паровозе торчит фуражка Васьки, машиниста 2-го класса. Знаю, этот поднажмет. Вдобавок сегодня он поругался со своей Верой Тимофеевной из-за покупки какой-то шали. Поддаст пару на перегоне.

Тронул состав Васька. Я сразу привязал фуражку. Ждать от парня хорошего нечего. Лихач. И батька был такой: в 1926 году доставил в Кедровку вагоны кверху колесами. В общем мы помчались.

Мчимся. Уже ночь. Надвинулись тучи. Василий отпустил тормоза. Пыль так и вьется, и с вагонов и на вагоны. Как в сказке: закружились бесы резвые, точно листья в ноябре. Это меня сынок научил.

Слышу: бум, бум и треск. Что-то заработало. Шумок не походит на железнодорожный. Отличительный. Глядь, на площадке трое. У одного в руках вроде костыльной лапы, которой вывертывают рельсы. Другой держит электродрель с мотором вроде бы от пилы. У третьего обычный топор. Так сказать, вооружены новейшей и старой техникой.

Их трое. Нас тоже трое. Я, значит, Алексей Сидорыч Холодильников, рядовой охраны, моя винтовка и закон об охране государственной собственности, закон — тоже сила. Супротив нашего закона идти не следует. Закон победит, как пить дать.

Раскурил папироску. Усы раскрутились. Подкрутил. Неудобно с опущенными усами русскому солдату в бой кидаться. В общем приготовился.

Правда, кое-что мешало. Ночь, темень. Дождь. Да еще Илья-пророк со своей атомной энергией вмешался. Гром, молния, так и слепит глаза. Хоть защитные очки надевай. Да я их не таскаю. У солдата должны быть свои глаза, даже на затылке.

К тому подсумок плохо открывается. Привык к старому. Да и кушать захотелось. Желудок подал рапорт.

А Васька жмет. От колес искры, огонь. Как будто вагоны купаются в доменной печке. Скорость такую развил, что я думал: доставит Василий Лебедев в Кедровку состав вместе с рельсами и шпалами, которые так хорошо уложили наши ребята. Но крепок металл. Наши рельсы не свернешь.

Конечно, мне бы сигнальную ракету дать. Остановочку сделать. Инструкция разрешает. Не могу. Состав взбирался на Горинский подъем. А это, брат, не шутка. Рельсы мокрые. Вагоны соловья запоют, то есть растяжка будет. Мне потом кочегар Подшипников мойку сделает. Мол, из-за твоих бандитов авария получилась. Ведь никто не докажет начальству, как было дело. Скажут: перекурили, вздремнули, размечтались и растянулись, а потом на дожди да на бандитов сваливаете.

Я решил не портить настроение нашим ребятам. Они выполняют свой долг. Я тоже свой выполняю. Вот никто в долгу и не останется.

Двое ко мне. Конечно, разрядил пару патрончиков из ридикюльчика своей сестренки. Понимаете? Нужно, хотя и жаль этих штучек. Их дают не ворон пугать. Старшой ругается, ежели пускаешь напрасно. В поле пулю не найдешь. А они у нас под номерками. Документик, отлитый на заводе. Лучше, нежели отпечатан на машинке.

Третий бежать. Я — за ним. Он — через контейнеры. Я тоже умею лазить. Он прыг на другой вагон. Пришлось и мне употребить сноровку. Пока не в отставке и запасе.

Троих задержать не могу, а одного нужно постараться. Одного нужно прихватить с собой.

Ведь мое положение такое. Тюрьму с собой не вожу. Постановлений писать мне не предусмотрено. Здесь я один за всех. Я и начальник, я и правительство. Все в одном лице: от Совета Министров до Президиума Верховного Совета Союза ССР. Только мне не положено миловать. Функции, так сказать, присвоены наполовину. Я должен поразить врага, чтобы он был и не мертвый и не живой. Инструкцией предусмотрено обезвредить нарушителя, чтобы сержант милиции имел возможность с ним вести беседу. А мертвый на черта он ему.

Жаловаться на меня воспрещено. Поэтому эти пассажиры не жалуются.

Погоня и бегство продолжаются. Ему нежелательно прилечь на площадку, а прыгать — тем более. Выемка. Обязательно попадешь под колеса. Либо ног не будет, либо головы. Однако гляди, тормоз. Он — на тормоз. Я рядом с ним — и за шиворот.

Тут случилась неприятность. Выемку проехали. Он сбросил пиджак и брысь под откос. Я разрядил обойму, все пять.

Жаль трудов. Упустил. Бандита упустил. Бандитов надо судить. Прекращать их единоличную жизнь. Бандиты страшны для всех, только не для нас, работников охраны Великой Сибирской магистрали.

Состав в Кедровку доехал. Я попенял Ваське. Куда жал, шельмец?

А он в ответ: посмотри на кляузника — это фиксатор скорости — 40 километров только и поднажал. Не купать же состав на перегоне. Дождь, подъем.

Я махнул рукой. Докладывать их начальству не намерен. Сам станешь кляузником. Это не солдатское дело.

Приехал к себе и рапортую начальнику. Доехал благополучно. Вот трофей — и показываю ему пиджак.

— Хороший пиджачок,— говорит начальник. Посмотрели, что в нем. Тут же вывернул карманы, достал какую-то бумажку, прочитал и нахмурился. Я улыбнулся.

— Что же, товарищ Холодильников, контейнеры грабите вместе, а друзей под откос? Твоя записка?

Понимаете, моя собственная кожа начала сжиматься и распускаться. Мои усы сами полезли на лоб. Озноб и жар одновременно.

— Хорошо, ежели ты не снес ему череп, а ежели нарушил устав? Что тогда? Под арест!

И я буквально через две минуты очутился в камере, о существовании которой узнал лишь только теперь.

Двое суток справлял таким порядком свое пятидесятилетие. Очень неудобная квартира для юбиляра.

Вдруг звон, стук. Влетает начальник.

— Все в порядке, Сидорыч, выходи! Твои три друга живы. Даже показание дали. Извини. Задержались с имуществом, обнаружили у мерзавцев на 200 тысяч и денег полмиллиона. Молодец!

Приятно для солдата слушать похвалу начальства, а для меня — вдвое.

— Вот что, товарищ Холодильников,— сказал еще начальник,— к награде представить — дело будущего, а резолюцию на заявлении о неплановом авансе наложу и сам передам в бухгалтерию. Справляй свое пятидесятилетие. Запомни: записки писать не следует. У часового нет друзей, кроме государственной службы. Впредь стреляй таким порядком. Все четыре пули на месте, и главное — они живы.

Я, конечно, выпустил пять пуль. Но у меня запас. Я экономлю патроны на стрельбище. Всажу в мишень пулю в пулю за три приема, мне и подтверждают расход пять штук.

А насчет жизни скажу прямо. Я сам очень люблю жизнь. Особенно осенью.

Придешь с поездки, сходишь в баню, оденешь чистую рубаху — и за стол. Жена тебе накрошит помидорчиков, туда огурчиков да сметанки, да все это перемешает с перчиком, лучком, солью, да селедочку, да стаканчик русской. Приятная жизнь.

Весь день справлял свое пятидесятилетие, жаль шестой сынок не явился. А дочки были все с мужьями и ребятишками. Устроили настоящий бал.

Хороший у меня начальник.

Так вот счастье, милый друг, ходит за человеком по пятам. Его только нужно взять и уметь им пользоваться.

Тут и конец, стало быть, рассказу.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1961 ГОД

На литературно-художественный и общественно-политический альманах Ангара — орган Иркутского отделения Союза писателей РСФСР.

В альманахе будут опубликованы новые романы, повести, рассказы, стихи, очерки и статьи иркутских писателей о наших современниках, о героических делах сиби-
зующих свой чудесный край.
у выйдет четыре книги альманаха.
цена на год 24 руб., цена одной книги

ринимается в городских и районных отде-
ги», конторах и отделениях связи, в мага-
х изданий и общественными уполномочен-
ске по месту работы подписчиков.

Альманах Ангара № 3

Техн. редактор *Т. И. Печерская*

Корректор *Н. С. Герасимова*

Сдано в набор 1 августа 1960 г. Подписано к печати 7 сентября 1960 г.
Печ. л. 14,36. Уч.-изд. л. 14,77. Бумага 84 х $108^{1}/_{32}$. Тираж 5000. Заказ К-211. НЕ 03597.

Иркутское книжное издательство, ул. Красной звезды, 18.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата Иркутского областного управления культуры, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

6 р.

/I 1961 г. 60 к.